

Азиза Джадарзаде

Баку – 1501

Copyright – Язычы, 1989 г.

Данный текст не может быть использован в коммерческих целях, кроме как с согласия владельца авторских прав.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

1. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Принц Гази-бек скучал. Уже несколько дней, как умер его учитель, кази дворца Ширваншахов Мухаммельяр, и музыкальные, развлекательные собрания были на время прекращены. Принц с самого утра не находил себе места: чем бы заняться? Дни тянулись один скучнее другого.

Так и сегодня. Вздыхая, он долго ворочался в постели, потом, кликнув надима^[1] Салеха, велел ему готовиться к прогулке. А сам нехотя, без аппетита, сел завтракать. Поковырял нежнейшую чихиртму^[2] из цыпленка, выпил пиалу молока.

У выхода на широкую дворцовую веранду его встретил Салех.

— Кони готовы, принц!

— Хорошо.

Принц в охотниччьем костюме спустился во двор. Постоял в раздумье: «И на что мне этот охотничий наряд? Находись я сейчас на богатых джейранами равнинах Ширвана, он был бы кстати. А в этом краю песков добыча мне вряд ли попадется. Ну из ладно... Пусть будет удача!» — пожелав самому себе счастливого пути, он вскочил на коня, приказав надиму следовать за собой.

— Спросят — скажешь, гулять уехали, — бросил он низко склонившемуся слуге.

Пришпорив коней, всадники выехали из дворца. Им было, в сущности, все равно, куда ехать. Лошади сами вынесли на мягкую песчаную дорогу вдоль берега моря, живописно обрамленную скалистыми холмами. В этот яркий весенний день Хазар был удивительно спокоен. В прозрачной тени скал тут и там поблескивали маслянистые черные пятна, и легкая моряна, не в силах развеять неприятный нефтяной запах, досадливо морщила море мельчайшей рябью. Ни деревца, ни кустика вдоль дороги — но, приветствуя весну,

склоны холмов тут и там покрывались верблюжьей колючкой, ромашками, зеленой травой.

Но броская своеобразная красота этих мест была чужда молодому принцу. Глядя в бирюзовые дали Хазара, он с тоской вспоминал сочные луга и полные цветов сады Шемахи, густые леса и богатейшие охотничьи угодья, населенные быстрыми джейранами и косулями, пугливыми куропатками и турачами. Он жаждал снова вдохнуть полной грудью горный воздух Фита и Гюлистана, с нетерпением ждал, чтобы Ширваншах Фаррух Ясар отдал приказ о переселении семьи и всей дворцовой четы на летние месяцы в Шемаху — на яйлаг. Гази-бек всей душой любил вольное загородное лето. Только проводя целые дни на охоте, оживлялся принц, с удовольствием спал в палатах, а то и просто на голой земле, укрываясь высоким небом, а под голову подложив седло вместо подушки. С аппетитом, которому бы подивились во дворце, ел нанизанные на самодельные шампуры из обструганных веточек собственноручно добытые и поджаренные охотничьи трофеи — нарезанное на мелкие кусочки мясо косуль или джейранов.

В последнее время не только охотничья страсть уводила Гази-бека за пределы дворца. Юноша вступал в пору зрелости, и сердце его, волнуемое неясным томлением, вдруг открыло, для себя изумительный мир — мир любовной лирики. Он не умел писать стихов, но беззвучно повторял строки, созданные великими поэтами и настолько созвучные ему сейчас, что, казалось, они созданы о нем самом и о той, которую он мог бы полюбить... Уставившись задумчивым взглядом в голубые дали Хазара, он вспоминал кази Мухаммедъяра. Ему очень повезло с учителем: обязаный обучать принца шариату, прививать ему строгие религиозные правила, кази оказался большим знатоком и страстным почитателем древнеарабской, персидской, азербайджанской литературы. Духовный сан не мешал Мухаммедъяру быть ученым широких взглядов, человеком поэтического склада ума. Кази с увлечением рассказывал юноше о поэтах родной земле, научил его понимать глубину строк, ценить недосказанное, наслаждаться благозвучием. Часто цитировал ему стихи Насими, но, спохватываясь, благочестиво добавлял:

— Правда, к концу жизни Сеид Имадеддин стал безбожником, приравнял себя — мыслимое ли дело! — к аллаху, нанес тем самым большой вред святой вере и понес за это справедливое наказание. Но никто так не воспел любовь, как он, любовь, возносящую человека до небес, на недосягаемую высоту. Нет в нашей поэзии равного его божественным газелям!

И, подняв глаза к искусно расписанному потолку дворцового покоя, Мухаммедъяр благоговейно, с упоением читал нараспев:

Под нежный рокот струн — неси тот

вдохновляющий напиток.

Пусть чаша жизни мной не до конца испита,

Я всю ее отdam, и мне не жалко, пусть! —

За поцелуй один медовых этих уст.

«Жаль, очень жаль, что учитель покинул этот мир, — думал принц. — Такой человек попадается раз в жизни. Бывало, он говорил: «Есть на земле правитель — изначальный, вечный. Перед его вратами все равны — шах и нищий; могущественное богатство бессильно перед ним. Смерть! Да, смерть — неотвратимая, необъяснимая тайна вселенной!» Теперь и сам он стал частицей этой тайны. Как странно все: был человек, жил, думал, и вот нет его. Бог знает, кого назначат на его место?! Верно, какого-нибудь бездарного молла. При нем, надо думать, не только стихи Насими — даже имя поэта упомянуть будет непозволительно. «Ах, ах, какое богохульство», — скажет молла. А для меня это не богохульство, а высшее проявление жизни, дар божий...»

Гази-бек пребывал в том смутном состоянии духа, когда душа юноши, еще не изведавшего любви, уже томится ее предчувствием. С кем разделит он эту любовь — с дворцовой красавицей или хорошенкой невольницей, купленной с торгов по велению отца — принц не знал. Но душа его, как говорят поэты, созрела для любви, всевластное это чувство стояло вопросом в глазах юноши, настежь распахнуло двери в святая святых его сердца — где та, что войдет сюда?

Дорога привела их на Биби-эйбатский пир[3]. Пустынен он был в этот час: ни единого шиха[4] вокруг. То ли сегодня с утра было много паломников и теперь в каждом дворе принимают гостей, то ли, наоборот, никого нет и шихи услаждают себя приятной беседой, собравшись под большим тутовым деревом во дворе пира, в прохладной тени. Не доехавая святыни, путники спешились у черных скал. Гази-бек очень любил это место, называемое в народе «Гырх гызлар»[5], часами мог сидеть на самом краю утеса, нависшего над голубыми водами Хазара. В рокот бескрайнего моря, казалось ему, вплетается неясный шепот: это черные скалы, сквозь которые тут и там сочится прозрачная, как девичьи слезы, вода, раскрывают ему свою трагедию. Старые люди рассказали ему эту давнюю историю «Гырх гызлар».

... После смерти восьмого имама шиитов Рзы, отправленного халифом Мемуном, его сестра Окюма-хатун бежала, преследуемая врагами. Вместе с сорока преданными служанками отплыла она на корабле некоего Эйбата, чтобы искать прибежища на западном берегу Хазара. Здесь, в этих пустынных местах, сошли они с корабля. Вскоре умерла Окюма-хатун. Похоронили ее безутешные девушки — и сами, одинокие, бесприютные в огромном чужом мире, тут же у могилы госпожи превратились в черные камни. Сочащаяся сквозь скалы вода — их слезы. Печальные стенанья, смешивающиеся со вздохами Хазара — их плач. Матерей ли зовут, или по родине тоскуют несчастные — кто знает?..

Спрятав с коня, Гази-бек поднялся к скалам «Гырх гызлар»:

— Салех! Не будем торопиться, успеем еще налюбоваться постными физиономиями шихов. Давай здесь отдохнем немножко.

Салех обрадовался. Еще бы! За всю дорогу принц и словом с ним не обмолвился, ехал задумчивый — видно, по умершему учителю своему горевал. Надима грызла мысль, что он не исполняет прямой своей обязанности, не развлекает принца. Что, если Гази-бек на него рассердится, пожалуется, не дай бог, шаху: «Кого это вы приставили ко мне? Ни приятным разговором, ни песней, ни стихами не умеет он отвлечь своего господина от тяжелых мыслей! Не нужен он мне», — заявит принц, и тогда — прощай, завидная служба, он потеряет такой спокойный кусок хлеба.

Салех заметно приободрился, видя, как ласково разговаривает с ним молодой принц: не сердится, значит!

— Ты прав, мой господин, чем позже — тем лучше. При виде этих шихов и мне тошно делается!

Гази-бек внезапно нахмурился. Он дурно высказался другому о своих подданных — и немедленно услышал в ответ дурное же. Прав был покойный учитель Мухаммедьяр, всегда говоривший: «Подданные твои — все равно что твои дети. От тебя они будут перенимать и хорошее, и плохое. Старайся быть милосердным и справедливым к ним».

— Знаешь, Салех, ведь эти бедняги-шихи не виноваты в своей участи. Ты только оглянись вокруг! На этих бесплодных даже в пору весеннего цветения скалах именно они с огромным трудом вырастили маслины, фисташки. У них почти нет земли, пригодной для обработки, нет пастьбищ. Живут они в стороне от караванных путей — торговать тоже не могут. Ничем не одарил их аллах в достаточной мере — ничем из того, что могло бы прокормить. Что же им, горемычным, делать? До седьмого пота обрабатывать свои крохотные посевные участки? Все равно пользы мало. Но чем-то ведь они должны жить! Вот и ухватились за паломников на лодках их перевозят, услуги им всевозможные оказывают. Тем и кормятся...

Салех тем временем достал из переметных сум фляги, почтительно протянул принцу наполненный вином кубок. «Да-а, это не его слова — покойного учителя. Интересно знать, будет ли принц так думать и дальше, получив власть в свои руки? Или станет обращаться с подданными так же, как отец и дед?!» думал молодой слуга, всей позой выражая живейшее внимание я восхищение словами принца. Глаза он отвел в сторону: боясь, что Гази-бек прочтет его истинные мысли, прилежно глядел вдаль на одинокую лодку, чуть покачивающуюся на морской зыби.

Они снова вскочили на коней, миновали Биби-Эйбат, село Шихлар, где плоские крыши, казалось, припечатывали к земле невзрачные каменные домишкы, и уже повернули было к берегу Хазара, к песчаному пляжу, манившему отдохнуть и искупаться, как вдруг Гази-бек резко осадил коня. Принц изумленно прислушался, поспешно соскочил на землю, передал повод Салеху:

— Спускайся к берегу, я потом приду...

Его остановила песенка, исполняемая нежным и чистым голосом. Невидимая за кое-как сложенным каменным забором, пела девушка, прищелкивая в такт мелодии пальцами. Пленительная юная беззаботность слышалась в этой простой песенке:

Тюбетейку набок надвинул, надвинул,

Опустил на самую бровь.

Ах, джигит, проходивший мимо.

Разбил мое сердце в кровь!

Очаровательный голосок «разбил в кровь» и сердце принца, заставил его подойти к самому забору, найти отверстие между неплотно пригнанными камнями... Господи, на что только не способны человеческие руки! Маленький дворик, затерянный в этом безводном песчаном мире, был поистине райским уголком. В центре двора находился колодец, вокруг, по золотому песку, вились ярко-зеленые лозы, перед приземистым одноэтажным домиком росли пышные кусты роз. Невысокие инжирные деревья жались к забору. На натянутых между их стволами веревках, как крылья присевших отдохнуть чаек, плескалось выстиранное белоснежное белье. А у колодца стояла она — поющая девушка. Тонкие руки быстро вертели рукоять ворота, вода из ведра с веселым плеском разливалась по цветнику. Девушка трудилась не покладая рук — но так, словно это была не работа, а праздник, будто ведра были невесомы и, не зная усталости, доставала и доставала она воду, разбрызгивая вокруг свежесть и радость. Всем своим существом погрузилась она в работу и песню. Восхищенный принц затаил дыхание: никогда еще не встречал такой девушки Гази-бек!

Алого цвета, как лапки куропаток, порхающих среди мшистых скал Ширвана, были ее выкрашенные хной руки и ноги. Пару кос, чтобы они не мешали работе, заправила девушка за пояс. Тонкая юбка, намокнув, облепила ее стройные бедра и ноги. В круглом вырезе простенькой ситцевой кофты краснела нитка некрупных кораллов — все ее украшения. Принцу, привыкшему к раззолоченным нарядам, многоцветным шалям, богатым уборам из золота, жемчуга, алмазов, в которых красовались дворцовые ханум, странным показалось, что столь бедно одетая девушка может быть такой красивой.

Щелочка, через которую Гази-бек заглядывал во двор, не устраивала его. Ему страстно захотелось увидеть глаза девушки, поближе рассмотреть ее. Не раздумывая, что он делает и как будет встречен, принц решительно пошел вдоль забора, в поисках ворот. Нашел. Крашеная деревянная дверь была не заперта, легко открылась под нажимом руки. Гази-бек замер в дверном проеме, восхищенно глядя на девушку. Ему и в голову не пришло, что из дома может кто-нибудь выйти, неласково обойтись с непрошеным гостем.

Ни скрипа, ни шороха не раздалось — но какое-то странное ощущение заставило девушку вздрогнуть. Ей показалось, что чей-то чужой взгляд бродит по ее телу, пронизывает насквозь. Обернулась к воротам — и замерла, увидев незнакомого парня. Она, конечно, не знала принца, но по одежде поняла, что перед ней человек высокого положения. В здешних краях не могло быть столь богато одетого мужчины! «Видно, это паломник, разыскивает дедушку, хочет снять комнату, отдохнуть», — подумала девушка. Она была из семьи шихов, привыкших к посещению паломников, а потому не растерялась, со свойственной деревенским девушкам смелостью пошла навстречу гостю, почтительно приветствовала его. И остановилась: пусть молодой человек сам скажет, что ему нужно. Но юноша... юноша забыл и о себе, и обо всем на свете. Весь мир для него теперь сосредоточился в этой паре глаз, похожих на кюдинских джейранов, в нежных щеках, напоминающих лепестки дикой розы, растущей в Гюлистане, в алых губках, цветом соперничающих с кораллами на девичьей шее. А девушка, почувствовав в госте, нечто необычное, растерялась под этим жарко горящим взглядом, невольным движением высвободила из-за пояса длинные косы, помедлила еще, ожидая, когда пришелец, наконец, нарушит молчание, и, не выдержав, заговорила сама:

— Что вы хотели, братец?

— Девушка, не дашь ли мне глотка воды?

Встревоженное сердце успокоилось, красавица справилась с волнением, улыбнулась:

— Почему же не дам?

Вернулась к колодцу, наполнила из ведра узорчатый медный ковшик и поднесла принцу:

— Пожалуйста, пейте на здоровье.

— Большое спасибо!

Гази-бек выпил и по всему телу разлилась прохлада:

— Какая чудесная вода! Будто и не колодезная, а родниковая,

— Верно, в этих местах нет колодца, равного нашему. Мой покойный отец продолбил скалу на большую глубину, оттого вода идет и пресная, и холодная.

«Говори — как сладок твой язык! Говори — какая ты смелая девушка!» — думал про себя принц. Ему очень хотелось узнать ее имя, но — не решился спросить.

— Чей это дом? — поинтересовался он.

— Наш. Дедушкин.

— Как зовут твоего дедушку?

— Ших Кеблали.

— Где он?

— В пире. Ждет паломников.

— Так вы паломников принимаете?

— Конечно. Как и все наше село.

— Тогда, может быть, и для нас чай приготовишь?

— Почему не приготовлю! Сколько вас?

— Двое. Дружок мой к морю спустился, сейчас придет.

— Тогда я пошлю за дедушкой?

— Посытай!

Принц вышел за калитку. Оставаться дольше он не мог. Но, отойдя на несколько шагов, остановился: девушка, взобравшись на забор, звала кого-то из соседнего двора:

— Тетя Хейранса, ай, тетя Хейранса!

— Что тебе, Бибиханым?

«Значит, ее зовут Бибиханым. Родилась, видно, после обетов, подношений на Биби-Эйбате, потому и назвали так. Нет, отныне твое имя будет Султаным-ханым. Ты станешь моей царицей, моим султаном, иначе этот просторный мир будет тесным для меня, иначе я не смогу жить в нем», — думал принц.

—... Тетя Хейранса, ради аллаха, пошли Агадаи в пир, пусть сбегает, найдет моего дедушку. Предупредит пусть его: к нам гости приехали.

— Хорошо, дочка, только, где мне этого сорванца найти?! Эй, Агадаи, Агадаи-и-и! Где ты, паршивец, а ну-ка, скорей иди домо-ой-ой...

Принц спустился к берегу, где стояли стреноженные Салехом кони. Молодой надим уже искупался и теперь отдыхал на прибрежном песке. Увидев Гази-бека, вскочил, заулыбался, склонился в низком поклоне:

— Что нашел, что увидел, мой дорогой принц?

— Самую драгоценную на свете жемчужину! Такой мне еще в жизни видеть не приходилось...

— Жемчужина? В этих развалинах?

— Так в развалинах-то, говорят, и находят самые драгоценные сокровища!

— И на нем, свернувшись, дремлет змей?

— Этого я еще не знаю. Но моя жемчужина — такая гурия в саду Ирем, подобные которой встречаются лишь в сказках.

Салех подумал было, что Гази-бек его разыгрывает. Он улыбнулся, с губ его уже готова была сорваться шутка... Но увидел глаза принца — и запнулся.

— Это правда, принц?

— Я не шучу, Салех, и ты будь осторожен! Если с уст твоих слетит хоть одна неуместная шутка — пеняй на себя.

Салех не на шутку испугался. «О, аллах, что он такое говорит?! Мало ему дворцовых красавиц! — подумал он. — Если его отец узнает об этом, он в мою шкуру соломы набьет».

— Встань, оденься, почисть коней. Я тоже окунусь разок, чтоб время растянуть. А потом пойдем к ним в гости.

— А, это другое дело...

— Я сказал тебе — не забывайся! Мы паломники. А они — семья шиха, принимающая паломников. И все.

... Когда они приблизились к маленькому домику, ших Кеблали уже ждал их, нетерпеливо переминаясь перед воротами: видно, давно не заглядывали сюда паломники. Старик сердечно встретил молодых людей, хотя и удивился: что-то не похожи они на настоящих паломников.

— Да будет принято ваше моление! Да поможет пир всем вашим намерениям исполниться!

— Да услышит тебя аллах!

Под тутовым деревом во дворе уже был расстелен серый па-лас. На нем — белоснежная скатерть с набором чайной посуды, дымящимся чайником, сушеным инжиром, тутом, дошабом, инжирным джемом, виноградом, разными сладостями. Здесь же лежали сыр, масло, соль, свежий тендырный чурек и только что сорванная с грядок зелень.

Бибиханым пожарила яичницу, разлила чай и поставила полные чашки перед молодыми людьми и стариком. Она подавала чай, а принц думал: «Неси, неси эту живую воду, мой ангел! Чай с корицей, который я раньше терпеть не мог, теперь будет мне казаться вкуснее самого изысканного вина во дворце».

Девушка села в отдалении, предупредив шиха:

— Дедушка, я заворачиваю для гостей четыре-пять ниток долмы. Вода уже кипит.

— Вот молодец, дочка! Долма сейчас — из самых первых, нежнейших листиков. Тогда мы со сладким не будем торопиться, — обернулся он к молодым людям.

Бибиханым прилежно заворачивала комочки рубленого мяса в мелкие виноградные листочки, иголкой насаживала долму на нитку, а когда ряд заполнялся, соединяла концы нити узелком. Ни разу не подняла она глаз на сидящих вокруг скатерти, ни словечка не вставила в их разговор, ловко и споро занимаясь стряпней. Вскоре девушка поставила перед каждым по кусе с зеленоватым, с золотистыми кругами жира на поверхности, бульоном и по тарелке с нанизанной на нитки долмой. Никогда еще принц не ел такой вкусной долмы!

* * *

Весной 1501-го года разнеслась весть о том, что Исмаил, сын Шейха Гейдара, перешел Аракс. Говорили, что однажды ночью он увидел вещий сон и наутро поднял свою семитысячную армию: «Святой дух наших невинных имамов послал нам знамение: направить наши славные знамена на Ширван». Молва говорила, что Исмаил идет отомстить Ширваншаху Фарруху Ясару ибн-Ибрагим Халилулле за кровь своего деда, Шейха Джунейда, и отца, Шейха Гейдара. Узнав об этом, Фаррух Ясар сказал: «Пусть сунется, его постигнет участь собственного отца!» — и, поручив оборону своим полководцам, не стал отвлекаться от начатого строительства. Однако через некоторое время, услышав, что бои усиливаются, что идут кровопролитные схватки то у Махмудабада, то на Ширване, бросил все свои дела и поскакал к войску, отправленному для обороны Гюлистана. Возложив защиту Бакинской крепости на своего сына Гази-бека,

Ширваншах Фаррух Ясар спешно отправился в Шемаху. Он еще не знал о силе сына Шейха Гейдара, верил в скорую победу и возвращение.

2. ДЕНЬ, ПРОВЕДЕНИЙ В КОРЗИНЕ

Сады Лахиджана очень понравились маленькому Исмаилу, Здесь он обрел хоть относительный покой. Не каждому взрослому были бы под силу горести, что выпали на долю этого семилетнего мальчугана. Вот почему Исмаил был более развит, чем его сверстники. Теперь, в Лахиджане, во дворце правителя Гилана-Мирзали, он, наконец, почувствовал себя свободно. Правда, и сама эта свобода тоже была относительной... Всякий раз, как в окрестностях дворца появлялся незнакомый человек, Исмаила поспешно прятали. С колотящимся сердечком шел он в укрытие, покорно ожидая, когда сможет выйти. Только книги, с которыми он никогда не расставался, были его неизменными спутниками. Миновала опасность, и мальчика выводили наружу, и, словно опьяненный свободой, он пускал в ход свой маленький меч, копье, лук и стрелы. Военное обучение Исмаил проходил вместе с сыновьями правителя Мирзали и других ханов, под присмотром Мухаммед-бека или его брата — Ахмед-бека. Для своих семи лет сын Шейха Гейдара превосходно владел мечом и управлялся с конем. Это заменяло мальчику игры.

Хотя такие «игры» и нравились Исмаилу, они не могли заставить его забыть о перенесенных невзгодах, не могли вытравить горечь из исстрадавшегося сердца. После того, как где-то в Дагестане, на границе с Ширваном, был убит его отец Шейх Гейдар, ардебильские суфии сильно ослабели, и потому сын Гасана Длинного Султан Ягуб легк смог захватить Ардебиль. Исмаил совсем не помнил своего отца, даже смутно не представлял себе его лицо, фигуру. Но мать — Марту Аламшах-беим — помнил. Сестра Султана Ягуба, дочь Гасана Длинного от брака его с дочерью Трабзонского императора Хомнена Катерины, Деспине-хатун — Аламшах-беим вместе с сыновьями содержались в крепости. Помнил, как они находились в заключении в крепости Истехр.

...После смерти Султана Ягуба между братьями Исмаила начались распри: каждый хотел сосредоточить власть в своих руках. Убитого Шейха Гейдара сменил старший его сын Султанали. Он определил младшего брата к шейхам-сефевидам, а сам вместе со средним братом Ибрагимом и другими шиитами отправился воевать с выступившими против него сыновьями Гасана Длинного. Оба брата погибли в боях, и мюриды, забрав маленького Исмаила из Ардебиля, тайными путями переправляли его из края в край, ища безопасное место — и привезли, наконец, в Лахиджан,

Но и в Лахиджане было тревожно. Сын Гасана Длинного падиша Рустам часто слал к правителью Гилана гонцов с требованием о выдаче ребенка. Но Мирзали под любыми предлогами отказывал падиша. Так продолжалось некоторое время, пока однажды ночью один из преданных людей не сообщил Мирзали, что падиша Рустам снова шлет гонца, и на этот раз — с войском. В ту ночь Мирзали спал очень беспокойно.

...Снилось ему, что его преследуют и, когда всадники почти настигают его, чья-то рука поднимает Мирзали в воздух и водружаает на вершину единственного в пустыне дерева. От боли в руке и от страха Мирзали вскочил. Была глубокая ночь; болела придавленная тяжестью тела рука. Странный сон не шел из головы: ему все чудилась какая-то связь между сообщением, переданным еще вечером дозорными — и этим ночным кошмаром.

Правитель напряженно думал, ворочаясь с боку на бок в пышной постели. Совсем извелся, но заснуть так и не удалось. Мирзали встал, прошел в комнату, где спал Исмаил, взгляделся: маленький шейх сладко посапывал во сне. Кругом было тихо. «Если в такую неспокойную пору у моих дверей с тобой случится беда — с каким лицом предстану я перед духом твоего отца и перед пророком святой веры?!» — горестно подумал Мирзали. Он вернулся к себе и снова лег, то вспоминая сон, то раздумывая о том, какой предлог выставить на сей раз, если утром действительно явятся люди падишаха Рустама.

Солнце еще не взошло, как ворота громко застучали. Мирзали тотчас вскочил. Слуги еще спали. Правитель вышел на веранду и одновременно с полусонным привратником подошел к воротам. Вестник был одним из его друзей.

— Ага, дорогой, триста всадников из людей падишаха Рустама стоят всего в одном переходе от Лахиджана. В полдень будут здесь.

Всадник ускакал. Мирзали, в сущности, уже подготовил ответ. Оставалось только спокойно осуществить свой план. В первую очередь, нужно повидать Исмаила, подготовить его к новой беде. «Хотя он очень рано поднялся до сана шейха, но ведь все же еще совсем ребенок, — болело о мальчике отцовское сердце Мирзали. — Правда, на него свалилось много роковых событий, много испытаний. Для своего возраста он столько уже перевидал! Этот ум, эта сообразительность, редко встречающиеся даже и у двадцатилетних парней, несомненно, даны ему аллахом! Это — дар божий. Но, вместе с тем, он все же еще ребенок...»

С этими мыслями Мирзали вошел в комнату Исмаила и, изумленный, остановился. Мальчик был уже одет, и одет так, как будто приготовился к дальнему путешествию. На нем было длинное зеленое с черными полосками одеяние. Под ним виднелась плотно облегающая тело кипенно-белая рубашка, вышитая черным с золотом узором. Кончик маленькой чалмы свисал под подбородком — при виде чужого человека мальчик обязательно прикрывал им лицо. Сильный стук в ворота, видимо, разбудил ребенка и, наученный горьким опытом, он сразу все понял.

Правитель Мирзали удивленно проговорил:

— Да буду я твоей жертвой, что ты так рано поднялся?

Мальчик невесело усмехнулся, ответил с серьезностью, не подобающей его маленьким тонким губкам:

— Я подумал, что надо быть готовым к отъезду.

— К какому отъезду, да буду я твоей жертвой?

— Если не предстоит никакой отъезд, то с чего бы это в твои ворота стали так рано стучать и отчего ты так взволнован?

Правитель Мирзали про себя еще раз восхитился проницательностью ребенка; сердце его разрывалось от жалости к его горькой судьбе.

— Да буду я твоей жертвой, мой шейх, ты прав! Беда пришла именно за тобой.

Доверенные люди донесли мне, что мои отговорки не удовлетворили падишаха, и теперь

он выслал сюда триста всадников — они находятся уже в одном переходе от Лахиджана. Через короткое время будут здесь. Видимо, они въедут во дворец и могут вынудить меня дать клятву...

Исмаил с не свойственным ребенку хладнокровием спросил:

— Что ты советуешь?

— Мой совет — с тобой, мой шейх! У меня есть одна мысль. Если согласишься, дашь разрешение — я сделаю так, что мы отведем беду.

— Что бы ты ни посоветовал — я согласен.

— Отлично, сынок! — воскликнул, не сдержавшись, Мирзали. Но, смущенный тем, что дал волю чувствам, тотчас же взял себя в руки. — Прости меня, мой шейх, язык мой не так повернулся.

Исмаил не знал отцовской любви. Он помнил, правда, как любили и ласкали его мать и братья, когда они вместе были в заключении. Дядька Гусейн-бек, братья Туркманы, Мухаммед-бек и Ахмед-бек тоже были дороги ему — ведь они относились к мальчику, как самые близкие люди. Когда его увозили, скрывали — каждый из них защищал его ценой собственной жизни. Он видел большое уважение от мюридов — кази Ахмеда, хатиба Фаррухзада, правителя Тулунава, Амира Исхага в Реште и дру-гих. И каждый, подвергая опасности собственную жизнь, на определенное вре^г вя укрывал маленького шейха в своем доме. Среди целой вереницы преданных ему людей особенно запомнились Исмаилу две женщины. Одну из них звали Ханджан, он жил у нее в течение месяца. Другая — была знахарка по имени Убан — она лечила раны мальчика. Всех, кто был добр к нему, Исмаил любил, не забывал, постоянно поминал в молитвах. Добрые люди берегли его как зеницу ока: ведь он родная кровинка святого Шейха, осенен его духом, благостью.

Но сейчас слова правителя Мирзали: «Отлично, сынок» — проникли глубоко в сердце Исмаила. На мгновение забыв о своем сане и величии, о постоянно прививаемом ему мюридами шейхстве, он сделал невольный шаг к Мирзали. Мальчику так захотелось обнять его, прижать свою несчастную голову к могучей груди мужчины... Но слова правителя: «Прости меня, мой шейх, язык мой не так повернулся», — напомнили о его высоком положении. Он остановился.

— Говори, что ты советуешь, — приказал он.

— Мой шейх, чтобы они не требовали твоей выдачи, не обыскивали в случае отказа дом — я должен буду поклясться на Коране, что тебя здесь нет. Разреши, мы применим одну хитрость,

Сегодня ночью я видел во сне твоего великого отца, он протянул руку и спас меня от преследователей. И теперь я знаю, как навсегда спастись от притязаний падишаха Рустама. Дай только разрешение, мой шейх!

— Какое разрешение?

— Я должен поклясться, что тебя нет в пределах моих земель.

— Но до их появления я не успею удалиться от твоих земель! И дядьки моего здесь нет. Без него...

Мирзали поднял обе руки вверх:

— Что ты, что ты! Да пусть отсохнет мой язык, если я предложу тебе хоть на шаг ступить из этого дома! Ты никуда отсюда не уедешь, я не позволю...

— Но тогда...

Правитель Мирзали повернулся к двери, позвал:

— Гулам, а ну принеси ту корзину!

В комнату вошел слуга. Он поставил на пол сплетенную из рисовой соломы большую и мягкую корзину, поклонился и вышел, Исмаил переводил недоуменный взгляд с корзины на правителя, и Мирзали вынужден был приступить к объяснениям:

— Да буду я твоей жертвой, — сказал он, — да буду я жертвой твоих слов, пусть не заденет это твоего сердца! Те несколько часов, что гонцы падишаха будут здесь и я буду произносить клятву, ты спокойно проведешь в этой корзине, которая будет висеть на дереве. А я сумею поклясться, что тебя на этой земле нет. Вот в чем заключается мой план.

Исмаил стоял в изумлении. Потом подумал о перенесенных мучениях: днями, неделями его держали в тайных подземельях, тендырах, кузнечных мехах; что стоит теперь час другой провести в корзине?!

Когда Исмаил сказал: «Согласен», — Мирзали не смог сдержать вздоха облегчения. Он поспешил вышел из комнаты, чтобы все самому подготовить: никто из слуг не должен знать об этой тайне...

3. БИБИХАНЫМ-СУЛТАНЫМ

Хотя со дня смерти учителя прошло уже сорок дней, из покоев принца Гази-бека ни разу не донеслось ни звуков музыки, ни оживленных голосов. Большую часть времени принц проводил в прогулках, в разговорах с любимым своим надимом Салехом. Знающий все секреты принца, Салех подозревал, что Гази-бек влюблена не на шутку, что неспроста он все время читает одну и ту же газель:

Душу мою сожгла страсть. О красавица, где ты?

Свет очей, достоянье мое в обоих мирах, о красавица, где ты?

Сердце мое источилось в кровь горькой разлукой.

Сладкоречивы уста твои, льют вино встречи, но где ты?

Посмотри, как я ранен шипами разлуки с тобой,

розоликой,

Нарциссоглазой любимой моей! О красавица, где ты?

Салех знал, кто эта — розоликая и нарциссоглазая возлюбленная. За это время они уже несколько раз побывали на Биби-Эйбате, в гостях у шиха Кеблали. Под видом религиозных подношений молодые люди привозили старику деньги и подарки. Не зная, кто они, ших Кеблали все же понимал, что эти юноши из богатых семей, и терялся в догадках о причине их щедрости и частых посещений. Старик искренне радовался, что молодые паломники столь религиозны, но ни разу не заподозрил, что все дело тут — в Бибиханым. Ему и в голову не могло прийти, что Гази-бек — принц.

Принц уже давно называл про себя Бибиханым «Султаным-ханым». Считая преданного надима наперсником своей тайны, он делился с ним мечтами о будущем и еще больше сдружился с Салехом в эти дни волнений и грез...

...Во дворце царило смятение. Дочери знатных вельмож и ханов, зарившиеся на принца, прослышили о том, что Гази-бек влюбился в простую крестьянскую девушку, дочь голодранца-шиха. Салех, после долгих размышлений, уступил настояниям шахини и открыл ей истину. Та, видя, что сын тает на глазах, боясь, что эта любовь сведет его с ума, рассказала обо всем отцу — Ширваншаху Фарруху Ясару. Тот сначала рассвирепел, но потом, поняв, что от этой болезни трудно излечиться, придумал достойный, как ему казалось, выход.

— Ничего, что ж теперь запрещать! — сказал он шахине. — Во дворец с любого уголка страны приводится столько разных служанок и невольниц! Считай, что эта — одна из них. Юношеская страсть пройдет, быстро наступит пресыщение. Тогда уж мы женим его на какой-нибудь принцессе или ханской дочери. Гази-бек молод еще, времени впереди много...

Так решилась судьба Бибиханым. Ее никто и не спросил, хочет она того или нет: девушку забрали из родного дома и увезли во дворец. Только теперь понял ших Кеблали, кем были эти «паломники». Осыпая обманщиков проклятиями, старый дед остался один в крохотном, опустевшем дворике, где все ему словно напоминало о Бибиханым.

В день, когда невесту доставили во дворец, шахиня поставила одно условие. Она запретила девушке показываться в дворцовом кругу: пусть шагу не ступит из выделенных для принца комнат. К Бибиханым приставили служанку и невольницу, она же приносila ей еду из дворцовой кухни. Допущенной во дворец дочери бедняка сразу же указали ее место.

Первые дни новой жизни прошли для Бибиханым в странной неге. Ока уже давно догадалась, что юноша приезжает в их селение из-за нее, что это не религиозный, а ее паломник! Старый дед так давно миновал свою юношескую пору, что забыл, какими они бывают, чувства молодых... Потому нехитрые уловки Гази-бека так легко обманывали его. Но не Бибиханым! Ведь и сама она только что вступила в пору любви. Она, конечно, не ожидала, что ее заберут во дворец... Но когда судьба бросила ее в пылкие объятия молодого принца — девушка с радостью отдалась своему чувству.

Лишенная родного дома, друзей и подруг, превратившаяся вдруг в «Султаным-ханым» Бибиханым всем своим существом привязалась к молодому и красивому супругу. Газибек же, не придавший вначале значения поставленному материю условию, с течением дней стал осознавать его тяжесть. Надежно изолированная этим условием от всяческого общения Султаным-ханым фактически оказывалась запертой в четырех стенах, скучала, не находя себе никакого дела.

Одиноко блуждая в дворцовых покоях, девушка вспоминала окруженный инжирными деревьями маленький дворик деда. Отца с матерью она потеряла очень рано: все ее воспоминания с тех пор, как открыла глаза, были связаны с дедушкой. Совсем крошкой качал он ее на коленях. Как только девочка немного подросла, она, с помощью соседки, тети Хейрансы, взяла на себя домашние заботы. Соседка научила ее вести их нехитрое хозяйство — и с тех пор дедушка уже не вмешивался в эти дела. Дни его проходили в пире, вместе с другими шихами он принимал и провожал паломников. А девочка под руководством тети Хейрансы летом старательно раскладывала на солнцепеке инжир, очищенный от кожуры, кипятила и высушивала цельные плоды, варила пряные сладости, инжирный дошаб, сушила виноград и тут, готовила впрок варенье из «шаны», инжирный джем — словом, запасала все, что можно, на тяжелую, голодную зиму.

В знойные летние дни Бибиханым помогала тете Хейрансе стирать белье и мыть ковры, стегать одеяла и набивать подушки. А когда их вконец изводил песчаный ветер, частый в этих краях, женщина, смеясь, просила ее:

— Дочка, ты — первенец у своей матери, сбегай, потряси инжирное дерево! Может, поуспокоится...

И девочка опрометью бежала к инжирному дереву, весело тряслася тяжелые ветки, приговаривая:

Я у мамы первенец!

Уведет пусть все напасти

Рыжий лис с черной пастью.

Ветру пусть придет конец!

Девочка «прогоняла» тяжелый, душный ветер от дома, где:

Глотком айрана не угостят,

Гостя в комнату не пригласят!

Бибиханым свято верила, что благодаря этим «заклинаниям», которым ее научила тетя Хейранса, ветер перестанет дуть, на смену ему придет прохлада, песок не будет больше набиваться в глаза, заносить и портить разложенные на солнцепеке янтарные инжирины, аккуратно насаженные на колючки. А потом она насыплет высушенные плоды в белый мешочек, зашьет его, чтобы не завелись там черви, защитит зимние лакомства от пыли и назойливых насекомых.

...Теперь, когда Гази-бек отсутствовал, Бибиханым постоянно слышались голоса то дедушки, то тети Хейрансы. Сладостные воспоминания детства и девичества оставляли комок в горле, расстраивали ее.

Ока не раскаивалась в том, что полюбила Гази-бека. Но очень скучала по родному дому, по дедушке и соседке — тете Хейрансе, заменившей ей мать и бабушку. Временами, когда Гази-бек брал ее с собой на прогулку или на охоту, они на обратном пути заглядывали к шиеху Кеблали. Бибиханым тотчас скидывала туфли, босиком бегала по золотому песку двора. Она доставала воду из колодца, разбирала и перестирывала дедушкину одежду, начищала песком посуду, прибирала в доме. Но все равно эти приезды были не возвращением в родной дом, а визитами гостей. За воротами нетерпеливо ржал жеребец, звал в путь. Гази-бек, хоть и не говорил ничего по поводу ее суety — девушка металась по двору, как птица, боящаяся взлететь, хваталась то за одно, то за другое, — но на губах его играла насмешливая улыбка; «дочь пастуха по пастушеству тоскует...». Принц откровенно скучал, нетерпеливо бродил по садику, похлопывая плеткой по голенищам сапог.

Она часто оставалась одна — Гази-бека приглашали то во дворец по делу, то на торжество, то на прогулку. Бибиханым оживлялась с появлением мужа, но тот, видя, как покраснели глаза молодой супруги, понимал, что она плачет в его отсутствие, что ей грустно одной. В сердце принца постепенно росло возмущение. Назло матери, лишившей Бибиханым дворцовых развлечений, он решил воспитать из нее настоящую царицу, по собственному разумению. Он начал давать ей уроки, понемногу обучать всему, что знал сам. Султаным-ханым относилась к занятиям серьезно и проявила столько врожденных способностей, что юный учитель взялся за дело с еще большим рвением. Очень скоро она научилась свободно читать и писать, и тогда принц принял прививать ей свойственные его сословию манеры. Часто он и Султаным-ханым, надевавшая костюм юного воина, вскакивали на коней и отправлялись на прогулку по тайной тропе, известной только принцу и его могущественному отцу. В укромном месте Гази-бек учил молодую супругу обращаться с мечом и конем, стрелять из лука.

В одну из таких прогулок и встретил их Фаррух Ясар. Осадив коня, он долго присматривался издали к впервые увиденной невестке — та, в наряде всадника, ловко орудовала мечом. Фаррух Ясар неожиданно для самого себя одобрил выбор сына. Против обыкновения, подозвал к себе невестку, поцеловал в лоб.

— Отлично, сынок! Я такого и не ожидал, — обратился он к принцу.

Вернувшись до дворец, Ширваншах Фаррух Ясар пригласил к себе шахиню.

— Пришло время ввести Султаным-ханым в круг придворных дам, — сказал он. — Пригласи и ее на предстоящий праздник день рождения пророка!

— Кто такая Султаным-ханым?

— Твоя невестка! Ты ее еще не видела?

— Не видела и не хочу видеть.

— Напрасно. Вначале и я так думал. Но когда увидел понял, что сын наш не ошибся в выборе. — И, сдвинув брови, Фаррух Ясар добавил:

— Сделаешь так, как я сказал, та девушка ничем не хуже дочерей иных придворных и аристократов. Может быть, даже лучше. Вызови ее. Увидишь сама.

Гази-бек готов был летать от счастья. Вместе с тем, его томило беспокойство: накануне торжественного дня он весь вечер занимался обучением Султаным-ханым. Объяснял супруге дворцовые порядки, учил, как вести себя, чтобы понравиться его матери.

Все эти наставления, можно сказать, вовсе и не понадобились Султаным-ханым. Красота девушки с первого взгляда восхитила шахиню — тонкую ценительницу всего прекрасного. Она осталась довольна беседой с Бибиханым, обрадовалась, узнав, что за короткое время невестка ее научилась читать и писать, освоила воинское ремесло — значит, обладает немалыми способностями! Все же она была матерью, а не только шахиней. Матерью, чье сердце в эту минуту было переполнено счастьем сына!

Вот так, на зависть многим, завоевала Султаным-ханым любовь свекрови и свекра, а потом и уважение дворцовой челяди и многих придворных.

4. ДЕНЬ, ПРОВЕДЕНИЙ В КОРЗИНЕ

(Продолжение)

Солнце еще не поднялось на высоту копья, когда привратник распахнул обе створки высоких ворот перед предводителями подъехавшего войска. Бахрам кази соскочил с коня в просторном зеленом дворе. Он был удивлен: падишах Рустам сказал ему, что здесь скрывается Исмаил, сын Шейха Гейдара, находящийся под опекой правителя Мирзали, и что некоторым гонцам уже отказались его выдать. Он хорошо знал правителя, знал, что тот — человек воинственный. Из его ворот без боя не то что коня — даже и мула не уведешь. Если шейх здесь, почему тогда ворота распахнуты, почему их так спокойно открыли перед входящими?

Правитель Мирзали встретил посланных приветливо, как дорогих гостей:

— Пожалуйста, пожалуйста, Бахрам кази, добро пожаловать в наши края, рады вас видеть.

Тотчас же слуги взяли коней за поводья, прогуляв их немного, отвели к кормушкам. Бахрам кази приказал своим воинам окружить дворец и быть наготове, а сам вслед за правителем Мирзали вошел в просторные покои. Здесь уже была расстелена скатерть для завтрака. Тотчас же появились изысканные блюда, напитки. Отдохнув с дороги, Бахрам кази приступил к делу:

— По сведениям, дошедшим до великого падишаха, шейх ардебильских суфиев Исмаил ибн-Шейх Гейдар ибн-Шейх Джунейд находится под твоим покровительством. Я благодарен тебе, брат, за то, что ты гостеприимно встретил меня и моих людей. Но, прошу тебя, если дело обстоит так, как донесли великому падишаху, исполни его веление и выдай Исмаила. Я даю тебе слово, что у нас он будет в безопасности. Ведь он — двоюродный брат падишаха, никакая беда его не коснется!

«... Вот-вот, как будто оба мы не знаем, что родных братьев Исмаила этот самый близкий родственник убил собственными руками...». Боясь, что по глазам его можно прочесть все, о чем он думает, Мирзали поспешил заговорил:

— Я сказал посланцам шаха все как есть. Нога человека по имени Исмаил не ступала на мои земли. Хочешь, поклянусь, положив руку на Коран?

— Ну что ж! Я приму твою клятву, поеду к шаху, предстану перед ним и передам ее.

По приказу правителя Мирзали слуги принесли расписанный золотом Коран. Вместе с лахиджанским кази пришел войсковой молла. Мирзали встал и, как было принято по ритуалу, вышел в дворцовую баню. Вылив на голову три сосуда воды, — совершив положенное омовение, «очистился от скверны», взял в руки дестемаз[6], вернулся к собравшимся. Согласно обычаяу, возложил правую руку на Коран. Он старался не смотреть в сторону корзины, висевшей на крепкой ветке среди густой листвы раскидистого тутового дерева, что росло во дворе. Думая о том, чью руку он увидел во сне, взмолился про себя: «О шейх, о дух духов, о глашатай нашей веры, о глава суфиев. Дай мне силу и волю, во имя спасения от этих злодеев твоего продолжения — твоего ребенка, произнести клятву! Будь моим исцелителем!». А потом, трижды проведя ладонью по лицу, коснулся рукой Корана. В полной тишине, громко, чтобы каждое слово запечателось в памяти близко и далеко стоящих людей падишаха, проговорил:

— Клянусь святым Кораном! Исмаила ибн-Шейх Гейдара ибн-Шейх Джунейда нет на моей земле!

... Бахрам кази был храбрым полководцем. Он очень расстроился, что, не поверив словам прекрасного человека и такого же, как он сам, воина, заставил Мирзали дать клятву. «Странный у нас шейх, ей-богу! Двух детей своей родной тети уничтожил, и все еще сердце его не остыло. Теперь вот пустился следом за малым ребенком, как будто останься он в живых, страна погибнет. И меня поставил в неловкое положение, и уважаемого человека опозорил. К нему недоверие проявлено, а я посрамлен...». С этими мыслями Бахрам кази тяжело поднялся, кивнул правителю:

— Ты очень расстроил меня, дорогой Мирзали! Клянусь той священной книгой, на которой лежала сейчас твоя рука, — пока я нахожусь на службе у падишаха Рустама, дом твой будет в безопасности! Прости меня: нет на свете хуже доли, чем быть рабом приказа.

Сердце Мирзали забилось спокойнее. Он ласково ответил гостю:

— О чем ты говоришь, брат мой?! Разве я не понимаю, в каком ты положении? Да онемеют бесстыдные люди, которые сводят падишаха с пути, нашептывают ему на ухо заведомую ложь. Я ведь тоже, как и ты, человек подневольный: одна рука просит, другая — отталкивает...

Бахрам кази не мог задерживаться дольше. Попрощавшись с хозяином дома, вскочил на подведенного ему коня и выехал на ворота, к войску.

Не успели всадники удалиться на половину агача[7], как правитель Мирзали бросился к висевшей на дереве «тюрьме» Исмаила, развязал веревки и спустил корзину на землю. Ребенок сидел, правда, вполне удобно, но кажущиеся теперь очень большими на бледном лице глаза смотрели напряженно. «Какой он бледный!.. Еще бы! Где видел он солнечный свет? В подвале?! Где он видел небо? В трубе! О-о, несчастный ребенок!»

Мирзали попытался улыбнуться:

— Сын мой, отныне нам нечего бояться. От всей души я верю словам Бахрама кази. Пока он находится на службе у шаха — в безопасности и наш дом и, главное, ты. Но все равно не следует забывать об осторожности: не бывает ведь ноги, которая не спотыкается, языка, который не заплетается.

Исмаил вылез из корзины. Волнение, которое он пытался скрыть, еще не прошло. Но оставлять слова правителя без ответа маленький шейх не захотел: «Пусть знает, что я понимаю, как он потрудился ради меня». Сказал:

— Я все слышал. Пусть сам имам Али вознаградит тебя!

— Да услышит тебя аллах!

И Исмаил остался во дворце Мирзали еще на полных шесть лет...

* * *

Впереди ехал Байрам-бек Гараманлы. Всю равнину заняло следующее за ним войско. Перегоняя друг друга, самозабвенно скакали всадники, казалось, это были участники скачек, наконец-то нашедшие обширную площадку и на радостях путившие коней вскачь...

Доехав до реки, Байрам-бек остановился. Обернулся к проводнику Гусейну, почтительно державшемуся на расстоянии от него:

— Это Кура?

— Да, бек!

— И она течет так спокойно?!

— Не смотри на это кажущееся спокойствие, бек, она так же бурна, как и ее имя[8].

— Трудно будет переправиться через эту реку?

— Да буду я твоей жертвой, бек, да!

— Что же делать?

— Другого пути нет. Самое мелкое единственно годное для переправы место — здесь.

— Какое же это мелкое? — удивился Байрам-бек, натягивая повод коня.

Тем временем войско уже нагнало их. Кто поил коня на самом берегу, а кто, спешившись, жадно пил куринскую воду. Многие смывали пыль после трудной дороги. Байрам-бек продолжал сидеть в седле. Он колебался, язык не поворачивался отдать приказ о переправе. Дух захватывало от одной мысли, что надо направить коня в эту бесшумно текущую, темную и быструю воду.

Внезапно стоявшие позади всадники расступились. К берегу подъехал юный падишах. Лицо его было прикрыто вуалью: люди не должны осквернять взглядом божественного лика сына Шейха Гейдара. Не поднимая вуали, всадник приблизился к Байрам-беку Гараманлы:

— Почему остановились, почему не переправляетесь?

— Мой повелитель, я опасаюсь пускать коней в эти воды. Думаю: может, найдем более удобное место для переправы?

— А что говорит проводник?

— Он считает это место подходящим.

«Гиблеи-алем» — «святыне мира»[9] — было четырнадцать лет. Но те, кто, не зная о его возрасте, видел мальчика в седле, сочли бы, что ему не меньше двадцати. Высокий, хорошо сложенный, гибкий станом Исмаил в тяжелых военных доспехах походил на молодого богатыря.

Юный шейх решительно вскинул голову. Сквозь прорези в вуали бросил острый взгляд на Байрам-бека Гараманлы: «В твоем сердце, как видно, не горит костер злобы и гнева против врага. Ты не отбывал, конечно, в младенчестве ссылку вместе с матерью и братьями в сырых подземельях крепости Истехр. Не тебе служили подушкой камни, а одеялом — облака. Не тебя, разумеется, прятали от каждого шороха. Не вешали на дерево, посадив в корзину. Твои два брата и весь твой род — мужчины, женщины, взрослые и дети — не были уничтожены, нет! Иначе бы ты не колебался. Тебе, как видно, не говорили, что ради святой веры можно и жизнью пожертвовать. Я же, прошедший через все это, полон ненависти к врагу. Я могу!»

— За мной! — крикнул юный повелитель, поднял хлыст и первым направил своего коня в величавую реку. За ним, восхищенные отвагой молодого военачальника, не раздумывая, двинулись Байрам-бек, Чая-султан, Гайтмаз-бек, Хулафа-бек, дядька Гусейн-бек, Див Султан и другие. Переправляясь следом за Исмаилом через реку, они вдруг услышали какую-то мелодию. Дядька Гусейн, неотступно сопровождавший юного падишаха, дал знак не шуметь, прислушался. Голос Исмаила окреп: он пел, чтобы воодушевить свою армию, приободрить близких ему людей:

Где ни посадишь, вырасту,

Куда ни позовешь, приду,

Судиям помогу.

Кази, скажите, я — шах.

С Майсуром на виселице остался,

С Халилом на костре остался,

С Мусой на туре остался.

Кази, скажите, я — шах.

Волнующий призыв сердца слышался в этих простых, незамысловатых словах. Голос звал за собой, вселял в людей уверенность и надежду. Вскоре друзья, мудрецы, озаны — все стали подпевать с таким воодушевлением, будто пели религиозный гимн:

В золотой короне, на сером коне,

Большое войско предано мне,

Взор пророка Юсифа горит на челе.

Кази, скажите, я — шах.

Хатаи я — на алом коне.

Слаще меда слова мои,

Мой предок — имам Али.

Кази, скажите, я — шах.

Армия вслед за своим юным повелителем перешла реку, не потеряв ни одного человека. Когда последний кызылбаш вышел на берег, сердце Гусейна дрогнуло от пронзившей его мысли: «Детеныш льва — с рождения лев». Глаза его потеплели. Он был горд за этого красивого и чистого юношу, которого воспитал и вырастил, всю душу в него вложил, и вот теперь его питомец стал муршидом, главой секты. Из умиленного сердца дядьки Гусейна и Хулафа-бека одновременно вырвался возглас: «Аферин!»[10]

— Тысячу лет пусть живет наш шейх, наш муршид!

— Да здравствует мудрый муршид!

— Слава молодому шаху!

Крик одобрения, казалось, потряс небеса, вызвал оживление, движение в рядах войска. Чувствовалось, что теперь уже все готовы идти за молодым государем-поэтом, чье четырнадцатилетнее сердце бурлило чувством мести. Люди будто провидели, что этот мальчик в будущем многое сделает для объединения разрозненного народа под единой властью... Исмаил же будто не слышал ничего, упрямо смотрел вперед, думая о своем. Нет, он не возгордился собой — понимал, что все это делается его друзьями, единомышленниками в целях укрепления его авторитета.

5. КОНЕЦ ОДНОГО ПЛЕМЕНИ, ИЛИ СУДЬБА АЙТЕКИН

Вдали от городов, в стороне от караванных троп жило одно племя. Сотни лет пролетели над ним. Из рук в руки, от одного завоевателя к другому переходили его многострадальные земли. Сменяли друг друга монголы, тимуриды, акгоюнлинцы... Но племя даже и не ведало о происходящих переменах. Забрел сюда, правда, как-то раз молла и, обратив их в свою веру, надолго поселился в селе. Обучал законам шариата — как сам их понимал. Когда молла умер, аксакалы племени похоронили его на кладбище, и могилу его объявили святым местом. Но после смерти старого моллы многие из привычных обрядов и верований вновь заняли свое место в обиходе сельчан.

Деревенские старухи были главными хранительницами стародавних обычаяев и зорко следили за неукоснительным их соблюде-нием. Смотришь, наутро после того, как невесту ввели в дом жениха, одна из старух, разбудив молодую пораньше, ведет ее здороваться с солнцем. Не реже, чем Коран и имамов, поминали языческие божества.

Когда жив был старый молла, он приучил сельчан давать детям «имена из Корана». Так появились в племени Мухаммеды, Бекиры, Ахады, Ахмеды. Но старухи, не принимая в душе этих нововведений, все равно нарекали новорожденных именами, принятыми по обычанию племени, на родном языке. И дети росли с двумя именами: одним — официальнопрактическим и другим, привычным, домашним, как называли отец с матерью. По обычанию, погода, сопутствовавшая рождению ребенка, предопределяла его имя, указывала судьбу младенца и его будущий характер. В племени в ходу были такие имена, как Боран — буран, Торан — сумерки, Сехер — утро.

Раз в год, в пору уборки урожая, в село из большого города являлся сборщик налогов. День-другой жил он в доме главы племени, с любопытством и некоторой опаской приглядывался к незнакомым обычаям. Сердито сплевывал:

— Слушайте, что вы за мусульмане?! Ей-богу, не могу разобраться. Гяуры — и те лучше вас...

В свое время старый молла сменил название племени «Одлу» — «Пламенное» на «Мухамедли». В официальных книгах сборщиков налогов оно так и называлось. Но

между собой чиновники называли мухаммедлинцев гяурами. На вопрос: «Слушай, амил[11], ты куда собрался?» — скривившись, отвечали: «К гяурам...»

В годы, о которых идет наш рассказ, племя вело полукочевой образ жизни. От кочевничества, в сущности, осталось немногое; члены племени занимались животноводством и земледелием. Мужчины засевали поля по обе стороны реки Гюнешли, поливали их речной водой. Если какой-то год на правом берегу сеяли зерновые, то на будущий — эти земли использовали под огород. Возделывали они и гладкие склоны невысоких гор, окружающих долину.

В конце лета или в начале осени в село обычно наведывались чужаки. Приезжал важный сборщик налогов. А следом к току подбирались дервиши, бродячие сеиды, моллы и еще бог знает кто... Раскрыв горловины объемистых мешков, все требовали — кто долю шаха, кто — эмира, а большинство — святых предков. Отлученное от древней веры своих отцов и дедов племя никак не могло постичь всех тонких различий между sectами новой религии — и потому каждому требовавшему молча отдавали все, что он хо-тел. А часть уже оставшейся пшеницы перемалывали в муку на стоявшей в окрестностях села водяной мельнице, а зимние запасы закапывали в вырытых поблизости от жилищ ямах.

Племя не ведало ни рынков, ни лавок; ни один сельчанин не знал дороги в город. Время от времени сюда забредали «коробейники». Бродячие торговцы привозили фрукты и другие вкусности, которые здесь и в глаза никогда не видели, и обменивали их на пшеницу и ячмень по весу — один к одному, к двум, к трем...

Торговцы, как и сборщики налогов, появлялись в деревне осенью, когда у сельчан и настроение после уборки урожая было хорошее, и в руках, как говорится, кое-что имелось.

Дни, о которых идет наш рассказ, пришлись на весну. Но зима выдалась сухой, бесснежной, жителям села пришлось тугу. Скот ослабел и похудел за зиму, а весна запоздала, трава зазеленела поздно. У коров доить было нечего.

Чичек сетовала на создателя:

— О аллах, разве ж так можно? И жалости к людям не имеешь. Ни капли с неба не посылаешь, откуда траве взяться, чем скотину кормить?!

Недовольно ворча под нос, старушка направилась к дому аксакала племени Мухаммед-Булуда. На дне кувшина, что она несла в руках, было немного молока — его только что отдала ей соседка, девушка Агсу.

— Клянусь светом, бабушка Чичек, это все, что я надоила, — извинялась девушка.

— Знаю, детка, знаю, зачем ты клянешься? У всех так, не только у вас. Тот, чьей жертвой я буду, не дает дождя, что тут можно сделать?!

Дойдя до ворот Мухаммед-Булуда, Чичек увидела торговца Омароглу. Тот только что слез с коня, и теперь привязывал недоуздок к камню у летней кормушки напротив сарая. Увидев старуху, он поздоровался с ней как старый знакомый:

— Рад тебя видеть, ай Чичек!

— Добро пожаловать, братец, добро пожаловать! Что это ты так рано?

— Тобой полюбоваться пришел, аи Чичек! Время такое, знаешь...

— О времени и не говори, братец, земля и небо — все горит. Когда семья растет, забот прибавляется. А тот, чьей жертвой я буду, злоумышляет, видно, против нас.

— Не говори так, аллаху не понравится! Ему лучше знать...

— Конечно, а я что говорю?! Слава творцу, хоть дышим спокойно...

На голоса вышла жена Мухаммеда-Булуда Гюмюшбике, приветливо поздоровалась с Омароглу:

— Добро пожаловать, братец! А мужа дома нет, отправился на Агархач. Пастухи утром сообщили, что ночью много баранов разбежалось: волка испугались и разбрелись неизвестно куда... — разговаривая, Гюмюшбике взяла стоявший в тени под крышей кувшин, молока там было чуть ниже горлышка. Вылила молоко в кувшин старухи Чичек.

— Вот эти два кувшина всегда были полны молока, ай Чичек, а сейчас — видишь? Как дальше быть, не знаю...

— Дай бог тебе всех благ, Гюмюш. Ведь говорят же, «черный день, проведенный с народом — праздник». Грехно гневить создателя — спасибо и за это, я же вижу, всем сейчас трудно. Много ли дел, Гюмюш?

— Да нет, отнесла вот свекрови чурек, обменяла на яйму[12]. Что делать, родная, муж тендырный хлеб любит, а я — дочь кочевника, к чуреку не привыкла, не могу его есть.

Не успела старуха Чичек выйти со двора, как к воротам подошли Мухаммед-Булуд вместе с сыном Ахмедом-Гюнтекином. Соскочив с коней, оба поздоровались с Омароглу:

— Добро пожаловать!

— Добрых тебе дней!

— Все ли здоровы? Как домашние?

— Слава аллаху, живут помаленьку. Вам привет шлют.

— Что слышно, какие новости в мире? Что хорошего?

— Хороших вестей — кот наплакал, сказать о плохих — язык не поворачивается. А вестей много...

— Так рассказывай, брат, не томи...

— Горе в мире, опять кровь рекой льется...

— Что так? Из-за чего?

— Говорят, есть такой город Ардебиль, там шах новый объявился — сын шейха. Новую веру будто принес...

— А жители что, не мусульмане?

— Мусульмане-то они мусульмане, но таких, как мы, убивают.

Старуха Чичек давно уже стояла во дворе, навострив уши.

Мухаммед-Булуд и Ахмед-Гюнтекин с Гюмюшбике слушали Омароглу со все возрастающим изумлением.

— Говорят, заставляют клясться на большом Коране двенадцатью имамами, что принимаешь новую веру.

— Большой Коран я видел. А двенадцать имамов — это кто?

— Я столько же знаю, сколько и ты.

— Хорошо, а нам-то до всего этого какое дело? Пусть каждый остается в своей вере, на своем пути, и все!

— В том-то и дело. Говорят, у его отца и деда была кровная вражда с отцом и дедом нашего Ширваншаха. И теперь он ему мстит. Да еще и мусульманство у них другое, он и нас хочет в ту веру обратить. А кто не желает обращаться — тут же, на месте, мечом рассекают надвое.

Чичек и Гюмюшбике разом в ужасе вскрикнули:

— Вай, аллах! Что за ужас!

— Да-а-а, вести не из приятных, а может, это выдумки болтунов? Вести твои верные?

— О чем ты говоришь, брат? Стал бы я в такое время года загонять коня, чтобы сюда добраться? Подумал: сообщу тебе, чтобы ты был начеку, да заодно и соберу по дворам то, что с прошлого года недадено...

— Ты очень хорошо сделал, что известил нас. Но насчет долга... Весна задержалась, сами животы подтягиваем. Не знаю, Омароглу, сумеют ли люди рассчитаться с тобой...

— Это-то верно, но, клянусь аллахом, и мы в таком же положении. Засуха и к нам была беспощадна, даже стука ложки в наших домах сейчас не услышишь. Я подумал, может, здесь хоть что-нибудь сумею получить...

— Насчет зерна — сомневаюсь, а вот скотом, может, и расплатятся.

— В этой бойне, что затевается, на что мне скот?

— Что сказать тебе, Омароглу? Сам решай, навести своих должников, потребуй уплаты. А пока пойдем, перекусим, чем бог послал. Как говорится, поживем — увидим!

Гюмюшбике вошла в дом, чтобы приготовить мужчинам еду. Потрясенная словами Омароглу, старуха Чичек, бормоча что-то про себя, взяла кувшин и направилась к своему дому.

«О невидимый творец, только этого нам и не хватало! Чтоб тому, кто затеял войну, мухой стать и к стене прилипнуть, чтоб собакой стать и всю жизнь скулить у своей двери! Какое ему дело до нас?!»

Старуха Чичек, для которой весь мир состоял из одной ее деревни, слыхала про войну только в сказках. В молодости она несколько раз видела «сражения» — крупные драки между семьями. Помнит, как в селе два парня полюбили одну красивую девушку, и из-за того, что девушка оказала предпочтение одному из них, между соперниками вспыхнула вражда. Вмешались, как водится, родственники и, разбившись на две группы, начали биться на пра-щах. Обе стороны яростно метали друг в друга камни, было много раненых. Только сельские аксакалы смогли прекратить этот скандал... И еще: однажды какое-то кочевое племя набрело на их стойбище, стало пасти скот на их пастбищах. Тогда поднялось все село, чтобы прогнать чужаков со своей земли. Мужчины, намотав чухи на руку, сражались палками. Разбитых голов и выбитых глаз было много, но никто не умер. Чичек знала смерть только от болезни или от старости, ей и в голову не приходило, что, как в известных ей сказках, жестокий правитель и наяму может, по непонятным старухе причинам, уничтожать людей, не имеющих к нему никакого отношения. Вот почему она и поверила принесенной Омароглу вести, и пришла от нее в ужас, но в глубине души в тоже время засомневалась: может быть, рассказанное торговцем — тоже сказка? Однако, веря и не веря, Чичек все же не преминула всполошить все село, передавая услышанную новость всем, к чьим воротам она в это утро приходила за молоком.

Не успел еще Омароглу закончить трапезы, как весть о войне будто на быстрых ногах разбежалась по селу.

Как бы то ни было, но когда Мухаммед-Булуд и Омароглу, позавтракав, вышли во двор, они застали здесь плотную толпу сельчан. Люди стояли, устремив взгляды на аксакалов племени: ждали, что он скажет. Мухаммед-Булуд пригласил в дом нескольких наиболее уважаемых мужчин, а остальных отправил заниматься делами, заверив, что никакой опасности пока нет.

В доме старейшины началось совещание. Многие, решив, что к предстоящая битва будет такой же, как и те, что вели они между собой, произвели подготовку: запасли чухи для нарукавников, тяжелые дубинки, пращи с большими гнездами для камней, велели ребятне набрать побольше крупных камней. На том и успокоились, решив, что теперь они готовы к встрече с любым врагом, и каждый занялся своим обычным делом.

Проводив гостя, Мухаммед-Булуд почувствовал в душе смутную тревогу. Он решил направить туда, где, по словам Омароглу, идет война, своего человека — надо же выяснить истинное положение дел! После долгих раздумий выбор его остановился на собственном сыне, Ахмеде-Гюнтекине, — это была самая подходящая кандидатура. Наутро, чуть только зарозовело небо, он дал Гюнтекину необходимые указания и направил его на восток от земель родного племени, туда, где, по словам Омароглу, шла война. Мухаммед-Булуд напрасно прождал сына весь этот долгий день. Гюнтекин вернулся лишь на следующий день к вечернему намазу. Уединившись с отцом, сын поведал об увиденном:

— Войско весь мир заняло, отец! И все воины с мечами, щитами, стрелами, копьями. На арбах везут неведомое военное снаряжение, какое и в страшном сне не увидишь. С таким войском нам сражаться трудно будет, отец! С нашими дубинками да пращами мы и дня против них не выстоим...

— А что же нам делать, сын?

— Не знаю, отец! По-моему, лучше всего совсем уйти отсюда.

— Но куда? И как мне убедить людей? Разве они уйдут, оставив посевы, урожай, скот? Как оставишь родной дом?

— Этого я тоже не знаю, отец! Но все села, что находятся отсюда всего лишь в дневном переходе, лежат в развалинах. Большую часть людей перебили, многих взяли в плен и увезли продавать на невольничьи рынки... Народ кровавыми слезами обливается, отец!

Старик задумался, понурив голову. Долго длилось молчание, и наконец Мухаммед-Булуд заговорил:

— Знаешь, сынок, посоветуюсь-ка с аксакалами. Думается мне, надо подняться на гору Гюнгёrmез и там на ровном склоне вырыть землянки, поставить хижины. Переселим туда женщин и детей. А сами вооружимся, как можем, и будем охранять на равнине наши посевы, скот. К тому месту, о котором я говорю, ведет всего одна дорога. Ее тоже могут охранять несколько человек, но, главное, ее ни один чужак не найдет, а найдет — так не поднимется незамеченным.

При этих словах он показал рукой в конец равнины, туда, где реку с двух сторон окружали отвесные горы. И действительно, гора Гюнгёrmез была надежной естественной крепостью.

— А вода? — с сомнением и надеждой спросил парень.

— Пока враг не приблизился, женщины могут носить воду из реки.

— А вдруг мы будем окружены?

— И на этот случай есть выход. На теневой стороне Гюнгёrmез скалы в одном месте провалены, там можно пробить тропинку к реке. С востока враг ее не увидит, а с другой стороны — узкое ущелье реки, отвесные скалы, кому придет в голову искать там? Да и к реке тропу подводить не будем, пробьем ее через скалы, а к воде сделаем подкоп.

Долго держали совет отец с сыном, раздумывали, как лучше все устроить.

— Отец, тропинку и подкоп надо готовить уже сейчас.

— Да, как только начнем переселение.

Еще не успели совершить утренний намаз, как стало известно о том плане, который предложил для спасения племени от врага Мухаммед-Булуд. Он первый перенес свой дом-кибитку на гору, похожую на крепость, и тем самым сразу же пресек все разговоры о том, надо или не надо переселяться. Мухаммед-Булуд в спешном порядке разбил молодых сельчан на две группы: первая, под руководством Ахмеда-Гюнтекина, сразу же начала

пробивать тропинку в скалах в указанном Булудом месте и вести подкоп к реке, а вторая, возглавляемая другом Гюнтекина храбрецом Аязом, ставила палатки, сооружала хижины на горном склоне. Все, кто мог держать в руке дубинку, кинулись к аксакалу: «Поручи нам подходящее дело!»

Но женщины не желали верить в эту «историю с войной», отказывались покидать насиженные места. Чтобы успокоить и уговорить их, Булуду пришлось произнести целую речь:

— Мои дорогие сестры и матери! Наши отцы говаривали: «Если муж сядет под кустом колючки, жена тоже должна сесть рядом с ним под куст полыни». Самый лучший выход — перебраться на гору. Враг пройдет, страх минует, дети наши целы останутся, не пойдут невольниками в чужие края. И честь наших матерей, жен, сестер, дочерей, невесток — не будет растоптана. Вот Ахмед — он видел то войско, что идет на насвойной. Говорю вам: наших сил на него не хватит. На Гюнгёrmезе мы будем в безопасности. Этот Омароглу, мир праху его отца, вовремя нас оповестил. Даю вам слово, что, как только опасность минует, я своими руками перенесу ваше добро обратно, на наши старые земли. Ах вы, безумные старухи, чего вы боитесь? Не птицы же мы, чтобы всю жизнь на скалах сидеть!

Много сил и слов потратил Мухаммед-Булуд, чтобы уговорить женщин. Уговорил, наконец. Теперь и они вместе с детьми, навьючив на спины домашний скарб, поднимались в горы, а свободные от строительства мужчины приглядывали за скотом. Некоторые пастухи были вооружены кинжалами и добытыми где-то Булудом мечами.

Обращаясь к небесам, старуха Чичек перемешивала молитвы с проклятьями:

— Пророк Наби, пророк Ильяс, освободи человека от человека!

Хотя настроение у людей было не очень веселое, кто-то поддевал ее:

— Эй, старуха, такое говорят, когда женщина от бремени освобождается!

— Ну, так и есть, если мы от этого нечестивца избавимся снова на свет народимся!

Под вечер того же дня люди уже совершили намаз на крошечном, с ладонь, участке горы. С равнины, сколько ни смотри, ни шалашей, ни палаток не различить. А только что покинутые жителями дома погрузились в удивительную тишину. Казалось, застыла вся прошлая жизнь племени. Можно было подумать: люди либо заснули, либо ушли куда-то. Вот-вот они вернутся обратно, вновь задымятся не остывшие еще очаги, к опустевшим кормушкам будет привязан скот, привычным шумом наполнится все село. Но это было лишь внешнее впечатление; внутри дома выглядели так, будто каждую комнату до нитки обчистили воры.

* * *

Когда передовой отряд кази добрался до села, он застал здесь странную картину. Пустые, напоминающие склепы дома молча смотрели на пришельцев. Раскрытые ворота были как черные провалы пещер. Ни самого паршивого козленка в загоне, ни хромого цыпленка в

курятнике... Казалось, война, не коснувшись еще села рукой, уже опалила его своим дыханием, убив все живое. Воины разместились в покинутых домах, стали ждать подхода основных сил: здесь они должны были соединиться. А после нескольких дней отдыха войско направится к горе Фит — весенне-летней резиденции Ширваншахов. Для перехода через горы отдых был необходим.

6. ДЕРВИШИ

В это самое время на другом конце света в семье купца, не знающей ни о Султаным-ханым, ни об Исмаиле, будущем шахе, росли их сверстники, братья-близнецы. Много десятилетий назад их предки, азербайджанские купцы, после разгрома хуруфитов покинули Ширванское шахство и обосновались в Конии. У братьев-близнецовых, сыновей Гаджи Башира от турчанки Ляман, была, как говорится, легкая нога. Гаджи здорово повезло в торговле, он получил большую прибыль там, где совсем не ожидал ее. Отец не жалел средств для воспитания мальчиков, хотел, чтобы они были и образованными, и физически развитыми и даже мечтал, что они пойдут по его стопам, а, может, и еще дальше. Но с годами Гаджи Башир перестал понимать своих детей.

Один из близнецов, Исрафил, с детства отличавшийся сильной набожностью, стал, несмотря на молодость, мюридом городского кази, его самым доверенным базарным служителем. К отцовскому занятию — торговле он совсем не проявлял интереса. Напротив: как правая рука кази, Исрафил заделался самым ярым врагом всех купцов на базаре, их ненавистным соглядатаем.

Второй близнец, Ибрагим, был полной противоположностью брату. Если Исрафил внешностью походил на отца, а характером был жесток и коварен, то Ибрагим своим прославленным лицом, высоким ростом, изящной осанкой больше напоминал мать, Ляман-ханым. Движения у него были плавными, речь —держанной. Но и он, как и брат, расстраивал отца необъяснимым пристрастием к дервишам. Дело дошло до того, что Гаджи Башир решил серьезно поговорить с Ибрагимом:

— Сынок, что хорошего находишь ты в этих вшивых, вонючих дервишах, сбривающих не только усы и бороды, но даже брови я ресницы?!

Ибрагим покраснел, горячо возразил:

— Но ведь главное не одежда в человеке, отец, для меня важна суть их учения. Отпусти меня с ними: я хочу повидать мир, хочу узнать, какие еще живут на свете люди, какие есть на свете обычай, хочу услышать чужие наречия.

Гаджи Башир повысил голос:

— С дервишами — никогда! Сынок, ведь ты можешь поездить по свету и как купец, повидать какие хочешь страны, увидеть разных людей. С моего благословения — пожалуйста! — бери в свои руки мои торговые дела, я уже состарился. Присоединяйся к купеческим караванам, я снаряжу тебя. Что может быть лучше — сын с отцом, рука об руку! И имущество наше умножим, и мечта твоя исполнится.

Ибрагим мягко усмехнулся:

— Прости, отец, но мне не по душе мирские блага. И умножать их мне не хочется.

Тут в разговор, не утерпев, вмешался Исафил, давно уже внимательно слушавший их. Грубо расхохотался:

— Хорошо! Нам только этого не хватало — нищий дервиш! А есть ты не захочешь? Гулять не захочешь? Дом свой иметь, жену, детей не захочешь? — Потом, понизив голос настолько, чтобы услышать мог только брат: — А Нэсрин на что ты будешь содержать? Хоть материю на юбку ты ей должен покупать или нет? Или это тоже отец твой будет делать?

Ибрагим задрожал от гнева, выдохнул шипящим шепотом: «Это не твое дело». Собрав всю свою волю, громко ответил:

— Не обижайся на меня, отец. Торговые дела ты поручи нашему старшему брату Хамдулле. Меня же с этим миром ничто не связывает. Моим ложем станут созданные творцом поля, едой дарованные создателем травы и коренья. Праведная торговля предназначена для моих братьев, я же пылаю страстью хоть на миг приблизить слияние с моим божеством. Разве ты этого не чувствуешь, отец? Ведь ты человек бывалый, предки твои покинули родину во имя своих убеждений. Я не хочу дерзить тебе, моему родному отцу, я только прошу тебя — не заставляй меня заниматься тем, к чему не лежит душа. Не мешай мне идти по пути, предназначенному моим духовным отцом.

Ляман-ханым, слушавшая из боковой комнаты разговор отца с сыновьями, плакала. Она не знала, кто из них прав. Она только горько говорила себе: «Когда Ибрагим сосал мою правую грудь — Исафил сосал левую. Почему же братья-близнецы, внешне столь похожие, так отличаются друг от друга?» Насколько резким с самого младенчества был Исафил, настолько мягким, ласковым вышел из материнского лона Ибрагим. Он восхищенно слушал ее сказки, песенки, загадки — ими убаюкивала его мать вместо колыбельных песен. Еще совсем заплетающимся языком повторял за ней стихи; потом стал читать их даже во сне, и стихи эти очень походили на гошма Юниса Имре, которые читала ему, малыши, мать. Впоследствии, когда Ибрагим вырос, он втайне от всех, но не от матери, всерьез занялся сочинительством сти-хов. Но направленность этих стихов, их содержание резко отличались от того, что мальчик слышал в детстве. Теперь с языка его не сходило имя некоего Хатаи, он, можно сказать, дышал этим образом. «Интересно, кто он?» — думала мать. Давно уже проведала Ляман-ханым о тайной сердечной склонности сына — его влюбленности в соседскую девушку Нэсрин. Но теперь, кажется, и Нэсрин уже забыта! Неужели сын оставит их, откажется от дома?.. Ляман-ханым видела, что теряет своего ребенка, что он день ото дня отдаляется от нее, его помыслами и душой владел лишь образ Хатаи. Ей хотелось войти в комнату, кинуться в ноги мужу Гаджи Баширу, омыть их слезами, умолить его: «Аи, Гаджи, да буду я твоей жертвой — ведь ты отец, употреби свою отцовскую власть! Прикажи Ибрагиму, не позволяй ему уходить из дома! Он не посмеет ослушаться твоего веления...»

Но Ляман-ханым не знала, что ее Ибрагим живет теперь только и только в мире дервишей, что сам глава секты мечтает стать его духовным отцом, обучает его заветам Хатаи, готовит его к великому — по своему разумению — будущему, и в это будущее и он сам, и молодой Ибрагим искренне верят. Даже самый строгий запрет Гаджи Башира не сможет проникнуть в сердце, в котором царит воля постигших истину мудрецов. Просто не в состоянии!

Дорогой читатель! На дорогах нашего повествования ты еще встретишься с Бибиханым-Султаным, Айтекин, Ибрагимом и Шахом Исмаилом, сыном Шейха Гейдара, известным в то время, как Хатаи. Каждый из них по своему разумению захочет понять это высшее духовное лицо шиитов, военачальника, в четырнадцать лет сумевшего покорить четырнадцать провинций, государя и автора утонченных любовных газелей и «Дехнаме» — поэта Хатаи.

7. КОРШУН

Прорвав серое одеяние горы, высоко в небо вознеслась черная скала. На голом и остром пике ее неподвижно, точно и он был изваян из камня, сидел коршун. Зоркими глазами он оглядывал окрестности, особенно пристально вглядываясь в похожие сверху на ряды разноцветных бусинок, шеренги воинов. Старый стервятник, проживший на свете почти столько же, сколько и эти скалы, узнавал военный лагерь по запаху. Он с наслаждением преследовал войско по пятам: знал — там, где появляется подобное скопище людей, обязательно прольется свежая кровь, будет много трупов — о, эта ароматная, теплая еще кровь!... От предвкушения у старого коршуна перехватывало дыхание. Как ему хотелось приблизить миг блаженства — но он не трогался с места, по опыту зная, что спешить не следует. Сначала должны засверкать, как молнии, прикрепленные к поясам мечи, обрушиться удары на щиты, надо, чтобы из закинутых за спину разноцветных колчанов стрелы засвистели в воздухе. Лишь тогда потечет на землю такая вкусная кровь... Ах, так и хочется кинуться на человека, пока он еще не упал!..

Войско двигалось, и неотступно следил за ним коршун. В мозгу умудренного годами стервятника пробуждались новые и новые мысли. Вскоре эти существа станут его кормом. Странно. Он чует, таких по запаху — столько уже повидал подобных схваток и сражений! И... люди в таком большом количестве собираются вместе только тогда, когда они готовятся стать кормом для стервятников. Кто же их побуждает к этому?! Коршун — не змея и не сколопендра, он не станет пикировать с седьмого неба, чтобы разорвать намеченную жертву. Люди сами убивают себя. Сами! И он не понимает — почему? Вон, пониже его, кружат вороны — охотницы до глаз и мозга человека... Следят... Вкусные глаза и мозги. Неужели это и есть жемчужина природы, царь всего живого — человек? Вот это и есть человек, превосходящий птиц разумом? Почему же то мягкое, вкусное вещество, именуемое мозгом и более всего отпущенное людям, почему оно не предупредит их, не спасет от смерти — от мечей и клювов?

О человек, взгляни на вершину скалы! Смерть в облике коршуна — над твоей головой. Он уже ощущает запах твоей, не пролившейся еще, крови. Даже дыхание задержал... Как и те, летающие ниже, жадные до мозга вороны...

Молодой кази давно заметил старого коршуна. Вот уже несколько дней стервятник следует за ними. Теперь, с приближением битвы, ему стало казаться, что неподвижный взгляд птицы устремлен именно на него, что она его высмотрела, отметила среди всех. Этот невидимый, но ощутимый взгляд жег сердце воина — оно будто предчувствовало что-то. Не выдержав, юноша вынул из колчана стрелу, вложил ее в лук, натянул тетиву и, прицелившись, выстрелил. Но в тот самый момент, когда стрела вылетела из лука, коршун взвился ввысь и исчез где-то за черной скалой. Воин, шедший рядом с молодым кази, рассмеялся:

— Если б у него не было крыльев — ты бы попал в него! Не трудись понапрасну. Коршуны хитры и коварны. Кто знает, сколько лет этому и чего он только не повидал на своем веку?! Так что, не трать стрелы зря.

Молодой кази злился в душе на коршуна и на товарища: не суметь подстрелить птицу с близкого расстояния! А войско двигалось вперед, кызылбашские кази с воодушевлением распевали стихи своего муршида, едущего впереди на белом коне, с лицом, закрытым шелковой вуалью.

Сопели хиджазские верблюды, ржали арабские скакуны, скрипели арбы со снаряжением и провизией. Войско наступало...

* * *

Шел третий день, как село перекочевало на скалу. До вчерашнего дня внизу не появлялся ни один чужак, и поэтому первые страхи и волнения бесследно прошли. Люди забыли об осторожности. Девушки и молодые женщины, спускаясь с кувшинами на плече к реке Гюнешли, ворчали, что им приходится теперь таскать воду на вершину горы.

Айтекин проснулась чуть свет. Она и раньше не была лежебокой, вставала раньше зорьки, подметала двор, управлялась со скотом. Но теперь, поскольку двора не было, а скот брат Гюнтекин угнал куда-то далеко вместе со всем стадом, делать ей было нечего. И отец не показывался: ушел еще раньше, чем она проснулась. Из всех утренних обязанностей Айтекин осталась только одна — сходить за водой. Взявш кувшин, девушка направилась по вырубленной тропинке к реке Гюнешли. Дорога была длинной. Перепрыгивая, как горная козочка, с камня на камень, Айтекин спустилась из лагеря к реке. Меж крупных черных камней росли кусты роз, дикий инжир, козелец, съедобные травы. Время от времени девушка наклонялась и, сорвав травинку, отправляла в рот, а соком некоторых стебельков, похожим на молоко, ставила себе «родинки» на щеках и подбородке.

Когда она добралась до реки, солнце только-только выглянуло из-за горизонта. Девушка подошла к берегу, чтобы наполнить кувшин. Прозрачная вода притягивала к себе: Айтекин ополоснула руки, лицо. Сев на прибрежный камень, опустила ноги в воду и, как в детстве, кокетливо и шаловливо принялась болтать ими. Посмеялась над собой и, поднявшись, хотела уже наполнить кувшин... Внезапно девушке показалось, что кто-то на нее смот-рит. Она не слышала шороха, но быстро обернулась в ту сторону, откуда почувствовала взгляд — и замерла на месте.

В десяти шагах стоял незнакомый парень. Он был в невиданной ею до сих пор разноцветной одежде и, видно, из богатой семьи; шаровары из голубого бархата, сафьяновые сапожки с загнутыми носами, голубая чуха с золочеными галунами, атласная кофта с белым воротом. Серебряный пояс и кинжал украшены цветными каменьями и черной эмалью. Седло и сбруя коня, которого он держал на поводу, тоже были из отделанных серебром ремешков. Юноша смотрел изумленно, видно, не ожидал встретить здесь человека.

Сердце Айтекин затрепетало. Она так резко выпрямилась, что камень под ней качнулся, и девушка, потеряв равновесие, беспорядочно замахала руками и ногами, стараясь не упасть в воду. Это рассмешило молодого всадника. Еще мгновение — и девушка, бросив кувшин, помчалась прочь. Она слышала сзади голос парня, но не могла осознать смысла его слов:

— Эй, девушка, погоди, я тебя не трону, не бойся, погоди-и-и...

Айтекин думала только об одном: куда ей бежать, как спрятаться, чтобы вражеский всадник, наблюдая за нею, не смог узнать о ведущей в горы дороге! Она забежала за валун и, не слыша за собой шагов, остановилась. От страха, от быстрого бега вверх по крутизне, сердце ее колотилось так, будто хотело вырваться из груди. Отдышавшись немножко, она осторожно выглянула. К ее неописуемой радости напугавший ее всадник уже ускакал. Лишь теперь, убедившись, что ее не преследуют, Айтекин без сил опустилась на землю. Отдохнув, она поднялась, чтобы идти, но вернуться за кувшином не осмелилась. По тропинке, известной только ей и ее соплеменникам, вернулась в лагерь. Тропа была узка: еле разминуться двоим, и в конце ее стоял Мухаммед-Булуд. Увидев дочь, старик изумился:

— Ты откуда, Айтекин? Что случилось? На тебе лица нет!

— У реки была, отец.

Прижавшись к отцу, девушка вдруг заплакала:

— На берегу реки я встретила чужого человека. Он был вооружен, на коне...

— Он тебя заметил?

— Да, отец, но ничего не сказал. Я испугалась и убежала. А он сел на коня и ускакал.

— Он видел куда, в какую сторону ты побежала?

— Нет, я не кинулась сразу к тропе, а спряталась сначала за большим камнем. Я видела, как он уехал — значит, не разобрал, куда я исчезла!

— Хорошо, дочка, возвращайся домой. Скажи Гюнтекину: если он уже поел, пусть идет сюда.

Мухаммед-Булуд успокаивающее прижал к себе дочь, взяв за подбородок, поднял опущенную голову и пытливо заглянул в глаза. Отцовское сердце сжалось болью: не принес ли всадник несчастья дочери? Нет, ни следа оскорбленного целомудрия в этих широко раскрытых глазах, только тень пережитого страха, луд несколько успокоился. А Айтекин, подумав о хорошо вооруженном всаднике, смертельно испугалась за брата:

— Отец, где спрятал наш скот Гюнтекин?

— На Ганлы гышлаке. Не бойся за него, дорогу туда сама судьба не найдет.

— Брат вернулся, а кто же со скотом остался?

— Твой дядя Самандар с сыном старухи Чичек.

При словах «Ганлы гышлак» («Кровавое зимовье») девушка вздрогнула:

— Почему это место так страшно называется, отец?

— Потом расскажу, дочка, в свободное время. Знай только, что когда-то дочь одного из наших предков показала врагу местонахождение своего племени. Оказалось, она полюбила юношу из вражеского стана, поверила ему. И по приказу ее отца на этом самом гышлаке кровь девушки пролил родной ее брат. Отсюда и название... Ладно, теперь не время, остальное потом доскажу, ступай.

Этот короткий рассказ напомнил Мухаммеду-Булуду о его недавних подозрениях, сердце его защемило от жалости к дочери. Он снова погладил ее по склоненной головке, ободрил:

— Не бойся, дочка, даст бог, мы избавимся от этой напасти. Передай матери, пусть женщины больше не ходят за водой этой дорогой. Теперь все вы будете пользоваться подкопом. Это, конечно, трудновато, но что поделаешь? Будь стойкой, мое разумное дитя! Время сейчас такое, что даже вы, девушки, должны, как храбрые мужчины, смело смотреть врагу в глаза, а если и нужно будет, то пролить кровь. Думать надо только о чести! Иди, детка, скажи Гюнтекину, пусть придет ко мне.

Девушка подавила рыдания, вытерла концом келагая слезы. Еще мгновение постояла, прислонясь к отцовскому плечу, повторяя про себя его слова. Они проникли в самое сердце.

— Сюда прислать Гюнтекина, отец?

— Нет, к дяде Урфулле. Я буду ждать его возле их землянки.

Когда Айтекин повернулась, чтобы идти, отец снова остановил ее:

— Не проговорись там, что видела врага, не надо пугать людей раньше времени.

— Хорошо, отец.

По узенькой тропинке девушка поднялась вверх, к лагерю. Она торопилась, почти бежала. Подойдя к дому, увидела Гюнтекина — поев, тот готовился идти в горы, к скоту.

— Отец зовет тебя, брат. Велит тебе скорее идти к хижине дяди Урфуллы.

— Хорошо.

Парень поспешно зашагал по склону, а Айтекин побежала выполнять поручение отца.

* * *

Молодым всадником, встреченным Айтекин, был кази Рагим-бек — тот, что накануне пытался достать стрелой коршуна. Хотя лет ему было не много, кази пользовался большим уважением в войске. Молодой, красивый, а, главное, один из самых близких, преданных мюридов, Рагим-бек происходил из очень религиозной и, к тому же, близкой к тайным сторонникам шаха семьи, приходился родным племянником могущественному Байрам-беку Гараманлы. Находясь под покровительством дяди, молодой человек прошел блестящую военную подготовку. Байрам-бек всегда сокрушался: ах, если бы хоть толику того рвения, что уделяет племянник искусству владения мечом, он посвятил бы наукам, письму и чтению! Тогда в будущем он смог бы стать одним из самых почитаемых придворных, приближенных шаха. А теперь вся его карьера связана только с воинской доблестью...

Ождалось, правда, что он будет великим военачальником, ведь деды недаром говорят, что истинный храбрец бывает в дядю. Вот он и пошел по стопам своего дяди Байрам-бека Гараманлы.

... Напоив коня у реки, где он встретил неожиданно появившуюся и столь же внезапно исчезнувшую красавицу, Рагим-бек направился в лагерь. Вокруг покинутого племенем села уже стояли многоцветные шатры и палатки государя, эмиров, военачальников; вся армия расположилась лагерем на равнинном приволье. Рагим-бек ехал медленно, погруженный в думы, и все оглядывался по сторонам. Девушка, встречаенная им в ущелье, где не видно было ни одного человека, казалась ему видением. «Может быть, задремал, и она мне пригрезилась?» — думал он. Стояла весна, сны его были переполнены такими видениями. То он летал, взмахивая, как птица, крыльями и всматриваясь в возлюбленную с высоты. А то сражался в жестоких битвах, осаждал вражеские крепости и в конце непременно брал в плен прекрасную деву. Он просыпался в холодном поту, еще ощущая на губах ароматное дыхание юной пленницы... Может быть, и встречаенная сегодня девушка тоже была сном, только еще более необыкновенным? Нет! Девушка была живой, из плоти и крови. Нежными ножками она по-детски болтала в прозрачной воде, шлепала ими, поднимая тучи брызг. Как она была счастлива до того, как встретилась взглядом с Рагим-беком... До того! А увидев его, как испугалась... Съежилась, будто цыпленок, завидевший коршуна... Убежала... Куда? Кто она? Может, из этого села, жителей которого проводник назвал гяурами? А ведь эти «гяуры», проведав откуда-то о походе войска, покинули насиженное место и куда-то сбежали... Во всех случаях он должен, конечно, сообщить дяде, что видел на берегу реки человека — это может понадобиться. Но ему бы так не хотелось, чтобы такой красивой девушки коснулась беда!

Рагим-беку казалось, что он не вынесет, если несчастье коснется этой изумительной, по-детски забавной красавицы. В этих пугливых глазах джейрана не должно быть и тени страха...

Молодой кази подъехал к лагерю. Байрам-бек, стоя перед палаткой, разговаривал с проводником.

— Доброе утро, дядя!

— Доброе утро, Рагим-бек. Откуда так рано?

— Прогулялся немного по берегу реки.

Байрам-бек с гордостью оглядывал статную фигуру соскочившего с коня племянника; его сияющее молодостью слегка загорелое лицо, на котором проглядывал нежный пушок, с закрученными, как у самого Байрам-бека, и лихо торчащими кверху усами, пронзительно черные глаза под будто нарисованными тушью бровями. «Настоящий игит пойдет в дядю, благородная девушка — в тетю», — вспомнил он поговорку. Молодой кази немало стараний прикладывал к тому, чтобы гладкие от природы усы его закручивались, как у дяди. Не только лицом, но и характером пошел он в Байрам-бека, любившего юношу, как сына, как невозвратную свою молодость...

— Утренняя прогулка очень полезна, сынок, — сказал он.

Рагим-бек подошел ближе:

— Дядя, на берегу реки я встретил человека...

Язык не повернулся сказать: «Встретил девушку!» Но Байрам-бек и проводник,казалось, только и ждали этих слов. Оба внимательно посмотрели на молодого кази, и Байрам-бек быстро спросил:

— Где?

Рагим-бек поднял зажатую в правой руке плетку, показал место вверх по течению:

— Вот там... немного выше...

— А куда он ушел?

— Мне не удалось узнать. Он, увидев меня, сразу же исчез среди скал.

Байрам-бек с подозрением взглянул на проводника:

— Кто бы это мог быть? Может, кто-то из соглядатаев, людей Ширваншаха?

Проводник с сомнением покачал головой:

— Не думаю. Ширваншах Фаррух Ясар собирает войско в стороне Гебеле. Шемаха пуста. А сын его Гази-бек — в бакинской резиденции. Это я знаю наверняка. Значит, человек этот только из тех гяуров, о которых я вам говорил. Наверное, прослышиав о нашем приходе, они сбежали из села и укрылись где-нибудь в горах, забились там в пещеры. Вот их, дорогой господин, просто необходимо силой меча обратить в истинную веру. Это можно сделать попутно. И аллаху будет приятно, и рабу его, потому что они хуже гяуров! — проводник давно уже был не в ладах с жителями племени...

Тем временем двое слуг принесли большую булаву, с трудом волоча ее по земле. Рагим-бек свободно поднял ее и принял за свои обычные утренние упражнения: поднимал булаву над головой, клал ее себе на плечи, перекидывал из одной руки в другую. Разговаривая с проводником, Байрам-бек с удовольствием следил за ловкими движениями юноши.

— Хорошо. Тогда ты вместе с Рагим-беком поезжай к тому месту, еще раз осмотрите там все. А я сообщу об этом шаху.

Рагим-бек, раскрутив булаву в правой руке, сделал неожиданный выпад — будто опустил на чью-то голову и, не прицеливаясь, отбросил ее точно между стоявшими поодаль и наблюдавшими за ним двумя слугами. Те испуганно вздрогнули. Байрам-бек улыбнулся одобрительно, с гордостью, проводник — угодливо. А Рагим-бек снова вскочил на коня. В сердце его росло необъяснимое нетерпение. Воину казалось, что чем скорее он вернется к тому местечку у реки, тем больше у него шансов опять застать там спутнутое видение... Забрался на коня и проводник. Байрам-бек направился к шахской палатке, а всадники поскакали к ущелью.

Когда они подъехали к тому месту, где Рагим-бек встретил утром девушку, молодой кази вздрогнул: большой кувшин боком лежал на прибрежном песке. Сердце юноши затрепетало, ему показалось, что таинственная красавица где-то здесь. Но теперь ему вовсе не хотелось этого: невыносима была даже мысль о том, что ее увидит и проводник.

Позади послышался шорох. Обернувшись, они увидели приближающихся верховых — государя и Байрам-бека. Рагим-бек и проводник осадили коней и, встав на расстоянии, переложив поводья в левую руку, правую приложили к груди и низко склонили головы. Рагим-бек, тотчас забыв и девушку, и свои мечты, устремил горящий, преданный взгляд на юного шаха. По едва заметному жесту этого юноши, которого мюриды уже теперь, до церемонии коронования, называли между собой шахом, он готов был умереть, с восторгом пожертвовал бы жизнью! — вот что светилось во взгляде молодого кази. Исмаил спросил:

— Ты здесь видел человека, Рагим?

— Да, мой государь, здесь.

— Когда?

— Только что.

— А куда он исчез, ты не заметил?

— Я долго смотрел, повелитель, но не уследил — он исчез среди камней, как сквозь землю провалился. Я думаю: может, он спрятался? А после моего ухода поднялся туда, — молодой всадник показал рукой на отвесные скалы.

Но стена огромных скал казалась в этом месте неприступной, проводник хотел было что-то сказать, но не посмел заговорить в присутствии шаха. И потом, мнения его никто не спрашивал... Но государь, уловив это движение проводника, взглянул на него поверх плеча и повернулся к Байрам-беку:

— А что думает по этому поводу проводник?

Услышав этот косвенно обращенный к нему вопрос, проводник склонил голову, и глядя на Байрам-бека, запинаясь, проговорил

— Там неприступные скалы, нога человека еще никогда не касалась их. Не существует дороги, по которой можно было бы забраться наверх.

— Может быть, с другой стороны...

— С той стороны тоже горы — высокие, непроходимые.

Исмаил, все так же обращаясь к Байрам-беку, сказал, усмехнувшись:

— Ну не с неба же свалился сюда человек! Давайте перейдем на тот берег — возможно, там отыщется разгадка.

С этими словами государь направил коня в реку Гюнешли. Дно постепенно понижалось, вода доходила уже до брюха лошади. Сильное течение закручивало посреди реки водовороты. Байрам-бек знал об отваге юного шаха, хорошо помнил, как тот въехал на коне в могучую Куру. Но и он забеспокоился: в узкой горловине реки в любую минуту мог возникнуть неожиданный сель — в это время года их бывает много! Подкрадываются они всегда бесшумно, мгновенно усиливаются. И кроткая обычно река вдруг начинает яростно бушевать, грохотать оглушающе. Попадись ей в эту минуту даже верблюд — събьет с ног, потащит за собой. А пережди на берегу могучего потока еще немного — и вода, так же быстро, как и поднялась, спадет, успокоится, превратится в нежный и кроткий, словно ягненок, ручеек. И только громадные камни, обломки веток и тяжелый ил останутся молчаливыми свидетелями недавнего буйства стихии.

В один миг пронеслось в голове у взволнованного Байрам-бека страшные картины надвигающегося селя. Он только раскрыл рот, чтобы предупредить шаха об опасности — но уже сам Исмаил почувствовал, что дно круто уходит из-под ног, повернул коня влево, вниз по течению. Пришпорив и без того испуганное животное, Исмаил поднял в воздух целые фонтаны воды и с озорством разгоряченного юнца перепрыгнул на другой берег. Байрам-бек, Рагим-бек и проводник последовали за ним.

Но и с этого берега на отвесном склоне не было видно ничего живого. Не было и намека на дом, палатку или какое-нибудь жилье... Всадники долго оглядывали скалу. Потом медленным шагом прошли против течения и вскоре достигли самой узкой части горловины реки, стиснутой с обеих сторон отвесными голыми скалами. Но и здесь было безлюдно. Пришлось повернуть назад. И снова перед глазами поплыли скалы, черной стеной нависшие над водой. Вдруг взгляд государя привлекла большая впадина у основания одной из скал. Вода ли вымыла ее? Нет, хотя впадина находится на уровне реки, она — дело рук человеческих.

Исмаил, заинтересовавшись впадиной, натянул повод коня. Но не успел он сказать что-либо спутникам, чтобы привлечь и их внимание к этому проему, как вдруг из густой тени под скалой высунулись две руки, опустили кувшин в воду, подняли его и исчезли. Теперь же в объяснениях не было надобности: сопровождавшие Исмаила люди тоже увидели руки и кувшин. Проводник, забыв, что надо дождаться, когда к нему обратятся, изумленно воскликнул:

— Гяуры там, повелитель! Они, видимо, сверху провели подкоп под скалу, чтобы доставать воду!

— Ясно... ясно...

Байрам-бек с упреком сказал проводнику:

— Значит, со стороны горы есть проход на вершину этих скал, проводник?

— Видимо, так, да буду я твоей жертвой, мой господин!

— Байрам-бек, отдай войску приказ: пусть окружают скалу.

— Есть, повелитель!

Рагим-бек, подъехав ближе к государю, попросил:

— Разреши моему отряду, повелитель!

Сын Шейха Гейдара внимательно посмотрел на молодого человека, всего лишь двумя-тремя годами старше его самого. На взволнованном лице Рагим-бека были написаны преданность и верность, мольба и покорность. Шрам над левой бровью воина все еще краснел — государь хорошо помнил историю этого шрама, еще и года не прошло с тех пор, как был ранен молодой кази. Тогда, после шести лет, проведенных под гостеприимным кровом правителя Мирзали, он покинул Лахиджан и направился со своими людьми в Ардебиль. Однако правитель Ардебиля Джейрли Султанали-бек от имени принца Эльванда Мирзы отказался впустить его в город. Юный Исмаил не принял еще тогда шахского звания. Среди полутора тысяч преданных ему кызылбашских всадников самыми близкими и родными ему людьми были дядька Гусейн-бек, Абдулла-бек, дядька Хюлафа-бек, братья Рустам и Байрам Гараманлы, Хыныслы Ильяс-бек, Айгут-оглу, Гарапири-бек Каджар. Перейдя через Деилем, они, с согласия талышского правителя, вошли в Астару. Зиму провели в Арджуванде. Тут-то и случилось событие, на память о котором остался у Рагим-бека шрам над бровью.

Оказывается, с одобрения принца Эльванда Мирзы, Джейрли Султанали-бек подготовил покушение на Исмаила. В ту ночь перед шатром сына Шейха Гейдара дежурили люди Байрам-бека, а в дверях стоял на часах его племянник Рагим-бек, оказавшийся настолько бдительным, что сумел раскрыть заговор и спасти Исмаила. Сам он при этом был ранен в голову. Тогда же они узнали, что Ширваншах Фаррух Ясар, послав талышскому правителю тысячу туманов, потребовал выдать ему Исмаила. Тот с приближенными вынужден был покинуть Арджуванд. Раненого Рагим-бека увезли с собой в укрепленном на коне паланкине. Так его и возили, пока не выздоровел — переезды ведь длились долго, около года.

Целый год, день за днем — они всегда были в дороге! Поскольку оба предательства были раскрыты кызылбашскими эмирами, Байрамом и Рустамом Гараманлы и одно из них устранило рукой Рагим-бека, — они еще более возвысились в глазах Исмаила и приближенных мюридов. Покидая Арджуванд, приверженцы Исмаила разослали своих глашатаев в Турцию, Дамаск и другие города, призывая их жителей к единству в борьбе за веру, против убийц Шейха Джунейда и Шейха Гейдара — Ширваншахов. Сами же направились в Карабах, в Геокчай... В Геокчай эмир карагоюнликцев Султан Гусейн решил устроить в их честь торжественный прием, замышляя на самом деле черное предательство: убийство Исмаила во время приема. Но кызылбашские эмиры не поддались его сладким речам и увезли Исмаила в Чухур Садда, а на прием пошли сами. Таким образом, эмиры снова спасли своего муршида от покушения. В Эрзинджане был созван меджлис всех кызылбашских эмиров. Исмаил отправился на это собрание раньше всех в сопровождении представителя проверенного рода Гараманлы — Рагим-бека, здоровье которого, несмотря на тяжесть постоянных переездов, быстро улучшалось.

В Эрзинджане было принято два важных решения: первое — начать неотложную борьбу против злостного врага Сефевидов Ширваншаха Фарруха Ясара и второе — собрать военное снаряжение и снарядить войско для наступления.

Для сбора средств Хыныслы Ильяс-бек направился в Манташскую крепость, а Хюлафа-бек — в Ахалцикскую. Заготовив необходимое снаряжение, Ширваншах Фаррух Якар был тотчас объявлен ими врагом веры. Начав священную войну — газават, кази организовали поход из Эрзинджана на Ширван. Теперь уже в войске Исмаила было более семи тысяч всадников и столько же пеших воинов. И всегда бессменными стражами у его шатра были воины лучшего шахского полка, руководимого военачальником Байрам-беком Гараманлы, и среди них — племянник Байрам-бека Рагим-бек. Ведь только благодаря мужеству этого молодого кази, спасшего его от покушения, Исмаил смог целым и невредимым добраться до Ширвана, стать победоносным военачальником и госуда-рем. Ему невольно вспомнилась одна очень давняя сцена... О, как часто он обращался к прошлому. Правда, это прошлое его никогда и не отпускало, оно будто таилось в поэтическом уголке его души и временами всплывало наружу.

Говорят, детская память бывает очень острой. И действительно, как в выпуклом зеркале проходила сейчас перед Исмаилом его встреча с дядей. По просьбе его отца Султана Гейдара Аламшах-бейим направилась в резиденцию своего брата Султана Ягуба ибн-Узун Гасана. В поездку мать взяла с собой и маленького Исмаила: не могла и на день расстаться с любимцем-последышем, да к тому же хотелось показать ребенка его дяде. Султан Ягуб жил тогда в Тебризе. Исмаил был не по возрасту развит и любознателен, с интересом рассматривал все новое, запоминал увиденное и услышанное. В течение нескольких дней, что они гостили в Тебризе, между братом и сестрой шли горячие споры о суннитской и шиитской сектах ислама. В сознании ребенка, как клеймо, выжженное раскаленным железом, навсегда отпечатались слова дяди Султана Ягуба, сказанные им при расставании с его матерью: «Моя дорогая сестра, заступаясь за своего мужа, ты уничтожаешь нас. Наверняка станешь врагом взрастившему тебя отцовскому очагу, врагом своему родному брату. Весь мир знает, что Ширван от края и до края населен суннитами. Твой любимый муж мечтает их всех перебить, а мы, если он начнет, пойдем на вас. Если ты разбираешься в государственных делах, в политике, если хочешь пойти по пути нашей бабушки Сарыхатун — подумай хорошенько. Рассуди, на кого вернее оказывать влияние, чьей быть советчицей. Подумай: кому во вред и кому на пользу братоубийственная война? Во всяком случае, я, конечно, знаю, что ты не откажешься от стремлений своего мужа, не пойдешь с нами. Потому что его победа — это и твоя победа. И все же подумай!»

Весь во власти нахлынувших воспоминаний, Исмаил все не давал ответа молодому кази. Он думал: «Ты спас меня от опасности, и я тоже должен беречь тебя. Здесь, правда, пока нет никакой опасности. Маленькое племя забралось на вершину скалы. Хотя они и гяуры, как сказал этот проводник, но, видно, очень упрямые. Но нет, я не прав — эта битва может быть и тяжелой. Ведь вот же, во имя жизни пробили гору, не побоялись гяуры никаких лишений, наверняка будут бороться до конца. Порой группа таких отчаянных людей бывает опаснее целого войска. Это мне неоднократно говорили и Хюлафа-бек, и Леле-бек. Самый бездарный военачальник тот, кто считает неприятеля слабее себя, не принимает его в расчет. Если раной пренебречь — начнется заражение крови...»

Исмаил протянул правую руку едущему на расстоянии от него Рагим-беку:

— Хорошо. Только будь осторожен, Рагим-бек! Один твой ноготь ценнее для нас тысячи гяурских голов.

Рагим-бек наклонился и почтительно, с любовью поцеловал белую с нежной кожей, но крепкую и сильную руку государя.

То, что молодой человек воспринял приказ об истреблении племени с таким видимым удовольствием, пробудило легкое сожаление в сердце государя-поэта.

Перед его мысленным взором ожила потрясшая его сцена впервые увиденной смерти. В сущности, еще ребенком он был свидетелем многих смертей. Видел повешенных, убитых стрелой, кинжалом и даже ядом. Но все те убийства осуществлялись чужими руками — нанятыми слугами, предателями, а в большинстве своем — палачами. А это... впервые в жизни он сам, своей рукой, ударом меча отсек голову врагу. В первую минуту он почувствовал страшное потрясение: ужас, изумление, жалость обуревали его. Он замер в этот миг: вся поэтическая душа его всколыхнулась — своей рукой он положил конец человеческой жизни! Он убил человека — человека, значительно старше себя, гораздо больше повидавшего на свете, имевшего, возможно, семью, детей!.. «Насильно отобрать у живого существа жизнь, дарованную ему милостью божьей!»

...Но в тот же самый миг, когда в нем вспыхнули эти мысли, до него донеслись возгласы дядьки Гусейн-бека Бекдили и Байрам-бека Гараманлы: «Браво, мой государь! Отлично! Да будет всегда твой удар разящим, мой шах!» Он увидел восхищенно сияющие глаза Рагим-бека — и забыл обо всем. Надежные друзья охраняли его со всех сторон, и он, юноша, чьей силе и храбости раздавались хвалы, с безумным неистовством принялся рубить направо и налево. Первая кровь ослепила его, затуманила совсем еще детский разум, сосредоточив все мысли в одной точке, и стерла зародившиеся было в сердце юного поэта чувства изумления и жалости. И впоследствии эти испытанные в день первого убийства чувства, хотя и пробуждались время от времени в его сердце на поэтических и музыкальных меджлисам, беспокоили его, но на поле боя они не возникали уже никогда...

Через день после этого, перевернувшего всю его душу, случая между дядькой и старым воином, обучавшим его военному искусству, произошел странный разговор. Воин сказал муршиду: «Может быть, тебе лучше самому подготовиться к принятию власти? У этого ребенка, по-моему, больше тяги к книгам, чем к мечу. Боюсь, из него ничего не выйдет». — «Не бойся, выйдет! — ответил тот. — Я воспитал в нем такое жестокое сердце, что и палач поза-видует. Такого еще, быть может, и мир не видал! Он сам будет стыдиться своих поэтических склонностей. Что же до моего правления... Нет! У черни к нему большое доверие. Она верит в род Шейха Сафиеддина[13] и пойдет за ним с закрытыми глазами. А это-то нам и нужно».

Хотя Исмаил никогда не узнал об этом диалоге, но впоследствии, на полях сражений, он полностью подтвердил пророчество своего дяди...

8. КОНЕЦ ОДНОГО ПЛЕМЕНИ

(Продолжение)

Окружение затянулось дольше предполагаемого... Государь отдал основным частям войска приказ двигаться вперед, и предводительствуемые знаменитыми военачальниками,

кази направились к Шемахе. На берегу реки Гюнешли остались только люди Рагим-бека. В течение дня они несколько раз атаковали лагерь на скале — впоследствии это место называли «Гяургазан» — («Прорубленное гяурами»), но только потеряли несколько человек на узенькой тропинке, по которой не могло пройти больше одного воина. Кази вынуждены были отступить. У Рагим-бека иссякало терпение: шах ждал его с победой. Он должен был обратить в шиитов засевших на горе гяуров, или же просто уничтожить их! Смести с лица земли! Видя, что осада может принять затяжной характер, военачальник мучительно искал выход. В это время один из кази, отыскавший дорогу к верховым прорытой племенем тропы, догадался установить на ней арканную ловушку. Захваченного таким образом пленника привели к Рагим-беку.

Рагим-бек поднял глаза на молодого человека, примерно одних с ним лет — и удивленно взгляделся. Черты его лица показались ему странно знакомыми. Откуда? Ведь он никогда не бывал в этих местах и видеть этого парня нигде не мог. И все-таки он где-то его видел. Рагим-бек не знал, конечно, что пойманный — Гюнтекин, брат той самой девушки, которой он любовался накануне на берегу реки, не понимал, что именно ее черты лица угадал он в незнакомце.

— Я предлагаю тебе принять святые законы нашей веры. Прими сам и призови к этой вере своих соплеменников. Пусть сдадутся, чтобы не пролилась напрасно их кровь.

— Но мы, слава аллаху, мусульмане! И мои соплеменники, и я.

— Я призываю тебя к священному шиитству.

— А что это такое, я не понимаю, ага?

— Прочти свою молитву.

— Нет бога кроме аллаха, а Мухаммед — пророк его.

— Добавь: Али — их последователь.

— Но зачем?

— Во имя Али, который является представителем пророка на земле!

— В нашей вере, где аллах един, пророк един, Коран един, я не знаю такого.

— Тогда позови аксакалов вашего племени.

— Зачем? Они тоже не примут!..

Допрос продолжался долго, но парень ни сам не принимал шиитства, ни для соплеменников пощады не просил. Терпение Рагим-бека, наконец, лопнуло. И он придумал выход...

По его приказу воины вместе с пленником отошли на открытое место, хорошо видное из лагеря на скале. Остановились у местной святыни — могилы старика, приобщившего в свое время племя к исламу. Здесь, у неказистого пира, будет приведен в исполнение приговор, и страшное зрелище заставит содрогнуться и сдаться непокорных сельчан.

По приказу Рагим-бека самый громкоголосый из кази взобрался на плоскую крышу пира. Встал над сводчатой дверью, на которой было начертано всего одно слово «каллах» и, повернувшись к лагерю на скале, громко закричал:

— Эй, гяуры, слушайте и не говорите потом, что вы не слышали! Смотрите, на ваших глазах мы, во имя веры, казиим этого юношу за то, что он не принял представителя пророка на земле Шахи-Мардана и шиитство, не проклял езидов Ширваншахов, убийц Шейха Джунейда и Шейха Гейдара. Во имя Али, если через четверть часа после казии вы не сдадитесь, мы вас всех перерубим мечом — вот так!

Затаив дыхание, все племя смотрело вниз. Люди ничем не выдавали своего присутствия, но хорошо видели, что происходит там, у пира.

А происходило что-то страшное. Двое кази с помощью палача подняли крепко связанного по рукам Гюнтекина на пир. Пригнули его голову к щиту, который один из кази снял с руки и положил на землю. По знаку Рагим-бека палач отрубил юноше голову. Не раздалось ни стона, ни возгласа: Гюнтекин и в последнюю минуту не попросил пощады. Дымящаяся кровь с выпуклой поверхности щита растекалась по пиру...

Из лагеря на скале раздались душераздирающие вопли, плач, причитания. Гюмюшибке и Айтекин, которых и мужчины не смогли удержать, с расцарапанными, залитыми кровью лицами, босые, с непокрытыми головами бросились бежать вниз по узкой тропинке. И мать, и сестра спешили к обезглавленному телу Гюнтекина. Следом за ними, горестно рыдая, торопились потрясенные старухи. Вскоре с гор спустились и растерявшиеся мужчины. Обрадованные кази, окружив пленников, бурно выражали свою признательность небу за то, что им удалось так быстро, без единой потери, добиться своей цели, выполнить приказ шаха.

К вечеру того же дня ни в старом селе, ни в новом лагере не осталось ни одного человека. Почти все мужчины племени, не принявшие шиитства, были зарублены мечами. Остальных забрали в плен. Среди пленников были и девушки, и молодые, женщины. У всех руки были скованы цепями. Их вели стражники. После победы над Ширваншахом Фаррухом Ясаром в Шемахе будет большой невольничий рынок; сюда торопились привести побольше живого товара. Там торговцы определят им цену, а покупатели раскупят. До начала торговли на рынок, по обычаю, явится хаджиб шахский визирь и купит столько рабов, сколько назвал молодой падишах в своем клятвенном обете. А потом во имя победы, во исполнение веления пророка «освобождать рабов», хаджиб от имени молодого шаха освободит купленных им рабов. А остальные пленники поступят в публичную продажу, их развезут по всем городам мира, и особенно в Аравию, Турцию, Иран, снова перепродадут, но уже по более дорогой цене во дворцы, поместья эмиров и военачальников. Самых красивых девушек торговцы отберут для гаремов, будут готовить из них танцовщиц, певиц, музыкантов; после обучения в специальных школах цена таких девушек возрастает. Такие невольничьи рынки устраивались после каждой победы на крупных площадях, в торговых рядах больших городов. На эти рынки доставляли не только захваченных на войне пленников, но и детей, полученных в уплату долга с Северного Кавказа и из других соседних с ним стран.

Рагим-бек, как ни вглядывался, так и не мог рассмотреть в караване пленных девушку, что накануне с такой шаловливой радостью, так по-детски беспечно болтала ножками в реке Гюнешли. И немудрено: пленные девушки были в таком виде! Горе, слезы, разодранная одежда, расцарапанные в кровь лица, растрепанные волосы сделали их неузнаваемыми. Они уже знали, что уготовано им, что путь их закончится на невольничьем рынке...

И вот двинулись. Впереди — воины под предводительством Рагим-бека, сзади — охраняемые стражей пленники и скот — его местонахождение выдал, под страхом смерти, кто-то из сельчан. Караван, взобравшись по кручам Кымаладдин и Инджабел, взял направление на Шемаху. Шли по следам ушедшего днем раньше шахского войска.

А на месте села, где веками жило мирное небольшое племя, и, в горах, на месте нового лагеря, названного соседними племенами «Гала-галаг» — («Крепость-пепелище»), остались лишь груды дымящихся развалин. И по сей день сохранилась дорога к воде, сохранилась, как символ любви к жизни и свободе!

Войско прошло; над трупами кружил старый коршун.

Кази двигались по дороге в Шемаху и оставляли за собой пожарища сел, где люди отказывались признать Али последователем пророка на земле, не произносили «Алиянвелиюллах». Приближался день знаменитого сражения Исмаила с Фаррухом Ясаром в Джабанах...

9. В КВАРТАЛЕ РЕМЕСЛЕННИКОВ

В этом городе не было огороженных дворов. Дома строились тесно, стена к стене, дорога от одного дома к другому проходила по узкому тупику. Жители городских кварталов, как овечья отара при виде волка, будто стремились прижаться друг к другу: толи из страха перед врагом, то ли потому, что в этом просторном мире под голубым небесным сводом ценили, берегли землю нашу, старались они побольше оставить места для посевов. Может, думали: пусть будет у сельчан больше полей, пусть будет богатый сбор урожая, чтобы хлеба у людей было в изобилии? В городской тесноте даже кладбище находилось недалеко от жилья...

В этом городе из всех ремесел раньше всех возникли ювелирное и гончарное дело. Изделия гончаров обсушивались в двухъярусных печах: внизу в горниле, в продолговатом углублении разжигали кизяки, а в верхнем оштукатуренном отделении ставили сосуды, докрасна раскалявшиеся от высокого жара. Гончары растапливали печи кизяком — зимой, и соломой, щепками летом.

Комнаты украшали изготавляемой хозяином дома продукцией. На полках расставляли большие миски, кясы, глянцевые глазурованные сосуды, кувшины, всевозможные горшочки и кринки. Нанесенные на них черные, красные, коричневые геометрические фигуры являлись одновременно и украшением, и символами, связанными с волшебством, заклинаниями, запретами и верованиями. Коса и серп, висящие во дворе на ветвях фисташкового дерева, показывали, что у хозяина дома где-то есть и клочок земли...

Обычно гончары, навьючив готовую продукцию на осла, сами вывозили ее на рынок. Продавали приехавшим в город сельчанам маслобойки, кувшины, горшки и другую домашнюю утварь. Взамен покупали пшеницу, ячмень. Некоторые городские жители держали коров и овец, а те, кто имел посевные участки на окраине, я землю засевали. Многие имели на берегу моря дачи: небольшой домик, несколько виноградных лоз и инжирных деревьев. Летом всей семьей переселялись на эти дачи. Ухаживали за

виноградниками, наливающимися янтарным соком под зноным солнцем на золотистых песках. А какой был виноград! Разных сортов: и белый шаны, и агадаи, и красный виноград, и кишмиш, и черный шаны. Женщины заготавливали на зиму сушеный очищенный инжир, изюм, варили целебный дошаб, придающий нежный вкус халве, и множество разных летних лакомств на забаву детям.

Жилища гончаров, по городским понятиям, были просторны — того требовало их ремесло; перед домом обязательно был двор с гончарной печью. Ювелиры же ютились в небольших домишках, чаще всего состоящих из двух комнат. В одной — находилась семейная спальня, в ней же проходила вся домашняя жизнь хозяев. В другой комнате работал глава семьи — ювелир, здесь же он принимал заказчиков. Посреди комнаты стоял маленький станочек, рядом — точнейшие весы, на которых взвешивали серебро и золото, тигель, где их растапливали, и затейливые тонкие формочки, в которые вливали драгоценные металлы.

В одном из таких двухкомнатных жилищ обитала семья ювелира, о котором пойдет наш рассказ. В крохотном дворике перед домом росло высокое раскидистое фисташковое дерево, ветви которого заглядывали в соседние дворы. На старом паласе, расстеленном под фисташковым деревом, сидели две женщины и девочка лет пяти-шести. Одной из женщин было, видимо, за сорок: полная круглица, с длинными, чуть ли не до пят, косами. На ней была широкая, простроченная в середине наподобие шаровар, юбка. Она сидела на паласе, скрестив ноги, и обшивала канителью натянутую на медную колодку тюбетейку из белого бархата. Рядом с ней лежал развязанный лоскутный узелок. В нем находились канитель, шелк, клубок козьих ниток, горсть разных иголок.

Женщина эта, Хырдаханым, была женой хозяина дома, ювелира Дергяхкулу. Хырдаханым являла собой ходячую выставку произведений своего мужа. В уши ее были продеты изготовленные со вкусом, рукой настоящего мастера, изящные серьги — «гырх-дюйме» — сорок пуговок; на шее — чешуйчатое ожерелье, на пальце — кольцо с надписью, на запястьях — браслеты «золотая соломка». Покрытый эмалью пояс туже стягивал ее талию поверх кофточки из тонкой шелковой материи. Хырдаханым будто соблазняла окрестных женщин покупать изготовленные ее мужем украшения.

Собеседница Хырдаханым была одета в такую же, как у хозяйки дома, юбку и архалук. Она расчесывала шерсть на стоящей перед ней чесалке. Неторопливо доставала из мешочка кудель, насаживала на чесалку, а затем, смочив пальцы маслом из поставленной рядом миски, вновь «процеживала» уже расчесанную кудель. Так тщательно расчесываемая шерсть предназначалась, как вино, для дорогой ткани — на шаровары, чуху, а, может быть, и на богатый ковер. Женщина, захватившая свою работу во двор соседки, чтобы вволю поболтать с ней за делом, была женой гончара Велиюллы, и звали ее Балаханым. Ей было лет тридцать пять-тридцать шесть. Маленькая девочка, Сакина, приходилась ей падчерицей. Скрестив на паласе ножки, она брала один за другим початки пряжи, старательно разматывала их вокруг коленей, а потом сматывала в клубок, как показала ей мачеха.

Балаханым вышла замуж за Велиюллу недавно. Вышла, как говорится, на семерых сирот. Она еще не знала всех ближайших соседей, но с Хырдаханым успела сблизиться. И вот теперь обе женщины, сидя за работой, делились своими горестями, житьем-бытьем. Хырдаханым рассказывала о себе — отчасти потому, что ей захотелось вспомнить о прошлом, отчасти просто отвести душу, поболтать.

— Да... И вот, как война началась, стали людей в войско забирать. Кто смог — сбежал, а мой, бедняга, прямехонько в сети попался. Нам-то что за дело было до этой войны? Да... Я ведь незадолго до того замуж вышла, только-только свадьбу сыграли. Да еще и выкидыш у меня в те дни получился... Вот раз несчастный муж мой ранним утром отправился на недельный рынок. И сразу же вернулся назад. Оказывается, у ворот стоял вооруженный вербовщик, ждал, когда он выйдет. Вернулся муж и говорит: ухожу, мол, я, дочь Гюльали, жить тебе пока одной. Слава создателю, что ребенка, данного нам по неизреченной своей милости, назад забрал. Не то уходил бы я в тревоге: что бы ты делала, чем бы жила? А теперь вот одна остаешься... Ничего, твои руки одну голову как-нибудь прокормят. Вернусь — будем дальше жить, не вернусь — сама себе хозяйка. Но за дурного человека не выходи! Поищи, постараися, чтобы достойным был... Я ему в ответ: да как тебе не стыдно, я такого разговора не потерплю, пусть сломаются такие руки, которые одну голову не прокормят! Творец не оставил свое создание без хлеба. Иди спокойно, бог тебе в помощь! Придешь — твоя буду, не придешь — сырой земли. Ты за кого меня принимаешь? Мое белое тело только мой муж видел, а после него — могила увидит! И вот, как ашыг с сазом, семь лет со своим горем не расставалась. Семь краев, как говорится, обошла, семь миров увидела, душа моя каменной стала. Время от времени до меня доходили слухи, будто умер он. Но я ни одного человека не встретила, который бы сказал: «Я видел это своими глазами». Всем сватам давала я от ворот поворот, потому что не верила в его смерть. С тех пор и научилась вышивать канителью. Вышивала и продавала девушки для приданого и сумочки для гребня, и сумочки для корана, и мешочки для священного камня, для сурьмы, тюбетейки и нарядные башмачки расшивала. Вот этим-то и на хлеб зарабатывала. А веру свою я на аллаха возложила. Глаз от перекрестка семи дорог не отводила, все ждала его. А через семь лет он пришел-таки! А, дочь Гюльали, сказал он, хорошо, что ты дождалась меня, не вышла замуж, да пойдет тебе впрок материнское молоко...

Хырдаханым рассказывала — будто песню пела. В голосе ее, словах, легко скользящих друг за другом, будто бусы по нитке, слышалась печальная мелодия саза. Завороженная мелодией, Балаханым слушала этот простой рассказ о великой любви, как щемящую сказку, которая самой ей не была суждена в жизни... Время от времени она кончиком своего дешевого поношенного баскальского келагая смахивала слезы с ресниц, стараясь при этом, чтобы очесы шерсти не попали в глаза.

— Слава богу, пусть каждый живет в таком согласии, как ты с братом Дергяхкулу... А кто завидует — пусть тому в глаза палки воткнутся!

Хырдаханым счастливо улыбнулась:

— Да уж... конечно. Только вот с детьми я мужу не угодила. Поздно родился мой ребеночек. Ему бы теперь внука иметь, вон седина какая в бороде, да и внук-то должен быть такого возраста, как наш сын...

Балаханым ободрила подругу:

— Ну что делать?! Это уж как аллах определил!

— Да, конечно, только я иногда задумываюсь: а что, если бы мой первенец остался? Но потом говорю себе: аллаху виднее. Вдруг, не дай бог, ребенок бы выжил, а с отцом что-нибудь случилось?! Когда я об этом заговариваю — и муж то же самое говорит. Что сейчас у нас есть — и на этом спасибо. Судьба у нас такая...

У калитки раздался голос. Хырдаханым узнала мужа по характерному покашливанию: хоть и к себе домой шел ювелир, все же из деликатности предупреждал о себе. Может, в доме есть соседские женщины, сидят с непокрытыми головами, пусть знают, что мужчина идет... И действительно, услышав покашливание, Балаханым поспешно подтянула концы келагая, прикрыла все лицо до глаз. Сакина, по примеру мачехи, тоже сняла с колен пряжу, быстро смотала ее в клубок и встала. Балаханым сказала:

— Братья Дергяхкулу пришел, я пойду.

— Интересно, почему это он так рано вернулся? Наверное, забыл что-нибудь: возьмет и уйдет. Слушай, ты пройди в дом, а уйдет он — мы снова своими делами займемся.

Но Балаханым застеснялась:

— Нет-нет, может быть, он есть захочет? Ты уж поухаживай за ним, а если он быстро уйдет — кликнешь, я приду.

— Хорошо, хорошо.

Оставив пряжу во дворе, на паласе, Балаханым вместе с Сакиной проскользнула мимо входящего Дергяхкулу на улицу.

— К добру ли, муженек, твое раннее возвращение? Ты же говорил — поздно приду...

Бросив под фисташковое дерево полупустые мешки, взятые им утром для муки, мужчина опустился на палас. Дергяхкулу был крайне взволнован, но пытался скрыть это от тревожно глядящей на него жены:

— Проклятье злу! Хотя в это собачье время и добра не жди... Османцы уходят — иранцы приходят. Иранцы уходят — ширванцы приходят. А теперь, говорят, и за Ширваншахом гонятся...

— Да что случилось-то?!

Ювелир в жизни ничего не скрывал от своей жены. Какая беда ни случалась — он всегда делился ею с Хырдаханым, которую считал мужественной женщиной.

— Знаешь, дочь Гюльали, говорят, в стороне Ардебиля появился шах, он из рода пророка. Говорят, то ли отец, то ли дед нашего Ширваншаха — уж не знаю точно, кто из них — убил его отца и деда. И теперь он идет мстить за них. И еще говорят, будто Ширваншахи что-то нарушили в вере благословенного пророка, и он это исправляет.

— Да... недобрая весть.

— Э-э-э, если б только недобрая... Пятьдесят лет тихо-мирно жили. Плохо ли, хорошо ли, но при Ширваншахах дышалось легче. Сами хоть мясо наше ели, но все же кости не выбрасывали, как-то еще можно было жить. Забирали, правда, на стройки, крепости возводить. Но хоть войн, бойни не было! А вот теперь, если война начнется...

— Ох, если война начнется — сколько людей погибнет!

— Погибнут, говоришь, и все?! Тут похуже будет, весь народ без хлеба, без крова останется! Да разве кому-нибудь есть дело до этого! Бык — паши, палка — бей... Посылают людей убивать друг друга. Ну зачем же я должен убивать брата, у которого такой же язык, как у меня, такая же кровь, как у меня, а? Видите ли, дед этого когда-то убил деда того! Так пойди сам и убей его, и все... Людей-то зачем на гибель посыпать?! На смерть обрекать?!

— Это ты точно узнал?

— Точнее не бывает. На дворцовой площади такая суматоха, ужас! Ворота крепости заперли, никого наружу не выпускают. Потому-то я и не смог пойти за мукой. Пошел на площадь. Смотрю: все перемешалось. Гонец явился. Говорят: Ширваншах Фаррух Ясар на войне, близ Шемахи. То ли ранен, то ли убит у Джабаны. В крепости Гази-бек, его сын, остался заправлять делами. Но и он, будто бы, два дня назад какую-то весть получил и тоже отправился отцу на подмогу.

— Вай, аллах, сохрани нас и помилуй! Но тогда крепость...

— Об этом и речь! Крепость осталась сама по себе. Говорят, правда, жена Гази-бека Султаным-ханым поклялась, что сама будет защищать крепость и никого до возвращения мужа внутрь не пропустит.

Хырдаханым задумалась, не обратила внимания на Султаным-ханым.

— Кто будет защищать, говоришь? Женщина?!

— Ну да! Внучка нашего шиха Кеблали, Бибиханым — помнишь ее? На ней же принц Гази-бек женился, ты слыхала, наверное?

— Слыхала, — все так же горестно проговорила женщина.

— Ну вот, она самая. Теперь, говорят, глашатай будет вещать. Вербовка войска начнется.

Хырдаханым вдруг в ужасе всплеснула руками:

— Господи помилуй! Киши, война начинается, а ребенок-то мой из моллаханы не пришел еще!

Это неуместное беспокойство жены за ребенка вызвало у мужа улыбку:

— Слушай, так враг же пока не стоит у ворот! Ничего не случится за то время, пока Бибикулу придет из моллаханы. Что ты себя изводишь понапрасну?!

— Перестань, ради бога, неужели в такое время ты будешь сидеть и спокойно ждать, когда наш ребенок сам придет?

— А что же мне делать, глупенькая моя?

— Встань, пойди и приведи мне ребенка из моллаханы. Если Бибикулу сейчас же не явится мне на глаза — у меня сердце разорвется...

* * *

Дергяхкулу говорил правду. Действительно, Султаным-ханым осталась во дворце одна. Появившийся здесь дня два назад гонец принес весть о нападении на Ширван последыша ардебильских шейхов Исмаила, сообщил, что кызылбашское войско, явившееся «чтобы отомстить езиду[14] Фарруху Ясару за кровь Шейха Гейдара, движется сплошным потоком». Услышав об этом, Гази-бек тайком покинул крепость, уехал, чтобы набрать войско в ближайших селах и поспешить на помощь отцу. Расставаясь, он взял Султаным-ханым за руки и сказал:

— Султаным-ханым, любимая моя, пусть никто пока не знает о моем отъезде из дворца. Никого не пускай в мою комнату, всем говори: болен! Делай что хочешь, но никто не должен знать, что город остался без правителя.

Потом, сняв с пальца перстень с печаткой — символ власти, он надел его на палец Султаным-ханым и добавил:

— Если случится что-либо, что-то очень важное, что не терпит отлагательства до моего возвращения — решай сама. Через день-два я обязательно вернусь, а если не смогу приехать — пришлю гонца.

Чтобы спрятать от мужа наполнившиеся слезами глаза, Султаным-ханым приникла к его груди. Потом, пересилив себя, тихо спросила:

— А если вдруг, прослушав о твоей болезни, сама шахиня придет проведать тебя?

— Если сможешь — успокой, отошли ее. А нет — заведи в мою комнату и осторожно скажи ей правду. Но предупреди, что я потребовал от тебя полной сохранности тайны. Пусть и она никому ни словом не обмолвится до моего возвращения. А я через день-другой приеду.

«Что это, боже? Мне почему-то кажется, что это наше последнее свидание. За этим прощанием не будет встречи. Я не могу с тобой расстаться, я хочу уйти с тобой вместе, повиснуть на твоих руках... Стать бы мне колчаном со стрелами, чтобы ты унес меня на своем плече! Не могу выпустить тебя за этот порог... Никогда еще со мной такого не было. Никогда не плакала я вслед тебе. А теперь не могу сдержать слез... Что со мной? Что случилось с нами обоими, любимый мой, судьба моя?»

Когда муж отправлялся на охоту или на военные учения, Султаным-ханым не доверялась ни дядькам, ни слугам. Сама наполняла колчан Гази-бека стрелами, сама натачивала его меч, сама укладывала еду в переметную суму, притороченную к луке седла. Султаным-ханым была первой женщиной во дворце, которая, будучи женой принца, отказывалась от прислуги. Она получала удовольствие от того, что сама снаряжала мужа на охоту, наравне с Гази-беком участвовала в военных учениях. Летом в Гюлистане, на горе Фит, в Лагиче она ездила вместе с мужем на охоту... Это сблизило их настолько, что сами молодые считали, что у них в груди бьется одно сердце, и что у них одна душа.

Хотя Гази-бек и спешил, он не мог силой оторвать от себя обвившие его шею руки — ждал, когда жена сама разомкнет объятия.

Он нежно погладил выбившиеся из-под золотистого бенаресского платка локоны супруги, провел рукой по лицу. Сердце Гази-бека сжалось: он ощутил слезы на глазах молодой женщины,

— И ты?! Султаным, уж не превратишься ли ты в плакальщицу? К чему эти слезы? Я считаю тебя самой мужественной среди всех храбрецов моей родины. Ты всегда должна быть примером, голубка моя, любовь моя!

Влажные ресницы Султаным-ханым дрогнули, в глазах сверкнули звезды:

— Эти слова — «мужественный» и «голубка» — несовместимы!

— В тебе все совместимо, все на свете идет тебе, моя Султаным!

— Ну, иди. Хоть язык мой и не поворачивается сказать «иди» — иди! Тебя зовет отец, зовет родина. Тебя призывает сыновний долг. И за меня, и за дворец, и за порученное тобой — не тревожься.

— Если бы я мог!.. Не хочу еще больше расстраивать тебя, но... в другие мои путешествия я уезжал бодро. Хотя сердце мое, ты — и оставалась здесь, я не беспокоился. А теперь волнуюсь и тревожусь...

— И я...

— Будь здорова, Султаным.

— Возвращайся невредимым, любимый.

— Да хранит тебя аллах!

Они никак не могли расстаться... Гази-бек приподнял окружный подбородок Султаным-ханым, все еще сохраняющий девичью свежесть, снова и снова целовал шею молодой женщины. Жадно вдохнул в легкие аромат гвоздики и розовой воды, поднимающийся из ложбинки между грудей. В душе его загорелось страстное желание слиться с Султаным, которую боготворил, чары которой действовали на него неотразимо. С вырвавшейся из самого сердца страстью Гази-бек сжал жену в объятиях и, негодуя на обстоятельства, побуждающие любящих к расставанию, — покинул Султаным-ханым.

— Будь здорова, Султаным!

— Возвращайся, любимый!

Молодая женщина проворно схватила с низенького столика серебряную пиалу, плеснула вслед мужу воды.

— Счастливой тебе дороги, легкого тебе пути, но, боже, как тяжек твой уход, о-о-о, — простонала она. Состояние безысходности длилось долго. Около часа Султаным-ханым пролежала ничком на постели, которая все еще сохраняла тепло любимого. Тяжелый, не до конца понятный ей самой страх тисками схватил сердце. Поднявшись, наконец, с

постели, она подошла к окну, выложеному мелкими цветными стеклышками. Отсюда были хорошо видны зубчатые стены крепости с пробитыми в них бойницами. От крепостной стены тянулась прочь пыльная дорога, уводившая в неведомую даль, навстречу всевозможным страхам и опасностям того, кто называл ее Султаным. Она долго стояла, устремив тоскующий взгляд на дорогу, и только теперь вдруг почувствовала, что осталась совершенно одна в этом чужом ей дворце. Странно, но чувство одиночества сейчас совсем не тяготило ее; оно как будто влило в нее новые силы и стойкость.

Ночью Султаным-ханым спала одна. Никто из придворных дам и служанок не пришел к ней, да и не мог прийти, потому что никто, кажется, так и не узнал об отсутствии уехавшего на заре Гази-бека. Никто — кроме слуги и наперсника Салеха.

10. ВОЙСКО ИДЕТ

Военачальник остановился. Армия двигалась четким строевым шагом. Впереди несли знамена, зеленые флаги с изображением человеческой руки на древке и прибитым под полумесяцем конским хвостом. Позади ехали запряженные сорока быками арбы с пушками, катапультами. Хотя воины прошли уже большой путь, но еще не устали. По приказу военачальника они встали сегодня с рассветом.

... Около полуночи гонец доставил приказ о наступлении. Не слезая с коня, вручил свиток прямо на пороге палатки и ускакал. Всю ночь грезил, томясь жаждой победы, юный вожак и, не выдержав, велел играть побудку задолго до появления первой утренней звезды. Он спешил раньше всех добраться до места боя, торопился сам и торопил войско. Теперь он внимательно оглядывал движущиеся навстречу ряды: воины держались бодро, молодцами, лица были еще свежи, но опытный глаз хотя и молодого, но уже закаленного в боях военачальника уловил признаки надвигающегося утомления. «Дорога предстоит долгая. Если сейчас выбьются из сил — не проявят в бою должной энергии. Надо что-то предпринять», — думал он.

Красный, точно пылающие угли, шар солнца едва поднялся над горизонтом. Лучи светила еще не слепили глаз и, приветствуя новый день, море расстелило навстречу ему сверкающую золотом дорожку. Вокруг заметно посветлело и, взглядавшись в запыленные лица невыспавшихся людей, военачальник вновь подумал о том, как тяжело будет им прямо из похода ринуться в бой. А бой предстоял трудный, кровопролитный: Бакинская крепость, зимняя резиденция Ширваншахов укреплена хорошо, взять ее будет нелегко... Наблюдая за войском, он вполуха слушал привычный ритм шагов, слившийся с лязгом копий, щитов, йеменских мечей, задумчиво глядел на мерно колышущиеся ряды — искал выход. А море сверкало, как золото, растопленное в медной пиале; оно так и манило к себе... Внезапно военачальник поднял руку, приказывая остановиться. Он, видимо, что-то придумал, нахмуренное лицо его просветлело:

— Остановите войско! Всех сотников и барабанщиков — ко мне!

Раздались голоса:

— Стойте! Остановитесь!

Барабанщик подошел к нему, встал поодаль, ожидая приказаний.

— Пусти в ход свой барабан! — повелел военачальник. — Как только я дам знак, начни бить в него и не останавливайся, пока не отсчитаешь тысячи пятьсот ударов! — Потом обернулся к сотникам. — Войску разрешается купаться до тех пор, пока звучит барабан. Это снимет с них усталость.

Как только прозвучал приказ, кызылбashi с радостными криками стали скидывать с себя тяжелые доспехи, оружие, одежду. И пяти минут не прошло, как все уже плескались в теплой воде. С берега, где кроме военачальника и барабанщика не осталось ни единого человека, доносился монотонный стук колотушки о барабан: один... два... три...

Барабанщик старательно отсчитывал удары, а военачальник размышлял под этот размеренный стук: «Бакинская крепость, говорят, отлично укреплена. Кто знает, что принесет завтрашняя битва — победу ли, поражение?! Кто знает, кого из тех, кто так спокоен и весел сейчас, оставит она в живых к завтрашней вечерней молитве?! Возможно, для кого-то это купание станет последним омовением перед смертью... Пусть купаются. Пусть очистятся от пыли дорог, снимут усталость. Ведь и дня не отдыхали после взятия Мардакянской крепости, Ширваншахской дачи, сразу повел их дальше. Вот скоро прибудет Хюлафа-бек, да как начнет меня ругать... Да ладно, пусть ругает! Завтра, возможно, и я у него на глазах погибну за веру. Кто знает? И тогда он поверит в мою преданность, раскаться в том, что ругал меня сегодня, мой славный военачальник!»

Так размышлял он под равномерный счет ударов... Но вот барабан замолк. Воцарилась тишина, нарушающая лишь голосами воинов, плещущихся в воде и забывших обо всем на свете. Но вот раздался призыв: «По ко-о-оням!» Освеженные, смывшие с себя пыль и грязь, кызылбашские кази торопливо одевались, вскакивали на коней. Не прошло и получаса, как выстроились четкие ряды кызылбашей, готовых следовать за своим молодым военачальником в бой за Бакинскую крепость.

— Вперед, за мно-о-ой!

Он выхватил из ножен дамасский меч, взмахнул им в воздухе. Сверкнувший под солнцем, как серебряная молния, меч увидели все кази. Предводитель призывал их не пожалеть жизни «во имя святой веры». И кызылбashi поскакали за ним.

...Они двигались вдоль берега Каспия. Пейзаж непрерывно менялся. Кривой, как шея верблюда, прибой кромсал утром голубые, а теперь ало-зеленые волны, лоскутами отбрасывал их на отмели. Между берегом и морем возникала золотистая полоска, на ней росли маленькие песчаные холмики. Вспоров голубую одежду волн, в этих местах из воды выступали скалы. Хлопотливо латая прорехи, волны набегали на черные скалы, теряли упругость и цвет, превращались в белую, как крылья чаек, пену. Как будто скалы раз за разом намыливались и снова омывали пену, стараясь выбелить ею свою одежду из водорослей. Здесь даже шум моря был другим: пугающим, хриплым, суровым; и следа не оставалось в этих местах от давешней ласкающей глаз голубизны, ласкающей слух нежности...

В этом ущелье войско не могло уже идти широкими рядами, принять сражение: по узкой дорожке меж скал продвигаться можно было по трое, по четверо — не более.

Но молодого военачальника это не заботило: он знал, что до города еще далеко. Внезапно взгляду его предстало обширное золотое поле, он даже вздрогнул от неожиданности:

— О боже, неужели в этих песках они выращивают пшеницу?! Да нет же, наверное это мираж!

Но когда он увидел, как жнецы, похожие в своих архалуках на черные пятна, убегают с поля, очевидно, заметив надвигающееся войско, он понял, что это — не видение...

Там на поле чей-то молодой голос, не ведающий о грозящей беде, беспечно и громко пел:

В лугах вырастет ячмень,

Выйдут щипать его кони.

Лицо любимой — как ясный день,

Младенец у нее на ладонях.

Приди, мой соловей, приди,

Смеясь, мой соловей, приди!

Виноград созреет в садах...

Как твой голос ясен и звонок!

Взгляд мой тонет в твоих глазах,

Любимая, нежный мой ягненок!

Приди, мой соловей, приди,

Смеясь, мой соловей, приди!

Услышав эту незатейливую песенку, один из кызылбашских кази сказал другому:

— Клянусь, хоть он и враг, но как прекрасно поет! И притом в точности как у нас...

А как же иначе он должен петь? У них и язык тот же, что у нас, и кровь та же. Только вот упрямятся они, не говорят «Али их последователь».

— Как? Отрицают Али?

— Ну да... А из-за чего же эта война? Тут вопрос веры... Первый подумал про себя: «А мне-то что до этого? Я-то при чем?! Ведь, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Сколько сделаешь на этом свете богоугодных дел, со столькими и предстанешь перед аллахом. На том свете они сами ответят за себя, за свои действия. Так зачем же мне убивать

их?!». Но вслух он, конечно ни одного из этих слов не произнес, побоялся. «Будь проклят дьявол!» — сказал и с тем прогнал из головы опасные мысли.

На коле меж тем поднялся переполох. Жнецы громко окликали друг друга, предупреждая о приближающемся войске, и, в спешке хватая все, что попадется под руку, убегали. Поющий жнец тоже, видимо, увидел кызылбашей, на полуслове оборвал песню...

Войско надвигалось на золотое поле, и молодой военачальник не мог изменить заданного направления, не мог свернуть с этого пути. И источник жизни — поле, взращенное месяцами труда, поле, на котором только что жнецы, подсекая колосья, проворно связывали их в снопы, а из снопов громоздили стога, — это поле должно было погибнуть. Выхода другого не было! Военачальник, хоть и молод был, немало уже перетоптал таких полей. И в сердце его даже не шевельнулось сожаление. Он уже привык. Идущее за ним войско повторяло, как молитву, — «Алиянвели-юлаллах» — аллах един! — двустишие из газели сына Шейха Гейдара:

Мы с сотворения мира — навечно! — этот путь обрели.

Мы из тех, кого движет верность и любовь к святому Али.

Голоса возносились в небо. Войско, въехавшее на поле со словами «Во имя любви к Али!», смотрело не под ноги, а ввысь. Разваливались стога, развязывались снопы, растаптывались копытами поля. Некоторые кази на ходу наклонялись с коней и, выхватив из снопа несколько колосьев, разминали их в руке, вышелушивали зерна и, понюхав, бросали в рот.

Войско прошло. Колосящееся недавно поле превратилось в барханы черного песка... Кызылбашские кази приближались к Бакинской крепости.

...Когда подъехал Хюлафа-бек, молодой военачальник уже выбрал позицию и, в ожидании приказа эмира, разрешил своим людям отдых. Вокруг крепости, кроме войска, не осталось ни одного живого существа. Местные жители бежали под защиту высоких стен. Они наглухо закрыли ворота и настороженно следили сквозь бойницы за перемещением противника.

Высокая, величественная, хорошо укрепленная крепость смотрелась неприступной твердыней. У нее были толстые стены, по окружности расположились зубчатые башни с бойницами. На двустворчатых воротах высечены парами головы львов и быков. Увидев изображения животных, Хюлафа-бек содрогнулся от захлестнувшей сердце ненависти: «Они так и не признали единственным аллахом. Эти кяфиры, даже став мусульманами, все еще не забыли идолопоклонничества», — подумал он.

Хюлафа-бек одобрил выбранную молодым военачальником позицию, отдал необходимые распоряжения к утру. Приказав войску отдохнуть, сам сел на коня и вместе с Байрам-беком Гараманлы отправился обозревать окрестности: надо было выбрать наиболее удобные участки для утренних атак.

Их сопровождал и проводник. Увидев величественное строение, обращенное к морю, беки в изумлении остановились. Любопытство заставило их подъехать ближе, и Хюлафа-бек бросил проводнику:

— Что это за сооружение, вершина которого купается в облаках, а подножие — в море?!

— Это знаменитая в здешних местах «Девичья башня», да буду я твоей жертвой, господин! Говорят, девушка, что бросилась с нее, была целомудрена и неприступна, в ее честь и назвали так башню.

Полные губы Хюлафа-бека раздвинулись в насмешливой улыбке:

— После утреннего намаза мы покажем этим неверным сколь неприступна их твердыня. И ты тоже увидишь.

Когда Хюлафа-бек и Байрам-бек вернулись в расположение кызылбашских кази, здесь уже был раскинут лагерь. Для военачальника соорудили белый шатер, для остальных беков — подобающие их высоким званиям палатки. Кази, вестники, барабанщики, привязав лошадей, надели им на шеи торбы с овсом. Над разведенными в небольших ямах кострами висели большие котлы, и повара разгружали только что прибывшие арбы с продовольствием. У костров были выделены особые места для ашыгов, которые в походах и на отдыхе, а, главное, в бою, шли впереди всех и воодушевляли воинов песнями, при победах сочиняли в честь героев новые, призывали к борьбе ревнителей веры.

В лагере спешно приводили в порядок катапульты: утром ими начнут разрушать толстые стены крепости; готовили лестницы, по которым смельчаки полезут через проломы. Хюлафа-бек и Байрам-бек, убедившись, что молодой военачальник отдал уже все нужные распоряжения, вошли в свои палатки. До вечернего намаза оставалось совсем немного времени. И вот азанчи, взобравшись на высокий камень, возвестил о начале моления. Впервые на бакинской земле было упомянуто имя имама Али. Кази, вынув молитвенные коврики, подготовился к намазу...

11. БИБИХАНЫМ-СУЛТАНЫМ

(Продолжение)

Месяц назад в Бакинскую крепость явился гонец — посланец Шаха Исмаила, потребовавший дани, Фаррух Ясар, находившийся еще в то время в городе, дань платить отказался и гонца выгнал. Он не верил в силу и военную мощь молодого шаха, иронически относился к слухам о победах кызылбашей.

Этим, по сути, и объяснялось почти беспрепятственное продвижение Исмаила к Ширвану и Баку. А теперь, стремясь наверстать упущенное, Фаррух Ясар и Гази-бек один за другим покинули Ширваншахство, отправились собирать войско для отпора врагу.

Оставшись одна, Султаным-ханым принялась деятельно готовиться к обороне города. Во дворец ежедневно приходили разноречивые вести: то о решительной победе Ширваншаха,

то о сокрушительном его поражении в битве у села Джабаны и трагической гибели... А тут выяснилось, что ночью на крышах Раманинской и Мардакянской крепостей были видны сигнальные костры — значит, враг совсем близко... Это последнее сообщение достигло и слуха шахини. Ранним утром она потребовала к себе Гази-бека, И, услышав от посланного, что «принц болен, никого не принимает», забеспокоилась. Шахиня пришла на женскую половину покоев принца, совсем позабыв, что поклялась не переступать порога обиталища «деревенщины». В дверях ее встретила единственная служанка Султаным-ханым, выполнившая мелкие поручения, и побежала к своей госпоже сообщить о желании шахини со всей свитой пройти в покой сына.

Султаным-ханым поспешила навстречу свекрови. Поцеловала ей руку, приложилась к груди и, сославшись на нежелательность посещения больного многими людьми, повела шахиню в спальню принца. Султаным-ханым понимала, что дальше не сможет скрывать от шахини правду. Потому, уединившись, коротко рассказала свекрови о причинах поспешного и тайного отъезда принца и попросила у нее совета: как теперь быть?

В это время доложили о прибытии гонца. У Султаным-ханым, с минуты на минуту ожидавшей вестей от мужа, затрепетало сердце. Забыв о дворцовом этикете, она раньше шахини приказала:

— Пусть войдет!

Но встревоженные слуги объявили: гонец не от принца, а от нового шаха, и желает непременно увидеться с Гази-беком. Султаным-ханым и шахиня одновременно встали, в испуге глядя друг на друга. Наконец, Султаным-ханым сказала:

— Проведите его в приемный зал Гази-бека!

Молодая женщина прошла в свою спальню, облачилась в наряд всадника, который обычно надевала, сопровождая мужа на охоту. Решительно прошла в приемную принца, куда велела привести гонца.

Посланный оказался человеком лет тридцати — тридцати пяти, худощавым, среднего роста. На голове его был красный двенадцатигольный колпак — отличительный признак кызылбашей, и в нем он показался Султаным-ханым похожим не на воина, а на шута Аби, развлекавшего своими затеями ее свекра Фарруха Ясара и придворную знать. За кушаком у гонца был заткнут кривой кинжал, на поясе висел дамасский меч. Одет он был в походную одежду серого цвета.

Рядом с гонцом стоял и бакинский дарга — бургомистр Абульфаттах-бек. Несколько в стороне от них, справа, теснились аристократы, городская знать, два-три молодых военачальника — друзей Гази-бека. Они неоднократно видели Султаным-ханым в этом самом наряде, когда она сопровождала мужа на военные учения или охоту, наравне с ним принимала участие в скачках. Но то, что она появилась в мужской одежде сейчас, в приемной принца и вместо него самого — вызвало тревогу и изумление. Однако никто и виду не показал: гонец врага стоял перед Султаным-ханым.

Молодая женщина твердым шагом прошла по комнате, села на разукрашенный трон мужа. Рукой сделала знак гонцу: говори. Придворные, увидев на ее пальце перстень Ширваншаха Фарруха Ясара, вновь низко склонили головы.

Гонец почувствовал среди придворных какое-то смятение, но не знал, чему его приписать. Он никогда не видел молодого принца и считал сидящего сейчас на троне юношу действительно Га-зи-беком. Гонец был из самых верных слуг и ярых приверженцев молодого шаха, продвигавшегося победным шагом через чужую страну, успешно распространявшего шиитство в покоренных землях. Он гордо выступил вперед, надменно выпятил грудь и начал говорить:

— Ваше высочество! Опора нашей веры, святыня мира Шах Исмаил направил меня к вам с повелением сдаться.

Гонец говорил высокомерным тоном, держался вызывающе. Причиной тому был стоявший рядом дарга Абульфаттах, поведавший посланцу Исмаила, что шах давно покинул свой дворец, крепостью остался править один только Гази-бек, «безумноликий принц», ничтожество. Дарга уверял, что все готовы принять новую веру, что большая часть знати с радостью перейдет на сторону нового шаха.

Султаным-ханым до глубины души возмущили слова и тон гонца. Она, как ранее ее муж и свекор, ничего не слышала о победах этого так неожиданно объявившегося шейха-шаха. Вот почему слова «святыня мира» вызвали на ее губах насмешливую улыбку, она спросила с иронией:

— Скажите, куда вы обращаете лица при совершении намаза?

Гонец опешил от такого вопроса. Не заметив в словах Султаным-ханым подвоха, он простодушно, но чуть запинаясь, ответил:

— Конечно, в сторону благословенной Мекки, ваше высочество.

Окружающие трон аристократы тоже смотрели на молодую женщину в изумлении: смысл вопроса им не был ясен. И тогда Султаным-ханым язвительно проговорила:

— А зачем же вы при совершении намаза обращаете лица в сторону благословенной Мекки? У вас ведь есть своя «святыня мира», ей и поклоняйтесь!

Придворные невольно рассмеялись. Это был прекрасный ответ, удар мечом, вызвавший растерянность даже у воина-гонца, не столь уж глубоко разбирающегося в вопросах религии. Слова Султаным-ханым показались ему богохульством, да и голос у принца был какой-то странный... Гонец покосился на даргу Абуль-фаттаха. Что это, уж не выставили ли его на посмешище? А так как гонец был человеком вспыльчивым, то, забыв, где он и зачем здесь находится, разбушевался:

— К чему эти насмешки, ваше высочество? Я пришел к вам с требованием сдаться от имени самого могущественного государя, чья власть распространилась уже от Ардебиля до Эрзинджана, от Ширванского шахства до Шама! Иначе — берегитесь! И двух дней не пройдет, как ваша крепость будет разрушена до основания, а все вы станете пленниками святыни мира!

Надменность речи, не подобающая посланнику, и злоба, клокочущая в каждом слове гонца, разгневали Султаным-ханым. Не ускользнул от ее внимания и взгляд, брошенный кызылбашем на даргу Абульфаттаха. Султаным-ханым внимательно оглядела лица присутствующих: кроме дарги Абульфаттаха все как будто возмущены. Кто жует свой ус,

кто в гневе кусает ногти. Наиболее вспыльчивые молодые аристократы и военачальники схватились за кинжалы. Довольно было одного ее знака, чтобы...

— Как смеешь ты бросать вызов семисотлетней династии Ширваншахов, говорить в этом дворце о сдаче?! — Султаным-ханым сдвинула брови и закусила губу, стараясь сдержаться.

— Эта династия уничтожена, принц. Да будете вы живы! В прошлом месяце наш молодой шах встретился близ села Джабаны с вашим почтенным батюшкой, пытавшимся укрыться в Гюлистане. Всего семь тысяч кази нашего шаха наголову разбили двадцать тысяч пеших и шесть тысяч конных воинов вашего отца. А сам он при попытке сбежать в крепость Бугурд погиб от руки простого кызылбашского кази. Сведения точные: ширванцы опознали коня и оружие Фарруха Ясара...

Дойдя в своем рассказе до этого места, гонец запнулся, умолк. Ведь он своими глазами видел, каким образом был убит отец этого нежнолицего принца. У гонца язык не повернулся сказать, что кызылбashi, обнаружив труп Фарруха Ясара, по приказу своего верховного муршида приложили отрезанную голову к телу, завернули в рогожу и сожгли под крики: «Езид! Ези-и-ид! Езид, убийца Султана Гейдара!»

Гонец все же побоялся рассказать об этом среди врагов и гордо заявил: «Мы отомстили за муршида!». Но вместе с тем держался он вызывающе. Ведь по ту сторону крепости шли приготовления к бою. За его спиной стояли такие храбрецы, как Хюлафа-бек и Байрам-бек Гараманлы. И потом — личность парламентера неприкосновенна. Чего ему бояться? Пусть у этого принца с таким нежным, девичьим лицом, сердце лопнет еще лучше! Крепость быстрее сдастся. А он, гонец, принесший весть о сдаче, получит награду. Может быть, станет стремянным при белом коне молодого шаха и назавтра удостоится чести «победой ввести его в Бакинскую крепость»...

— А народ, а люди? Хотят они сдаться или не хотят — это не имеет значения? — гневно спросила Султаным-ханым, чье сердце обливалось слезами, но глаза метали молнии.

Наглость гонца дошла до такой степени, что он развязно возразил тому, перед чьим троном стоял:

— Люди... Что такое люди?! Это стадо баранов, идущее за пастухом!

Он говорил, а Султаным-ханым думала: «Видно, тебе надоела жизнь, если ты позволяешь себе такие речи. Видно, смерть не может дождаться тебя и от нетерпения двигает твоим языком. Мой дед говоривал: когда козе пора умирать, она трется рогами о дубинку пастуха...»

В одно мгновение два молодых военачальника, из друзей Гази-бека, схватились за кинжалы. В воздухе сверкнули лезвия из закаленной стали. Но Султаным-ханым с неожиданной для самой себя властностью подняла руку:

— Стойте! Уведите его и повесьте на площади! Пусть люди, которых он считает баранами, увидят его. Прикажите глашатаям: пусть оповестят народ о его вине! Так будет с каждым, кто по-сягнет на нашу свободу!

Ошеломленному гонцу, не верящему, что его, посланца могущественного шаха, могут вот так просто вздернуть на дворцовой площади, проворно скрутили руки за спиной. Абульфаттах-бек поспешил шагнул вперед, сложив на груди руки:

— Простите, но ведь личность парламентера неприкосновенна, он находится под защитой аллаха! Не срамите династию Ширваншахов слухом, что они убивают посланцев!

Он тоже разговаривал скорее тоном назидания, чем просьбы: ведь дарга прекрасно видел, что сидящий на троне — не Газибек. Абульфаттах-бек знал Султаным-ханым, из дочери «холопа» превратившуюся в супругу принца. Кроме того, дарга был заранее осведомлен о том, что по ту сторону крепости уже стоит наготове Хюлафа-бек.

Но когда Султаным-ханум, не удостоив его взглядом, снова подняла руку со словами: «Уведите!» — Абульфаттах-бек заметил у нее на пальце перстень с печатью Фарруха Ясара и тотчас понял, что приговор будет приведен в исполнение. Растрелянный, он стал искать какие-то новые доводы в надежде уговорить Султаным-ханым...

Тем временем вмиг потерявшего всю свою доблесть гонца поволокли прочь из дворца. Он вдруг с ужасом понял, какой совершил промах. «Я считал его ребенком, которого легко напугать. А это, оказывается, был тигр в овечьей шкуре! Боже, ведь я среди врагов, и пока Хюлафа-бек придет мне на помощь, я уже погибну», — мысли эти разом мелькнули в голове гонца. Он рванулся из рук тянувших его к дверям мужчин, вырвался и, упав ничком у ног «принца», завопил:

— Прости, прости, принц! Ваше высочество, я неправ, я сделал глупость...

Султаным-ханым презрительно сдвинула брови:

— Так ты, оказывается, еще и трус? Не ползай... из-за одной ложки собственной крови. Умей умереть так же мужественно, как говорил...

Она еще раз подняла руку с перстнем на пальце:

— Уведите!

— Прости... пощади...

Гонца уволокли. На дворцовой площади спешно соорудили виселицу. Здесь уже собирались сотни напуганных тревожными вестями горожан. По обычаям, глашатаи громко разъяснили толпе вину посланника шаха — и повесили.

А в приемном зале Гази-бека накал страстей достиг своего апогея. Абульфаттах-бек говорил, убеждал и даже требовал. Уже больше месяца он был завербован людьми Хюлафа-бека, выполнял их задания, организовал ряд диверсий, подготовляя крепость к сдаче. Хоть и он не знал, где находится Гази-бек, однако сегодня имел случай убедиться, что принц либо тяжело болен и лежит во дворце, либо уже умер и это до определенного момента скрывают от народа. Дарга еще больше осмелел:

— Госпожа, вы совершили недобroе дело, как бы вам не по-жалеть об этом!

— Почему? — с любопытством спросила Султаным-ханым. — Что, надо было пощадить посланника, уничтожающего Ширваншахов, считающего людей баранами? А, может, оказать почести, усадить во главу стола?!

— Но ведь это Шах Исмаил! Бойтесь его гнева! Ширваншах Фаррух Ясар, ваш уважаемый свекор, наш повелитель — погиб в Джабанах. На его месте должен был быть принц Гази-бек. Его тоже здесь нет. С какими силами мы выступим против святыни мира?

— Для тебя он тоже стал святыней мира, бек?

Вопрос был задан столь гневно, что Абульфаттах испугался. Его лоснящееся лицо покрылось потом, черная, как агат, борода затряслась. Он провел рукой по бороде — окрашенные хной пальцы тоже заметно дрожали. Но полученные дары, данное слово, заманчивые обещания заставили старика еще поиграть со смертью:

— Но, мать моя, сестра моя, война — это мужское дело! Ты женщина, откуда тебе знать, является он святыней мира или нет?! Ты лучше бойся его гнева! Сдай город! Или же сообщи нам местонахождение принца.

Султаным-ханым в негодовании подняла руку с перстнем:

— Я имею право говорить от имени Ширваншаха, и тебе это известно. Но хотела бы я знать, что тебя заставляет выступать в его защиту? Говорят, в древности некий потерпевший поражение падишах очень уж смело разговаривал с победителем. Тот посоветовался со своими визирами: отчего бы это? И один мудрый старец предложил приглядеться, где, на каком месте стоит побежденный, когда ведет свои смелые речи, и раскопать это место. Так и сделали. Раскопали там землю во время очередного разговора и нашли несколько кувшинов с золотом и драгоценностями. Смелость побежденному шаху придавала сокровищница, на которой он стоял. Так вот и я убеждена, что тебя заставляют так говорить полученные от врагов подарки. Ты встал на путь измены, Абульфаттах-бек!

Бек был потрясен неожиданной проницательностью Султаным-ханым. «Откуда она знает? Может, у нее тоже есть свои люди в резиденции падишаха?» — подумал он. Вспомнил о судьбе только что повешенного гонца, и у него от ужаса кровь в жилах застыла. Дарга понял, что запираться больше не имеет смысла. Он униженно распростерся перед троном, у ног Султаным-ханым:

— Пощади, принцесса, меня обманули! Во имя духа твоего почтенного свекра прости меня... Поручи самое трудное дело, что бы я мог выполнить его ценой своей жизни!

Султаным-ханым воскликнула:

— Я просто заподозрила тебя, бек! А после того, как ты сам признался, что стал изменником, что мечтаешь о поражении родного края, тебе может быть только одно наказание — смерть! Уведите!

Растерявшиеся от столь неожиданного признания и сурового приговора придворные выволокли Абульфаттах-бека из зала и передали палачу. Султаным-ханым велела:

— Пусть глашатаи поведают народу об измене городского головы. А теперь, давайте думать, как нам лучше организовать оборону крепости, как защитить наш город...

Военачальники и знать прошли в совещательную комнату. Исходящая от молодой женщины огромная духовная сила подчинила их, против воли, Бибиханым-Султаным. Теперь Султаным-ханым была военачальником, главой штаба, и собравшиеся воспринимали каждое ее повеление как приказ Ширваншаха. Предки наши недаром ведь говорили: «Храбрец узнается, когда призовет Родина».

* * *

...Ровно два дня под предводительством Хюлафа-бека и Байрама-бека велась осада Бакинской крепости. Однако яростные атаки не давали результата. Бакинцы и не думали сдаваться, стойко, упорно защищали город. Вечером второго дня осады незадолго до вечернего намаза, к месту сражения прибыл с войском Шах Исмаил в сопровождении Леле Гусейн-бека. Узнав, что крепость еще не взята, Исмаил взял руководство осадой в свои руки. Сначала он вместе с Хюлафа-беком и свитой объехал крепость. Чтобы не быть мишенью для защитников крепости, они держали коней на расстоянии, недосягаемом для летящих из бойниц стрел.

Потом молодой шах подъехал к только что поставленному зеленому шатру с золотым куполом, украшенным золотом и серебряными кистями. Спешился, вошел внутрь и, откинув вуаль, велел вызвать к себе самых близких мюридов и военачальников. Сел на трон, поставленный против входа в шатер, и стал с нетерпением ждать. Вместе с мюридами в шатер вошли военачальники из племен устаджлу, шамлу, афшар, зульгадар, гаджар, румлу

— Пожалуйста, садитесь, — говорил молодой шах, указывая места входящим.

Опустившись на колени на походные тюфячки, разложенные вокруг трона, облокотившись на боевые щиты, они готовились внимать падишаху.

— Осада может затянуться, и тогда покорение Бакинской крепости займет много времени. Кроме того, нам не нужны лишние жертвы. Я предлагаю другое: провести подкоп под какие-нибудь ворота и взорвать башню.

Леле Гусейн-бек восхитился быстротой, с которой молодой шах оценил обстановку и нашел наилучший выход. «Если тебе повезет, с таким умом ты далеко пойдешь», — подумал он и проговорил:

— Святыня мира, если вы так решили — давайте сделаем подкоп там, где мы сейчас стоим, под одну из башен, расположенных у Двойных ворот.

Шах подумал немного, покачал головой:

— Нет, по-моему, нам надо взорвать башню рядом с Северными воротами, что в ста — ста пятидесяти шагах выше Двойных. Потому что основное внимание осажденных направлено как раз на Двойные ворота. Верхние ворота узки, противник не ждет оттуда нападения.

Мысли Байрам-бека Гараманлы текли в том же направлении, что и мысли Леле Гусейн-бека. Он тоже гордился воинскими успехами своего воспитанника.

— Святыня мира прав. Лучше всего сделать подкоп именно под Северными воротами, тем более, что они плохо охраняются, — подтвердил он.

И молодой шах положил конец совещанию следующими словами:

— Прекрасно! Пусть с сегодняшней же ночи отряд Байрам-бека займется подкопом... А Леле-бек со своими людьми с утра начнет отвлекать внимание осажденных от Северных ворот. Время от времени, для отвода глаз, надо будет устраивать и ложные атаки, пока не достигнем главной цели... Но надо быть начеку. Поручите сотникам усилить дозор. Пусть остерегаются ночных вылазок врага! Ведь у защитников Баку нет другого выхода, кроме ночных атак, если они вздумают бежать из осажденного города. Но будьте осторожны, смотрите, чтобы с вами не случилось стамбульской трагедии!

— А что это такое, государь?

— Когда султан Мехмет Фатех брал Стамбул, он велел в нескольких местах сделать подкопы под крепость. Но правитель Византии узнал об этом и приказал своим людям рыть встречные подкопы. В результате несколько подкопов обвалились, и воины обеих армий оказались погребены заживо; в остальных же враги встретились лицом к лицу и произошла первая, а, возможно, и последняя в истории войн подземная битва. Историки пишут, что подземные ходы были завалены окровавленными телами. Этот случай произошел 29 рамазана 1353 года хиджры, за день до того, как турки во главе с Мехметом Фатехом покорили Стамбул...

Восхищенные своим молодым государем военачальники и мюриды внимательно выслушали все его наставления. Затем, попрощавшись, вышли. Исмаил остался в шатре один. До вечернего намаза было еще довольно много времени...

* * *

К концу следующего дня предполагалось закончить подкоп. Вечером башню взорвут, а после утреннего намаза последует мощная атака, войско хлынет через пролом — и крепость будет покорена. Так решил шах, и к тому вели дело его поданные. Сегодня он встал до утреннего намаза. Быстро оделся с помощью хиджазского раба Сахиба, вскочил на коня. До того, как проснется войско и приступит к совершению намаза, ему хотелось еще раз объехать вокруг крепости, убедиться в завершении работ.

Молодому шаху было известно о том, что у крепостных стен время от времени показываются отдельные горожане и, скрываясь от преследования, они вдруг таинственным образом исчезают с глаз. Исмаил был убежден в существовании тайного хода. И вот теперь ему представился случай проверить это. Возможно, ему удастся найти этот подземный ход! Кто знает?! Тогда бы можно было прервать мучительный труд по рыхлому подкопа, и тайным путем ввести войско в крепость. Медленным шагом, внимательно осматривая окрестности, двигался молодой государь. Он ехал в сторону Девичьей башни. Вокруг царило спокойствие. Крепостные стены, возведенные здесь на

высоких скалистых холмах, казались выше, чем где-либо. Расстояние между башнями было велико. Высоко располагались бойницы, сквозь которые, он знал это, следят за ним сейчас глаза защитников крепости. Но вокруг было пусто, казалось, все живое затаилось при приближении врага.

Внезапно впереди показался всадник. Исмаил принял было его за одного из своих кызылбашских, но, приглядевшись внимательно, понял: это чужой. Но кто? Почему бродит в окрестностях крепости? Может, это один из защитников города? Или кто-то из людей Ширваншаха, не зная об осаде, спокойно направляется в крепость? Не мучаясь догадками, шах приблизился к юноше. Собственно, у него и не было другого пути. Бьющиеся у подножий Девичьей башни волны Хазара не оставляли возможности уклониться от встречи, обхехать юношу стороной.

Всего несколько минут назад Исмаил был молодым поэтом, любовавшимся волнами Хазара. Уже алел восход, и лучи поднимающегося из-за горизонта солнца окрашивали море в тысячи оттенков; поэтическая картина увлекла воображение юноши, и в душе одна за другой, как в ряд нанизанные бусинки, возникала лирические, страстные строки. Хазар, тяжелые волны которого будто были обрызганы киноварью, был так красив...

Но теперь, при виде чужого человека, в сердце Исмаила умолк поэт и насторожился воин.

— Кто ты, юноша? — обратился он к всаднику.

Но тот, не отвечая, внимательно, с интересом рассматривал Исмаила. Сначала он, правда, не узнал шаха: слыхал, что тот, являясь главой новой религии, всегда ездит под скрывающей лицо вуалью. Не показывает своего лица нечистым взорам. А сам наблюдает за собеседником сквозь прорези в ткани. Если это так, то перед ним, судя по одежде, всего лишь молодой военачальник весьма высокого ранга... «Но нет, вон, смотри, он закинул вуаль на свой двенадцатигольный колпак! Да, это он сам, это он — юный шах, сын Шейха Гейдара под именем веры, под знаменем двенадцати имамов бросивший вызов миру! Святыня мира!... С едва наметившимися усами на детском еще лице, но очень развитый физически от постоянных военных упражнений... Бесстрашный шах, сын Шейха Гейдара! Двою из тех, кто называют себя святыней, уже поплатились за это жизнью. Ты, конечно, знаешь об этом...» Множество мыслей проносилось в голове Султаным-ханым, пока она молча, с ненасытным любопытством разглядывала молодого шаха.

Да, это действительно была Султаным-ханым, тоже выехавшая сегодня за крепость до утреннего намаза. Один из бибиэйбатцев, сын тети Хейрансы, Агадаи, сообщил ей, что этой ночью скончался ее дедушка, ших Кеблали. Утром, по обычаю, его будут хоронить. И, чтобы проводить в последний путь своего старого деда, заменившего ей отца и мать, выполнить свой дочерний долг, Султаным-ханым готова была и жизнью пожертвовать. Она открылась Салеху, которого так любил ее муж Гази-бек, доверила ему тайну. Молодые люди вооружились, сели на коней и потайным ходом выбрались из крепости, рассчитывая успеть доехать до села и вернуться назад, пока не начались военные действия. Соблюдая осторожность, всадники ехали гуськом, на некотором расстоянии друг от друга.

Эту дорожку в нижней части Девичьей башни в свое время показал молодой супруге Гази-бек, выводивший ее из крепости тайком от придворных на охоту или военные занятия. Этот путь, по обычаю, был известен лишь высшим членам рода Ширваншахов — самому шаху и его наследнику. Но Султаным-ханым было совершенно необходимо съездить в село Шихлар и успеть вернуться до того, как вражеское войско совершил намаз и

начнутся атаки осадивших крепость. Бибиханым-Султаным, пустив коня вскачь, оставила Салеха далеко позади. Она ехала одна и думала...

Со вчерашнего дня никто больше не входил в крепость и не покидал ее. Надежды на помочь мужа у нее уже не было: он, видимо, не распоряжался собой. О, если бы он только мог, то обязательно вернулся бы — молодая женщина знала это! После отъезда принца в крепости насчитывалось лишь два-три военачальника, и далеко не самых искусных. Но и они покинули город. Теперь в Баку, помимо торговцев, ремесленников и окрестных сельчан, оставалась абсолютно неспособная сражаться придворная знать — и ни одного воина...

Все войско отбыло из города с шахом и сражалось вместе с Фаррухом Ясаром на Ширване. Гази-бек с небольшой группой воинов, оставленных Ширваншахом для охраны крепости, отправился, как видно, на помощь отцу. Приехал бы!.. Нет, не может, видимо, не принадлежит он сейчас себе...

Трудно и с придворными, думала Султаным-ханым, не очень-то им приходится верить. Вчера, в сумерках, она еще раз обошла все башни и проверила позиции воинов из дворцовой охраны и мирных жителей, поднявшихся на защиту города. На башне, рядом с одиночными воротами, что повыше Двойных ворот крепости, к ней подошел мужчина. Султаным-ханым сначала не узнала этого горожанина с седеющей бородой. Но когда он заговорил:

— Дочка, я должен сообщить тебе что-то очень важное и секретное, — она сразу узнала его по голосу. Молодая женщина даже улыбнулась, перенесясь памятью в дни, когда борода этого человека была черна, как смоль... Тогда Бибиханым была еще маленькой, отец и мать ее умерли от эпидемии, она жила вдвоем со старым дедушкой, шихом Кеблали. Друг дедушки, ювелир Дергяхкулу вернулся в те дни невредимым с какой-то войны и вместе женой Хырдаханым приехал на поклонение в Биби-Эйбат. Остановились они в доме шиха Кеблали. Жена, благодарная за возвращение мужа, поднесла дары святому месту. Потом уже они стали часто приезжать на поклонение, и каждый раз останавливались у шиха Кеблали. Дергяхкулу брал девочку-сиротку на колени, ласкал ее. Тоскующая по собственному ребенку Хырдаханым каждый раз привозила ей новые платьища, одевала-наряжала малютку, распускала длинные косички девочки и тщательно мыла ей волосы. Под видом религиозных подношений супруги привозили им и гончарную продукцию своего соседа Велиюллы. Они как будто породнились тогда со старым шихом и его внучкой. А через год счастливая Хырдаханым приехала с маленьким сыночком, и здесь ребенка назвали Бибукулу, в знак почтения к этому святынищу. По поводу столь радостного события Хырдаханым продела в уши Бибиханым пару маленьких сережек с эмалью «гырхдюме»:

— Это тебе дядя сделал, — сказала она, показав на Дергяхкулу. — ИНШААЛЛАХ[15], да наступит день, когда в эти маленькие уши вденут серьги невесты! Дай бог дожить до этого и чтобы дядя пришлось изготовить их для тебя — в сто раз лучше этих!

Бибиханым не видела Дергяхкулу с тех пор, как вышла замуж и переехала во дворце. Ювелира она не узнала, но голос вспомнила мгновенно.

— Рада видеть вас, дядя Дергяхкулу, как поживает тетя Хырдаханым?

— Да придут к тебе более светлые дни, дочка, узнала-таки своего дядю?! Тетя, спасибо, аллах милостив, живет, как все.

— Что ты хотел мне сказать?

Дергяхкулу, подойдя ближе, понизил голос:

— Знаешь, детка, недалеко от этой башни со вчерашнего вечера я вижу скопление людей. Думается мне, враг здесь что-то затевает.

Султаным-ханым поднялась на башню, внимательно взгляделась туда, куда указывал ей Дергяхкулу. Она тоже заметила кази, при свете факелов копошащихся у самой земли. Что они там делают?

— Дядя Дергяхкулу, будьте начеку, они нам что-то готовят, — предостерегла она.

Всю ночь, не сомкнув глаз, Султаным-ханым думала об увиденном: враг готовит удар в спину. Выехав из подземного хода, она решила взять немногого в сторону, чтобы взглянуть по дороге, что затевают враги за крепостной стеной.

Внезапная встреча с Исмаилом вначале напугала Султаным-ханым: и пяти минут не прошло, как за ней захлопнулась потайная дверь. Не заметил ли враг место, откуда она выехала? Молодая женщина заволновалась. Но потом вспомнила: ведь когда она увидела его, тот стоял лицом к Хазару, крепко о чем-то задумавшись. Поводья покойно висели на луке седла. На юноше был надет красный парчовый архалук с белым, обшитым золотом воротом. Рукава оторочены мехом. Голову венчал двенадцатигольный красный колпак. Под архалуком была видна кольчуга. Султаным-ханым успокоилась: он не видел потайной двери. Внимательно оглядев всадника, она уверилась, что это действительно сам шах. Ответила:

— Я не из ваших отрядов.

— Кто же ты?

— Один из воинов этой страны, которую ты, явившийся сюда как враг, хочешь превратить в развалины, — слегка повернув голову, Султанам-ханым указала на крепость.

— А что же ты здесь разгуливаешь? Ведь крепость в осаде!

— Для чего ты разгуливаешь, для того и я...

— Значит, ты — Гази-бек?!

— Может быть.

— Но мне сказали: Гази-бека нет в крепости!

— Говорить можно что угодно. Мне вот тоже говорили, что ты ездишь под вуалью.

Исмаил спохватился, что разговаривает с незнакомцем, забыв закрыть лицо. И ведь этот чужак его узнал...

— Как ты осмелился повесить моего человека?! Разве во дворце Ширваншахов не знают закона о неприкосновенности посланца?!

— Умерь свой пыл! Если бы посланец вел себя как посланец, с ним и обращались бы достойно. Между тем твои посланцы не уважают тех, к кому пришли в гости, не умеют соблюдать правила приличия в разговоре. Посланник воспитанного человека будет похож на него самого.

— Ты меня в грубости не обвиняй! Как со мной обращались твои, тем я и отвечаю. Я не забыл, что мой дед и отец убиты на землях Ширвана, и убиты езидом по имени Фаррух Ясар!

— А стоило ли им ехать сюда из Ардебиля, чтобы быть здесь убитыми?

— Они стали мучениками во имя распространения идей единого аллаха его пророком и его продолжателем на земле — Али. И мой путь — это путь Али. Я — Гамбар[16] — верный слуга Али!

— Прости, но гамбарам называют у нас вот эти черные точильные камни, что валяются под ногами. У тебя сердце крепкое, как гамбар, или что другое?

Слова Султаным-ханым ударили в самое сердце Исмаила, нанесли ему рану ощутимей, чем от оружия. Рука сама потянулась к мечу. Властно и горячо, как это свойственно уверенным в себе и в собственной силе людям, Исмаил воскликнул:

— Подними над головой свой щит! Я буду вести с тобой открытый поединок — арабскую борьбу! На чьей стороне аллах, тот и победит до восхода солнца, — с этими словами он показал на алеющий восток, где вот-вот должно было показаться светило.

— Храбрец, у меня нет щита, но арабской борьбой я владею. Зачем нам идти друг на друга, восстанавливать брата против брата. Ведь и ты хорошо знаешь, что эта война идет не между двумя враждующими народами. И убивающие, и убиваемые — сыновья одного народа. Брат проливает кровь брата. Задумайся: на Ширване, и здесь — везде, где ты ведешь войну... А теперь что ж, поборемся. Кто будет побежден, войско того пусть сдастся, покорится победителю. Посмотрим, кому поможет аллах!

— О аллах...

— О аллах...

— В этом мире всегда и бегущий призывал аллаха, и преследующий. Язык-то у тебя подвешен хорошо, а вот поглядим, как ты на мечах бьешься?

— Я бы тоже хотел это увидеть!

Они яростно скрестили мечи. В еще слабых красноватых лучах едва поднявшегося над горизонтом солнца сверкнули лезвия. Оба бились с юношеским пылом, увлеченно. Настоящий гнев пока не охватил их, они будто упражнялись в искусстве владения мечом.

Стоя в укрытии за скалой, Салех взволнованно наблюдал за ними, готовый в трудную минуту прийти на помощь своей госпоже.

Арена для борьбы была совсем неподходящая, тесная, и вскоре оба поняли, что бой на конях не принесет желаемого результата.

— Эй, смельчак, нам придется спешиться!

— Спешимся.

Оба соскочили с коней. Битва на мечах разгорелась с новой силой. В этот самый момент стрела, со свистом метнувшаяся с ближайшей башни, едва не задев одного из разгоряченных молодых людей, ударила о камень. С башни доносились голоса:

— Жаль, не проткнул стрелой этого вражьего сукина сына...

— Глупец, а вдруг стрела не в него попадет?! Как повернется, да как в Султаным-ханым вонзится... Тогда куда денешься? Клянусь, в этом случае я сам тебя зарежу, как собаку!

— А вот это разве по-мужски? На наших глазах... Давай тогда хоть аркан закину, подсеку его.

— У них — арабская борьба. Не вмешивайся. Султаным сумеет за себя постоять.

Уже поднявшееся над горизонтом солнцесыпало мечи и кольчуги закованных в броню храбрецов алыми и золотыми лучами. То один, то другой, оказавшись лицом к солнцу, невольно прикрывал ослепленные глаза. Теперь солнце могло стать их первейшим врагом, убийцей каждого из них: вонзится предательски в чьи-нибудь глаза, ослепит — и вонзится вражеский меч в незащищенную вовремя грудь...

Темп схватки все убыстрялся, тела извивались как змеи, пламенем алели в лучах восходящего светила. Находившиеся на башне защитники крепости беззвучно молили: «Пощади, солнце, пощади, Хазар, не сверкайте в глаза Султаным-ханым, поберегите ее, берущие свет от вас же, очи! Не вливайся ей в глаза, солнце! Не дай ей пасть жертвой врага...»

И то ли луч солнца, ударив в глаза Исмаила, ослепил его, то ли предательски осыпался под ногами песок, образовав пустоту, но он споткнулся и упал на правое колено.

Разгоряченная Султаным-ханым отшвырнула меч и мгновенно вытащила из-за пояса маленький золотой кинжал — царственный подарок ее свекра Ширваншаха Фарруха Ясара, в день, когда он впервые увидел ее на военных учениях! Лезвие из закаленной стали, изготовленное лучшими мастерами Дагестана, было вправлено в золотую рукоять. Султаным-ханым проворно приставила острие к горлу юноши — и внезапно их глаза встретились. Сердце ее защемило: в этих глазах было такое странное выражение, которое могла заметить только женщина, созданная природой Матерью! Только материнские глаза могли уловить в этом взгляде безнадежность отчаяния. Невольно руки женщины-воина ослабли, мышцы стали вялыми. «О аллах, он же совсем ребенок! У него даже усы еще не пробились. Это и есть знаменитый шах?! Может быть, я ошиблась... Нет-нет, какая ошибка, это сам Исмаил!»

Она убрала колено с груди парня, отвела кинжал. Встала, вложила кинжал в подвешенные к поясу ножны. Уже простившийся было с жизнью молодой человек почувствовал какое-то странное состояние: «Не убил, а ведь готов был убить. Может, почувствовал, что я испугался? Тогда — лучше смерть! Но, может, он не знает в точности, кто я, и это его остановило?»

Со стен крепости раздавались ликующие крики: «Молодец!», «Отлично!», «Афери!». Вдруг возгласы разом смолкли: осажденные увидели, что их военачальник протянул руку поверженному врагу, помог ему подняться и, отступив на шаг, что-то сказал. Султаным-ханым говорила:

— Вставай, сойдемся еще раз, храбрец! В наших местах при первом падении не убивают.

Исмаил вскочил, с диким ревом кинулся на противника. Султаным-ханым, расслабившиеся мускулы которой не успели вновь обрести боевую форму, при первом же ударе покачнулась. Шлем упал с ее головы, и освобожденные из металлического плена две тяжелые косы зазмеились по облаченному в кольчугу стану. От изумления у юного Исмаила потемнело в глазах:

— О аллах, это, оказывается, женщина!...

Поспешно наклонившись, женщина схватила шлем, рывком надела его на голову, в смущении вскочила на коня и ускакала. Умчалась словно вихрь, оставив Исмаила с открытым от удивления ртом:

«Оказывается, это женщина! Не зря, видно, говорили, что защищать крепость некому... Нет принца, нет Ширваншаха... Значит, это правда... Тогда случившееся для меня, действительно, хуже смерти... Хорошо, но почему же она называлась Гази-беком? Хотя нет, ведь это я спросил: «Ты — Гази-бек?» А она подтвердила... Интересно, кем она приходится Фарруху Ясару — дочерью или невесткой?»

Обуреваемый этими мыслями, юный Исмаил и не подумал проследить, куда скрылась сражавшаяся с ним женщина. Он повернулся в свой лагерь.

Воины и горожане, наблюдавшие за ними сквозь бойницы крепости тоже были изумлены.

— Это же надо! Клянусь жизнью, Джанбахыш, она уже приставила кинжал к его горлу! Но почему не убила?

— Один аллах разберется в этих женщинах. Они — сплошная загадка, ей-богу!

— Послушай, имей совесть! Разве можно называть женщиной храбреца, который так сражается? Мы же все видели, она просто бог арабской борьбы! — В голосе Джанбахыша слышалась неподдельная гордость...

И, кто знает, может, именно в этот день появилась первая строчка дастана о «Шахе Исмаиле и Арабзанги»? В тот самый день, когда свидетели сражения, спустившись с крепостных стен, рассказали о нем другим, приукрасив каждый, в меру своих способностей, подробности схватки. Рассказали друзьям, знакомым, соседям, а дома — женам и детям... Может, это и был день рождения, легенды?!

* * *

Когда Исмаил с опущенной на лицо вуалью вернулся в лагерь и вошел в свой шатер, кази уже завершили утренний намаз...

Кто готовился к атаке, кто спускался в подземный ход, из которого ночью вынесли землю, чтобы сменить ведущих подкоп. Часть воинов натачивала мечи, часть — подкладывала сено коням.

Погруженный в свои мысли Исмаил опустился на персидский ковер. Тотчас была расстелена скатерть, подан завтрак, за его спиной встал восьмилетний негритенок — раб, присланный ему из Дамаска послом Гулубеком. Он был в широких белых шароварах, белой рубашке, на голове — большая чалма с султаном из канители. Веер из перьев павлина держал он над головой сидящего за трапезой государя и, медленно оевая ему лицо, отгонял залетевших в шатер мух, тучей слетевшихся в лагерь на кровь баранов, быков, кур, которых резали возле палаток.

Сотрапезником шаха был молодой военачальник одних с ним лет. Слуги внесли фарфоровые кувшины с водой для омовения рук и чаши. Подали жареных цыплят. Молодой военачальник не вedaющий об утреннем приключении Исмаила, спрашивал себя, отчего так задумчив государь, и силился отвлечь его от неприятных мыслей. А Исмаил вспоминал глаза женщины, пощадившей его во время схватки, и покрывался потом: взгляд родной матери чудился ему... «Кажется, ей стало жаль мою молодость. А я и не понял, что это женщина! Как она сказала: «Ты хорошо знаешь, что эта война идет не между двумя враждующими народами. И убивающие, и убиваемые — сыновья одного народа». Вот что значит женский ум! Подумать только, как она это сказала... А я... Не понял! Вот тебе и мужчина, вот тебе и поэт! Нет, я начинаю становиться грубым воином с отупевшими в боях и скитаниях чувствами. Я должен был все понять до того, как она пощадила меня».

Он размышлял, сидя за трапезой, а молодой военачальник мучился, видя нахмуренное чело государя. Когда же Исмаил, покончив с едой, встал и вышел из шатра, все уже было готово к наступлению. Верховный молла, воздев руки к небу, произнес молитву.

Вскоре раздался пронзительный звук трубы, возвещающий о начале сражения. Исмаил вздрогнул так, будто впервые в жизни услышал боевой сигнал. Ашыги, дружно ударив по струнам саза, пошли впереди войска, заиграли воинственные, воодушевляющие мелодии. Шах очнулся, словно вернувшись из далекого мира...

Перед Двойными воротами крепости, под боковыми башнями сводчатых ворот с изображением голов быка и льва — символа древнего Баку — началась шумная атака осаждающих. Защитники крепости ливнем пускали стрелы, не давали ни одному человеку возможности взобраться на башни по приставным лестницам. Их местоположение было весьма удачным: враг находился внизу, на открытом пространстве, был виден — как рассыпанные на подносе рисинки. Ни одна вылетающая из бойницы стрела не пропадала даром. Не подозревавшие о подкопе бакинцы, как львы, сражались на крепостных стенах.

Молодые кызылбashi, как и мюриды Шейха Гейдара ибн-Джунейда, смотрели на юного Исмаила полными восхищения глазами. Их взгляды выражали беспредельное обожание, преклонение, вызванное глубокой верой в религию, доверием и преданностью муршиду. В такт с биением своих сердец повторяли и повторяли они двустишие Хатаи:

О мессия-Мехти, владыка всех времен — явись.

И оборви безбожников, гяуров жизнь.

Они теперь поклонялись Исмаилу: «Ты в своих стихах призываешь мессию-Мехти, но вдохновляющий наши сердца аллах единый говорит нам, что, может быть, ты сам и есть тот самый обещанный мессия...»

И действительно, некоторые из мюридов видели в нем двенадцатого имама, чье появление было обещано в будущем — мессию-Мехти. Именно поэтому они с недрогнувшими сердцами, не обращая внимания на ливень стрел, вновь и вновь приставляли лестницы к стенам, карабкались по ним, падали и снова поднимались, бросались в атаку.

Первым на крепостную стену сумел взобраться сын Дива Султана. Он был знаменосцем своего отряда и успел уже, в знак победы, укрепить и развернуть над башней зеленое знамя, когда направленная снизу, из города, стрела вонзилась ему в спину. Он скатился по эту сторону крепостной стены, лицом вниз, прямо к подножию лестницы.

12. ПОДКОП

Под вечер Дергяхкулу вернулся домой, чтобы немного перекусить и вновь отправиться на дежурство в охраняемую им башню. На сердце было тревожно, он неотступно думал о том, что затеваются враги в стороне от его башни. Как ни старались Дергяхкулу и его побратимы, но разглядеть и понять что-то так и не смогли.

Войдя во двор, он заметил Бибикулу у ворот, а в глубине двора Хырдаханым. Оба, увидев его, обрадовались:

— Слава аллаху, ты пришел целым-невредимым, киши!

— Дочь Гюльали, я умираю с голода. Подай быстрее все, что у тебя есть. Я должен вернуться.

Хырдаханым засуетилась:

— Сейчас, сейчас... Еще бы не проголодаться, ведь как рано утром ушел, так и пропал...

Она проворно расстелила под фисташковым деревом палас, положила тюфячок. Аккуратно разложила на лоскунной скатерти лук, залитый уксусом, хлеб, соль, перец, сумах. В кясах с цветной глазурью принесла кюфта-бозбаш. Когда аромат шафрана донесся, до мужа, тот вспомнил, что запах приготовленной Хырдаханым кюфты способен разбудить всех соседей. Голод его так усилился, что он на мгновение позабыл и про врага, и про подозрительную суэтню напротив башни. Дергяхкулу сел у накрытой скатерти и с удовольствием начал есть, накрошив в кюфту-бозбаш чурек.

— Царствие небесное твоему отцу, твоей матери, дочь Гюльали, отличную кюфту ты подготовила. Очень вкусно.

— И твои пусть будут в раю, киши. Как там дела?

— Да как они могут быть, жена? Война ведь! Воюем себе. Посмотрим, аллах милостив. Пока Ширваншах Фаррух Ясар подоспейт — выстоим, наверное.

Женщина то задумчиво смотрела на мужа, то переводила тревожный взгляд на сына. Бибукулу, зная о неуместности высказываний при старших, да еще во время еды, молча поглощал обед и слушал. Хырдаханым не вытерпела:

— А ведь говорят, что Фарруха Ясара в Ширване убили. И сына его нет в крепости.

— Кто может в точности знать, что там, так далеко, делается? Я тоже слышал об этом... А знаешь ли, кого я сегодня видел?

— Кого?

— Ты помнишь шиха Кеблали? Его внучку, Бибиханым.

— Да что ты?! С тех пор, как она вышла замуж за нашего принца Гази-бека, я ее не видела.

— Я тоже впервые увидел ее после замужества. Она ведь сама обороняет крепость.

— Мужественная женщина!

— Я же говорил тебе недавно, забыла? Приходила к нам в мужской одежде. Я слыхал, что принца в городе нет, жена руководит военачальниками. Только не знал, про жену шаха говорят или про жену принца. Но как только увидел — сразу узнал ее.

— Она тоже тебя узнала?

— Вначале вроде не признала. Но потом, когда я заговорил тотчас узнала. И про тебя спросила, и про Бибукулу.

— Да хранит ее аллах от беды и горя! Да будет острым ее меч! Как она?

— Хорошо. Но сильно озабочена этой войной...

— А как же! Война ведь не женское дело! Да накажет аллах врага! Нет, чтобы тихо-спокойно сидеть у себя дома, явились, принесли нам горе...

— И не говори, жена...

Трапеза закончилась. Когда Дергяхкулу, поднявшись, взял свой меч, Хырдаханым, прослезилась:

— Уходишь, киши?

— Должен уходить, дочь Гюльали! Когда в народе девушки и женщины берутся за меч, мужчинам не подобает сидеть дома.

— Ты себя береги, о нас не беспокойся.

— А ты за ребенком приглядывай. На улицу не выпускай надолго. Не все можно предвидеть, что может произойти на этом свете, дочь Гюльали...

— Да хранит тебя аллах! Не волнуйся, никуда его не выпущу.

Даже при собственной жене он постеснялся, не смог хоть головку поцеловать единственного ребенка, о котором мечтал долгие годы. Лишь ласково провел рукой по затылку мальчика.

— Ты у меня умница, сыночек, береги маму, слушайся ее. Конь как родится — уже конь, сын как родится — уже мужчина. Смотри, будь хорошим сыном.

Все трое расстроились, и каждый старался скрыть свои слезы. Комок стоял в горле и у жены, и у мужа. Со сжавшимся сердцем Дергяхкулу торопливо вышел из ворот. Вода, которую плеснула ему вслед Хырдаханым из медной миски, намочила пятку Дергяхкулу...

* * *

Когда Дергяхкулу дошел до башни, уже стемнело. Кое-кто из охранников совершил намаз, а другие, выглядывая в бойницы, наблюдали за действиями врага. Кази установили напротив башни светильники из кизяка, пропитанного нефтью и укрепленного на концах длинных жердей, и что-то делали в их колеблющемся свете.

Один из защитников крепости, увидев Дергяхкулу, поманил его к себе. Это был его сосед, гончар Велиюлла.

— Дергяхкулу, ты посмотри туда повнимательней. Похоже, что они колодец роют. Мне показалось, что они на носилках выносят оттуда землю. Ты ведь много раз бывал на войне. Приглядись-ка.

— Да на что им в этом месте колодец? Нет, ей-богу, у меня такое предчувствие, что они подземный ход роют... Воду они привозили на верблюдах из реки Сугайты... Нет, это не колодец, это будет подземный ход! Надо сообщить Бибиханым-Султаным про подкоп...

Дергяхкулу не договорил: в этот момент раздался страшный грохот, башня зашаталась, как конь, вставший на дыбы при сильном землетрясении. Посыпались вниз отделившиеся друг от друга камни. Пыль, окутавшая все вокруг, сделала мрак еще более плотным. На месте происшествия ничего невозможного было разглядеть. Стоны и крики раненых разносился, казалось, на всю вселенную. Большинство совершивших намаз у крепостной стены было убито или ранено осыпавшимися камнями, а из тех, кто находился на башне, в живых не осталось ни одного. Трупы ювелира Дергяхкулу и гончара Велиюллы лежали среди обломков. Уцелевшие и легкораненые — все, кто мог подняться на ноги, принялись вытаскивать из-под камней погибших.

Когда узнавшая о происшествии Султаным-ханым примчалась сюда на коне, трупы были уже убраны и сложены поодаль. Увидев среди них Дергяхкулу, молодая женщина не смогла удержать слез.

— Бедный дядя, — прошептала она.

Дав необходимые указания о погребении умерших, она озабоченно осмотрела проем, образовавшийся в крепостной стене на месте башни. Надо было чем-то заделать его, иначе враг устроят ночной набег и пробьется в крепость. Поскольку эта башня ближе всех расположена ко дворцу, создавалась серьезная угроза для бакинской резиденции Ширваншахов. Подумав, Султаным-ханым велела позвать к себе хаджиба — главного визиря.

— Прикажи, хаджиб, побыстрее собрать весь войлок, какой только найдется в домах. Пусть принесут его сюда.

Несколько человек вскочили на коней и поскакали в разные кварталы города. Не прошло и часа, как бакинцы — и мужчины, и женщины стали таскать к башне весь имеющийся у них войлок, а у кого не нашлось — старые паласы и ковры. По приказу Султаным-ханым пролом заделали войлоком — пусть не узнает враг, в каком месте проломлена крепостная стена.

...Когда ранним утром Байрам-бек Гараманлы подъехал к взорванной башне — он не поверил своим глазам. В течение одной ночи пролом накрепко заделан, укреплен, стена восстановлена, и усиlena охрана. Байрам-бек Гараманлы отправился к шаху:

— Святыня мира, наш замысел не удался. Нам придется остановить наступление через Северные ворота.

— Почему?

— Видать, обороной крепости руководит смелый и к тому же умный человек. Думаю, это опытный военачальник. Взорванное место так укреплено войлоком, что нам еще много придется по-трудиться.

Байрам-бек говорил о смелости и благородстве опытного военачальника, а Исмаил вспоминал лицо Султаным-ханым, с которой он накануне вступил в бой у Девичьей башни. В ушах его все еще звучал голос молодой женщины, так ловко владеющей приемами арабской борьбы: «И убивающие, и убиваемые — сыновья одного и того же народа». Ему казалось, она вновь говорит с укором: «Зачем ты заставляешь брата убивать брата, государь?» Но юный шах в стремлении отомстить убийце отца и деда, распространить на эти земли свою веру, старался не поддаваться жалости, изгнать из сердца поэта Хатая эти тяжелые думы. Он был государь. И воин. Ревнитель веры. И все! Обстоятельства учили его: «Кровь за кровь, смерть за смерть!» Это чувство мести он впитал с молоком матери, воспринял с первым прочитанным стихом, с первым написанным предложением. Нет, изменить ничего нельзя. Вперед! И только вперед!

...Атака, обретя новую силу, активизировалась перед обоими воротами крепости — и перед Двойными, и перед Северными.

Идущие впереди бойцов озаны, чтобы вдохновить их, начали петь боевые песни — варсаги. Вскоре варсаги сменились зажигающей джанги. Исполняемая на трубе пронзительная джанги, звуча на всю округу своей воинственной, зовущей к подвигу мелодией, возбуждала кази. Варсаги и джанги удесятеряли боевой настрой воинов. Войска потоками накатывались на крепость — «бросались в бездну битвы», как образно сказал автор «Джаханаран» — Шах Исмаил.

Бакинцы продолжали обороняться еще три дня. Перед всеми башнями и воротами города шли кровавые схватки... На седьмой день осады кызылбashi ворвались-таки в город. Но защитники Баку все еще не просили пощады, все еще не сдавались. На тесных кривых улочках города, где с трудом могли разминуться два человека, в тупиках и переулках шли кровавые бои. Сражался каждый дом. Каждое здание превратилось в крепость.

На седьмой день осады по приказу шаха Байрам-бек велел глашатаям провозгласить следующее: «Тот, кто не сдастся добровольно, не произнесет «ла илаха иллаллах»[17], не проклянет езida Фарруха Ясара — будь то ребенок или взрослый, женщина или мужчина — погибнет от меча. Пощады никому не будет».

...Вечером кызылбashi, собрав трупы кази, собирались хоронить их в могилах погибших за религию мучеников. Отделяя трупы своих воинов от вражеских тел, кызылбashi нашли на поле боя и нескольких женских трупов. Хотя женщины эти были в мужской одежде, они выделялись окружными лицами, распустившимися длинными косами. Когда Хюлафа-бек со странным чувством зависти рассказал об этом Исмаилу, тот, задумавшись на миг о чем-то, велел:

— Женщин похороните рядом с могилами погибших муче-ников.

* * *

Есть в истории такие события, которые через определенное время, быть может и долгое, в точности повторяются. Особенно, если эта история одного и того же народа и события — идентичны. Пройдет много-много лет, и сегодняшний приказ Исмаила после его поражения в Чалдыране отдаст Султан Селим, увидев на поле боя трупы тебризских женщин...

* * *

На седьмой день обороны Баку Султаным-ханым уже не сомневалась в гибели свекра Фарруха Ясара; убедилась она и в том, что муж ее Гази-бек, если и не погиб, то сражается где-то и прийти на помощь не сможет. На подмогу извне она потеряла всякую надежду, но и упорно продолжала отвергать настойчивые просьбы придворной знати о сдаче крепости. Остались без ответа и требования присоединившейся к ним шахини. С удивительным упорством она продолжала борьбу: ей даже в голову не приходило добровольно сдать город! Теперь ее невозможно было застать во дворце: Султаным-ханым занималась

организацией уличных боев. И, воспользовавшись ее отсутствием, дворцовая знать направила парламентера к уже вступившему в город шаху с просьбой о пощаде...

* * *

На центральной площади крепости собралось много народу. Торопливо шагала процессия из семидесяти мужчин с раскрытыми Коранами в руках. При каждом шаге они восклицали: «Государь, пощады, государь, прощения!» Затем эти пузатые мужчины в саванах поползли на коленях, то и дело, задыхаясь, приговаривая «пощады, пощады» — о как они были похожи на караван паломников-гаджи, кружящихся вокруг Каабы! Юный Исмаил, хоть и был, по обыкновению, под волосяной вуалью, но отлично видел жалкое состояние идущих и ползущих, и сердце его переполнялось гордостью и наслаждением победой, от радости кружилась голова.

Рядом с ним стояли самые близкие люди из государственной знати. Здесь были его дядька Леле Гусейн-бек Бекдили, Мухаммед-бек Устаджлы, Байрам-бек и военачальник Хюлафабек, которого он первым послал на покорение зимней резиденции Ширваншахов — величественной Бакинской крепости. Всех охватила радость победы. Семьдесят знатных мужчин приблизились, подняли над головами кораны, на коленях подползли к месту, где находился шах. Легли ничком на землю перед ним и хором воскликнули:

— Пощады, государь, пощады!

На крепостных стенах, между домами все еще слышался звон мечей. Там сражались не желавшие сдаваться бакинцы.

Под эти звуки победитель Исмаил поднял правую руку над головой:

— Пощажу, но с условием: дайте выкуп в тысячу ашрафов золота, сдайте дворцовую сокровищницу и укажите могилу убийцы моего деда Шейха Джунейда, езида Ибрагима Халилуллы!

— От всей души, святыня мира, от всей души...

— Позвольте сдать...

— Позвольте указать...

Напротив канцелярии духовного судьи стоял войсковой кази. Покорившиеся горожане по очереди проходили мимо него. Кази заставлял их произносить молитву: «Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед его пророк», а затем каждый должен был добавить: «Али — его последователь». Тех, кто запинался, заставляли повторять снова и снова. Не желавшие произносить требуемое отводились в сторону, и никто не знал, что через день-два собранные со всего Апшерона жители отказавшиеся говорить «Али — его последователь», будут изрублены мечами недалеко от того места, где река Сугайты впадает в Хазар, а затем закопаны в большой братской могиле. Местные шииты назовут впоследствии это место «Гаратепе» — «Черный холм». Но все это будет потом. А теперь...

Число произносящих келмеи-шахадат не кончалось; и, пока шел обряд перехода в шиитство, Исмаил беседовал с группой пришедших сдаваться из знати. И вдруг над всей площадью разнесся чей-то взволнованный голос:

— Взгляните туда, взгляните туда!

Такая горячность слышалась в голосе, что все невольно обернулись туда, куда была направлена рука закричавшего человека. Даже Исмаил, забыв об обязательной в его положении выдержке, повернул голову к Девичьей башне.

На крыше Девичьей башни стоял воин, выглядевший очень стройным в облегающей его тело тонкой кольчуге. Голос его во внезапно наступившей тишине эхом зазвенел по всей крепости:

— Пощады просите, предатели, у кого вы просите пощады?! У врага! Зачем я в свое время не изрубила вас мечом, не отрезала вам языки, чтобы вы не смогли произнести слово «пощады»!

И вдруг, воскликнув: «Прощай, родной край!», — воин бросился с башни вниз. С головы слетел шлем, и перед изумленно расширившимися глазами невольных зрителей размоталась и свесилась вниз пара черный кос. Вот косы оказались впереди падающего тела, вот, несколько раз перевернувшись в воздухе, тело Султаным-ханым исчезло по другую сторону Девичьей башни. Тяжкий вздох пронесся над крепостью, все губы невольно произнесли:

— Бибиханым-Султаным...

— Султаным-ханым...

Второй раз в жизни Исмаил видел эти косы. Второй раз! Была ли это Бибиханым-Султаным-ханым, в первый раз давшая ему «пощаду», а во второй, проклиная данную им «пощаду», простившаяся с жизнью? Исмаил встречал на своем пути не так уж много женщин, но даже они либо скрывали его от врагов, либо давали ему пищу и кров.

Кроме матери, только жена его дядьки питала к нему искреннее материнское чувство. Эта замечательная женщина служила ему так же преданно, как и сам дядька, оберегавший его от бед. Потом, получив относительную свободу и уже в тринадцать-четырнадцать лет прославившись, он тоже, в сущности, не видел посторонних девушек или женщин. Отобранные и помещенные во дворец девушки, на которых он должен был жениться, были не в счет. Поскольку он всегда ходил с лицом, закрытым вуалью, то и случайные невольницы, которые могли бы пробраться в его шатер, сторонились его. При нем у них не хватало смелости кокетничать. Дядька и учитель с малых лет воспитывали его как государя, как шейха, не позволяли романтическим чувствам завладеть его сердцем. В руках у Исмаила всегда были либо книга, либо меч. Он либо изучал науки, либо постигал искусство воина. Но природа, как бы сжалившись над этим, лишенным детства человеком, наделила его поэтическим талантом, вложила в него дар поэта — будто озеленила, покрыла нежными всходами голые камни в туманных горах. Этот поэтический дар привнес в его сердце нежелательные для воспитателей чувства. Теперь эти чувства пробудились в нем. И Исмаил вмиг спустился с победных высот, гордость его сменилась изумлением, надменность — завистью, в самой глубине своего сердца он прошептал: «Султаным-ханым». О его первой встрече с этой женщиной-воином не узнал никто. Пройдет время — и он даст это имя своей любимой дочери. И сейчас в нем затрепетало

сердце поэта: «Мир потерял свое сколь удивительное, столь и прекрасное чудо! Как жаль!»

Однако бакинцы упорно не верили в гибель Султаным-ханым» В народе ходили слухи, что бросившаяся с башни была не она, их принцесса, а совершенно другая женщина, преследуемая солдатами. Нет, — говорили другие, — нет, это бросилась именно она. Но не разбилась. Там внизу горожане поймали ее в воздухе и спасли. Несколько близких ей людей вывезли Султаным-ханым из города в момент его сдачи и где-то спрятали, кажется, на нардаранской даче Ширваншахов. Ее ждут грядущие битвы — так тоже говорили...

* * *

Последний раз, несколько веков назад, когда Баку был взят арабскими захватчиками, предводительствующими Ашас ибн-Гейсом, город более не видел такой бойни и грабежа.

Наступило утро. По приказу молодого шаха хаджиб показал мавзолей Ширваншахов. Несколько кызылбашей, взяв в руки кирки и лопаты, разрушили мавзолей, вскрыли могилу Султана Ибрагима Халилуллы, вытащили кости и, завернув их в циновку, подожгли. Всю эту картину наблюдали придворные и мюриды, разодетые в нарядные, как праздничные свечи, разноцветные одежды, и шах в своем победном одеянии. В стороне стояла согнанная сюда насильно под страхом смерти знать Баку и Ширвана. Чтобы запугать население, кызылбashi, начавшие войну под религиозным знаменем шиитства, устроили зрелище ада. Глашатай возвещал всем, что и Фаррух Ясар так же «отправлен в ад», и декламировал: «Таково наказание каждого безбожника, осмелившегося на бунт!» После того, как было оглашено повеление шаха, из числа собравшихся выступил вперед старик, которому перевалило уже за сто лет. Это был известный в Баку ученый Имамеддин Бакуви. Обращаясь к Исмаилу и стараясь, чтобы слова его были услышаны и окружившими трон пожилыми мюридами, он сказал дрожащим, но громким голосом:

— Сжигать виновных в аду — дело одного аллаха. Человек, признающий исламскую религию, веру в единого бога, коран, не станет сжигать в огне раба божьего. Не то что его кости...

Старого ученого прервали. С криками: «Суннит, раб езидов Ширваншахов», — накинули ему на шею веревку, потащили, задушили...

Молодой шах, радующийся победе, отмщению ненавистному роду Ширваншахов, которых он считал убийцами своего отца и деда, оглядывая собравшихся, увидел среди придворных и военачальников похожего на черный флаг в своих траурных одеждах Шейха Мухаммеда Сияхпуша. Властным тоном он спросил:

— О шейх, ты и в день такой великой победы, столь полного торжества — в черном одеянии?

Улыбающиеся лица обратились к стоявшему, скрестив руки на груди, как будто изваянному из черного мрамора, шейху Мухаммеду Сияхпушу. Оставаясь неподвижным, шейх слегка наклонил голову в черной тоге и проговорил:

— Мой государь, после гибели вашего покойного отца, моего дорогого муршида, Шейха Султана Гейдара, я оделся в черное. Я не знаю других цветов. У меня все такое же черное, как моя одежда.

Исмаил, показав на горящую циновку с костями Султана Ибрагима Халиуллы, улыбнулся:

— Поздравляю тебя, о шейх! Султан Гейдар отмщен. Сегодня его сын освобождает тебя от траура, — он хлопнул в ладоши, приказал, — пусть принесут шейху белое одеяние!

Шейх Мухаммед Сияхпуш на мгновение растерялся. Снова наклонив голову, сказал:

— Мой государь, в тот день, когда мой муршид перешел из временного жилища в вечное, я дал обет: в тот самый день я убил и свои плотские желания. Поэтому черное одеяние...

— О шейх, это же еще прекраснее! Ты загасил такой огонь, который не смогла бы загасить вода семи мельниц! Ты убил такого голодного дракона, которого не насытило бы состояние всего мира! Ты уничтожил такого врага, который не нашел бы утешения, выпив кровь всего человечества! Ты одержал победу над страстью. По такому врагу траур не носят. Ты герой! А герою к лицу красное одеяние. — Он снова ударил в ладоши и не допускающим никаких возражений тоном приказал: — Пусть принесут шейху красное одеяние!

Так в этот день Сияхпуш — одетый в черное верный мюрид Шейха Султана Гейдара — оделся в красное.

* * *

Исмаил давно слышал об Атэшгяхе — храме огнепоклонников. Как только выпал случай, он исполнил свою мечту — отправился в Сураханы, эту святыню, Мекку огнепоклонников, добирающихся сюда из далекой Индии. Еще вчера он сказал друзьям:

Обратить в шиитство суннитов, которые и без того являются мусульманами, легко. Гораздо больше чести обратить в мусульманство огнепоклонников, которые уже в течение семи-восьми веков берегают свою веру, не желая обращаться в ислам. Это праведное дело прославит нас до седьмого колена. Представьте себе, мой предок, посланник бога, считал христианство тоже верой, но худшей, слабой, чем вера в аллаха, и ограничивался взиманием с христиан религиозных податей. А идолопоклонников, огнепоклонников, многобожников считал лишенными разума и, следуя велению аллаха: «Истреблять нечестивых», — рубил их мечом. Исмаил и его приближенные, полные решимости обратить местных огнепоклонников в ислам, направились в Сураханы. В дороге один из приближенных Исмаила сказал:

— Да буду я твоей жертвой, счастливый государь, но большинство сураханцев сами в душе огнепоклонники, нашу веру они приняли для отвода глаз. Все они огнепоклонники, сукины дети! Это же не мусульмане, а переселившиеся сюда и осевшие на этих землях индузы. Они для вида только приняли нашу религию, женились, детей завели...

Еще задолго до Атэшгяха их внимание привлекли языки пламени, вырывающиеся из среднего купола и из четырех угловых башенок ограды. Большинство индусов и мусульман заполнило храм огнепоклонников, а часть их, примкнув к местным мусульманам-суннитам, набилась в сельскую мечеть. Вновь назначенный в село молла в мечети, а глашатай на площади возвещали всем, что сын Шейха Гейдара будет обращать их сегодня в шиитство. Тех, кто не примет новую религию, ждет смерть...

Когда двенадцатиглавые красные колпаки набились в Атэшгях, индусы попрятались в глубь келий. Лишь один очень старый огнепоклонник стоял, скрестив на груди руки, перед молельней, воздвигнутой в центре храма. Он был погружен в раздумье. Хотя губы его шептали молитву — голоса слышно не было. Стоявший неподвижно глубокий старец был похож на мумию из саркофага. Языки пламени, вырывавшиеся из молельни, отсвечивали странным румянцем на желтом лице мумии.

Исмаил с любопытством смотрел на старца. Внезапно то ли по его, то ли по чьему-то знаку двое кызылбашей, бросившись вперед, попытались схватить паломника за руки. Ведь он поклонялся огню, а значит, по понятиям исламской религии, аду! Но старик, проявив совершенно неожиданное проворство, вырвался из рук молодых людей. Быстро преодолел он ступени молельни. Нестерпимый жар опалил его белую набедренную повязку. Восхлинув что-то на неведомом Исмаилу языке, старик бросился в огонь. Из всех келий вырвался горестный вопль. Сердце поэта на мгновение отклинулось ему, тоже застонало. Исмаил застыл со смешанным чувством изумления и зависти.

«Боже, пожертвовать собой во имя идеи, живым, добровольно кинутся в огонь—какое отчаянное, но какое огромное геройство! Такая жертва может превратиться в знамя в религиозной борьбе.

Наверняка, сейчас отовсюду за нами следят глаза. Они видели, как он пожертвовал собой, чтобы не изменить своей вере. Возможно, его имя, неизвестное пока, действительно станет знаменем для них».

Так думал он, уже вскочив на коня и поворачивая его назад. В момент принесения жертвы он не смог издать ни звука своими охладевшими, ставшими вдруг ледяными губами. Взмахом руки он отдал распоряжение безмолвно стоящим вокруг и позади него, тоже замершим в изумлении людям — уходить отсюда: пятясь и оглядываясь, кызылбashi ускакали прочь.

Он не задержался в Сураханах. Препоручив судьбу села новому молле и управляющему, Исмаил покинул Атэшгях. Язык не повернулся отдать приказ разрушить его, сровнять с землей.

КРОВАВЫЕ ГОРЕСТНЫЕ ГОДЫ

13. ЗА ДАЛЬЮ ЛЕТ

Когда государь возвратился в Табасаран и на ширванские земли, он уже был прославленным на весь мир завоевателем. Непобедимый падишах, одну за другой покорявший земли в Средней Азии, Ираке, Аравии, Малой Азии, святыня шиитской секты — несмотря на свою молодость, достиг сана мудреца. Теперь его нефесы — стихи духовного содержания — повторяли наизусть на всем пространстве от Стамбула до Балха, от Дербента до Бендера. В Табасаране и Ширване он преследовал теперь иные, не завоевательские цели. Цель была высокой: он хотел создать в Ардебиле вторую Каабу — Мекку шиитов, воздвигнуть для тюркских народов вместо арабского алтаря — собственный алтарь. Подобно тому, как арабские завоеватели канонизировали своих предков, Исмаил тоже хотел перевезти останки отца и деда с чужбины, где они стали «мучениками», в родной Ардебиль. Ему хотелось создать новую святыню, более знаменитую, чем могила Тимура в Самарканде, сравняться славою с Кербелой-Наджафом... Взяв с собой отряд воинов, он сначала перенес из временного мавзолея в Табасаран останки отца Шейха Гейдара, а затем отправился в село Хазры, где начал деятельность подготовку к тому, чтобы забрать и отсюда останки деда Шейха Джунейда. До его приезда в Ардебиле, под контролем Дива Султана, мастера из Ширвана, Баку, Гянджи, Бухары, Самарканда, Тебриза должны были закончить сооружение гробниц...

* * *

Уже двое суток не выходит государь из небольшого склепа, поспешно возведенного на могиле его деда Шейха Джунейда. Удалившись от людей, как дервиш во время поста, он съедает в день лишь кусок хлеба и выпивает небольшую кружку воды.

В долине реки Самур распустилась листва на деревьях, и оба сбегающих к реке склона заросли зеленою травой. В горах переполнились талой водой питающие Самур родники — и река поднялась, вспенилась, с властным ревом потекла, уже не вмещаясь в русло, подтачивая скалы, вымывая ямы на своем пути.

На склонах реки, во временном лагере, трудилось много воинов. Часть рубила дрова в лесах Хазры[18], пекари ставили саджи на очаги, повара насаживали на огромные вертела целые туши телят и баранов и медленно врацали их над огнем жарких костров. Несколько молодых воинов устроили запруду на месте прежнего русла Самура и стирали теперь одежду в отстоявшейся воде небольшого озерца.

Военачальники и знатные молодые люди, сидя в палатках, играли в нарды, шахматы; другие от безделья предпочли охоту или просто прогулку в окрестных лесах. Кто как мог убивал время,

Недалеко от кладбища плотники под надзором Леле Гусейн-бека готовили гроб. Завтра после утреннего намаза отряд должен двинуться в путь. Через несколько дней он присоединится к основным силам, отдыхающим в Махмудабаде, и все войско выступит в Ардебиль. Леле Гусейн-бек уже состарился, борода его была совершенно седой. Кладбище, останки, которые предстояло перевезти, навевали ему мысли о смерти, никогда не посещавшие его в бесконечных битвах. «Под этим голубым шатром нет ничего вечного, все мы это знаем... И все равно в суете будней забываем о смерти, о предстоящем каждому путешествии в вечность. Дергаем друг друга, грыземся... Странно... По-моему, человек не боится смерти только потому, что убежден: через нее он приобщится к жизни

более прекрасной, чем в этом мире. Может и ошибаюсь... И я вот тоже... как все... Но страшна дорога. Неужели и вправду вынутые нами вчера из могилы и вновь завернутые в саван кости снова оживут, воскреснут, будут общаться в райских кущах с ангелами?! Чем больше думаю — тем больше сомневаюсь. Это от слабости моей веры, что ли? О аллах! Великий творец, над которым уже нет никого! Я прибегаю к тебе: защити от грызущих мое сердце сомнений!» Грустные мысли не мешали Леле Гусейн-беку делать свое дело. Подготовка шла полным ходом.

Государь ничего не знал о происходящем вокруг склепа. Дна дня назад под мерное чтение моллы суры Корана была вскрыта могила. Останки Шейха Джунейда были извлечены, завернуты в саван и положены рядом с останками его сына Шейха Гейдара на тирму — тонкую шерстяную материю. Потом обернутые в черное покрывало кости были обращены лицом к кыбле — Мекке. Останки отца — Шейха Гейдара, доставленные сюда из Табасарана, и останки деда — Шейха Джунейда были положены перед молодым Шейхом — внуком и сыном.

Государь, сидя на коленях на небольшом молитвенном коврике, то читал Коран, то совершал очередной намаз, то произносил молитвы между молениями. Только два раза в день — после утреннего и полуденного намаза — он съедал по кусочку черствого хлеба, запивая его глотком-двумя воды. Он побледнел, в сумерках склепа неестественно блестели большие ввалившиеся глаза; лицо заросло щетиной. Двухдневный пост не был тяжел для его привыкшего к многодневным голоданиям организма. Молитвы стали главным его занятием. Только на охоте да еще в сражениях его тело загоралось юношеским жаром, заставляло Исмаила забыть обо всем — и об этом, и о том мире. Последние десять лет основным его времяпрепровождением были битвы, войны — и моления. Исмаила измучили те же мысли, что одолевали сейчас его дядьку. Между нежной душой поэта, стойким сердцем философа и сущностью падишаха-воителя шла жестокая борьба: «Дед мой, что привело тебя сюда из Ардебиля? Как из такой дали почувствовал ты красоту этих мест, где на отвесных скалах раздается клекот орла, в изумрудно-зеленых кустах слышится песня перепелов, соловьев, а в лесах царствуют джейраны? Уверенность в победе, или возможность обращения в истинную веру этой горстки хазралинцев и их близких, не так уж ясно осознавших особенности твоей религии и святость твоих убеждений, что привели тебя сюда из такой дали? Ведь ты же не был государем-завоевателем, не был ни Чингисом, ни Хромым Тимуром? Ты был Шейхом — Шейх Джунейд, отец Султана Гейдара! Потомок Шейха Сафи! Помимо религии, веры, какое иное стремление могло заманить тебя сюда, дедушка?! Да, я не видел тебя, но убеждения твои впитал с молоком матери, твоя кровь бурлит в моих жилах! Но как быть мне?! Люди исповедуют разную веру, но гибнет ведь один народ, — наш народ, дедушка! Наш народ... Часть его-сунниты, часть-шииты, но это один народ. Та бакинская девушка была права, права она была, дедушка! И убивающие, и убиваемые-наш народ. Брат проливает кровь брата, дедушка! Есть ли у меня право во имя какой угодно истины убивать или заставлять убивать такое же, как я, существо, сотворенное древним, могучим, изначальным и вечным создателем?! Вдохнови меня, великий творец! Вдохнови меня, любимый мой дед! Ты теперь находишься перед лицом опоры нашей религии, великим пророком. Спроси его, приди в мой сон, убеди, объясни мне это! На свете христиан больше, чем мусульман, и я не смогу всех их обратить в шиитство — на это не хватит не то что одной, но и пяти жизней, дедушка! И Чингисхан, и Тимур, потрясшие мир, все же не смогли покорить весь земной шар. Так смогу ли я?! Если только твоя, только наша вера правильна, единственно истинна перед лицом аллаха, то почему же он, творец, своим всезнанием не уничтожит остальных?! Путь, пройденный тобой и моим отцом, Шейхом Гейдаром, пройденный и мной — внушают мне, что я прав. Что истина со мной. И все же в глубине моего сердца назревает бунт. Когда я кидаюсь в бой, уста мои шепчут только

одно слово «аллах», и ни один из этих вопросов не приходит мне в голову, не тревожит меня. Когда же победа одержана, и я вижу рядом с вражескими трупами бездыханные тела наших мучеников — я лишаюсь покоя.

Как, по какому праву я именем создателя уничтожал и призывал уничтожать его же творения? Меня охватывает ужас, дедушка! Я пытаюсь заглушить свое горе кубками, залить поднимающийся в сердце бунт. Вдохнови же меня на познание истины! После утреннего намаза я отвезу на родину ваши священные останки, твои и моего отца, Шейха Гейдара, чье лицо вспоминается мне с трудом. Я клянусь до последнего вздоха убежденно распространять вашу веру, во имя которой мы безропотноносим жертвы и погибаем! Пока рука моя в силах держать меч, не выпущу его, не вложу в ножны. Я продолжу ваше дело, но я... я объединю разрозненную родину насколько смогу, усилю ее мощь, прославлю наш язык, поэзию на весь мир, открою двери дворцов ашыгам... Не знаю, так ли вы думали, так ли хотели — ты и отец. Но я должен думать о будущем. До сих пор перед моими глазами Султаным-ханым... Она была права. Я выполню и ее пожелание. Тогда и только тогда я уверюсь, что пролитая кровь, вызванные мной слезы, принесенные жертвы были не напрасны. Да возрадуется ваш дух! Да вознесутся ваши души в рай! И да молятся они за меня во имя претворения в жизнь моих намерений. И да падет на меня ваша благость! Пусть земля и небо — пусть каждая пядь родной земли и каждая капля текущей в ней воды вместе со мной скажут: «аминь»...

Эти долгие, непрерывной чередой текущие мысли не покидали Исмаила в бесконечные часы молитв и поклонов. Уста его произносили молитву, повторяли суры Корана, а сердце раздирали противоречивые думы. Шейх Садраддин сам объявил утренний азан. Все воины произнесли ритуальную молитву. Монотонно-печальные звуки ее, сливвшись с ревом Самура, эхом отозвались в горах, в отвесных скалах ущелья. Едва только засветилось, как воины уже выстроились в походном порядке. В запряженную пятью парами волов повозку постелили персидские ковры. На них бережно поставили обернутые тарной и покрытые зелеными и черными накидками гробы. В левом углу арбы, против гробов, укрепили зеленое шелковое знамя с насаженной на конце древка вырезанной из серебра кистью человеческой руки.

По обе стороны арбы выстроились десять молодых всадников в черных одеждах. Сидя на вороных конях, воины походили на ожившие траурные статуи. Следом за арбой ехал верхом сам государь, а рядом с ним Байрам-бек Гараманлы, Рагим-бек, Мухаммед-бек Устаджу, Леле Гусейн-бек Бекдили и другие придворные и военачальники. Впереди процессии выступал закутанный в черные одежды знаток Корана шейх Садраддин. После первого салавата шейх начал читать суру Корана «Арракман», обязательную при отпевании тела и похоронах.

Хазралинцы и двадцать мастеров, оставленных, чтобы построить здесь мечеть Шейха Джунейда, смотрели вслед медленно удаляющемуся войску. Государь даровал им земли, и они останутся в Хазре навсегда: женятся, заведут детей, распространят среди окрестных жителей шиитство и из поколения в поколение будут передавать легенду о том, что останки Шейха Джунейда не увезены, а по просьбе хазралинцев оставлены в здешней могиле, и она, таким образом, является святым местом, чудодейственно исцеляющим болезни и горести...

Шах рассудил так: «Нужно оставить памятник, который напоминал бы о величии нашего рода и внушал верность идеалам нашей религии, дабы искоренить остатки сомнений в душах тех, кто принял святое шиитство под угрозой меча».

На отвесных скалах беспечно вили гнезда скворцы и ласточки. Самурское ущелье здесь постепенно сужалось, гул реки усиливался. На склонах, вдоль гряды скал, росли ореховые, яблоневые, грушевые деревья, мушмула, на кустах розы самозабвенно заливались соловьи. Высоко в небе парили орлы. Только им и был виден медленно тянувшийся караван. Природа вернулась к своему привычному бытию. Вечна ее изначальная красота, вечен изначальный напев!

* * *

Процессия с останками Шейха Джунейда и Шейха Гейдара двигалась траурным шагом. Погода стояла прекрасная. Природа ласкала воображение государя красотами крутого Самурского ущелья, убаюкивала его журчащими напевами реки, уводила в прошлое, к тем годам, когда простившись с трудным детством, он вкусили первую свою победу, первое счастье. Теперь он мысленно находился рядом с Таджлы-ханым...

...Красавица-весна наступала медленно, жеманно прихорашивалась, как это присуще всем красавицам. Весна, как размежеванный, спокойный, здоровый пульс шептала время от времени влюбленным: «Я иду, я иду!» Двадцать второе февраля 1514 года пришлось на очень хороший день — на среду. В селе Шахабад праздновали свадьбу: Шах Исмаил Хатаи вводил в свой дворец первую жену. Это была Таджлы-ханым — дочь Абдин-бека, правнучка Султана Ягуба, считавшегося одним из самых влиятельных представителей древнего тюркского племени Бекдили-Шамлу. Исмаил с юных лет видел Таджлы-ханым то скачущей на коне, то бьющейся на мечах со своими сверстницами. И вот уже несколько лет с тех пор, как Таджлы-ханым была привезена во дворец. Провожая ее, совсем еще девочку, девушки ее племени пели:

Трону твоему — слава, невеста!

Счастью твоему — слава, невеста!

Белые руки красной хной покрыла невеста,

Слава тебе, слава, невеста!

После изучения дворцовых правил и достижения половой зрелости девушка станет старшей женой падишаха. А пока что Мовлана[19] Ахунд Ахмед Ардебили хотя и заключил брачный договор, молодые люди еще не были близки и держались друг от друга в отдалении. Но, возвращаясь с военных походов или с занятий стрельбой из лука, палицей, упражнений с мечом или охоты, Исмаил неизменно стремился увидеть закутанную в чадру, стройную, как кипарис, фигурку, а иногда, если повезет, то и лицо Таджлы. «Моя гвоздика, — думал он, — мой кипарис, сосенка моя, моя единственная!» Влюбленно, с восхищением всматривался он в прекрасное лицо девушки: «Ты так нужна мне. Я должен видеть тебя каждый день! Каждый день должен касаться твоих рук, чтобы получить от этого прикосновения силу; должен ощущать твой аромат, чтобы насладились

мои чувства. Я должен каждый день слышать твой голос, видеть нежный изгиб твоих губ — чтобы непрестанно восхищаться тобой. Я должен ежедневно впитывать свет счастья, излучаемый твоими глазами — я умру, если этого не будет...»

Поистине, Таджлы-ханым была чудом, сотворенным матерью-природой. Она была щедро наделена и красотой, и разумом, и воинской доблестью. Казалось, еще при рождении предопределена была ей высокая участь: быть женой государя, матерью государя, родоначальницей царской династии. Создатель будто знал наперед, что этой красавице из большого рода Бекдили предстоит с мечом в руках защищать трон любимого мужа, честь родной земли и свою собственную, что она сумеет вырваться из такого плены, из которого и тысяча мужчин вырваться не смогли бы. И, видать, поэтому мать-природа наделила ее всем в изобилии: красотой — как жену поэта, умом и рассудительностью — как жену государя, дала ей храбре сердце и крепкое тело.

Исмаил редко видел свою невесту, большую часть времени проводил вне дома. Разносторонней была его натура, и под стать ей были мечты: он видел себя то падишахом на троне, то муршидом в мечети, то военачальником в бою. Но стоило Исмаилу попасть домой, и он тотчас же превращался во влюбленного поэта. Начинали бурлить и искать выход подавляемые им в сердце во время походов и битв чувства; глаза его всюду искали стройную, как кипарис, фигурку Таджлы-ханым, мягко окутанную чадрой. Он тосковал по ее голосу, похожему на нежное звучание желтого тенбура — любимого им музыкального инструмента. «Мой кипарис, сосенка моя, мой ирис, колосок, единственная моя», — говорил он, и нахлынувшие чувства искали выход в любовных газелях. Ему особенно запомнились некоторые из их встреч.

— Мой кипарис, сосенка моя, мой ирис, единственная моя, прошептал он и с силой сжал маленькие, но приобретшие от занятий мечом твердость руки Таджлы, которой не было еще пятнадцати лет.

— Мой государь! Если правда то, что вы говорите, если я вам действительно нужна — то либо берегите себя и не бросайтесь сломя голову в битвы, либо, по старым дедовским обычаям, берите и меня с собой.

— Далекая, далекая моя, горная лань! Как долго я преследую тебя, кокетливая лань моя! Что делать, взять тебя с собой на те битвы — за пределами моих возможностей. Я сумел отомстить убийцам моего отца и деда, стер с лица земли их род. Но я еще не смог покончить с отмщением всех людей! Объединить под одним знаменем наши разрозненные племена, расширить наши границы — вот что завещано мне. И этот завет мною не выполнен, путь мой в этом направлении еще не завершен. И писания мои, и речи направлены к тому, чтобы ликвидировать религиозную разобщенность мусульман, объединить их. Но у меня самого есть только одна вера — это любовь! Мой путь к постижению истины лежит через любовь...

Хотя порой девушка и не вполне понимала смысл его убежденных и полных противоречий слов, она с широко раскрытыми глазами изумленно и доверчиво внимала Исмаилу.

Когда их встреча предшествовала очередному походу Исмаила, Таджлы, веющим женским сердцем заранее ощущавшая все тяготы и опасности предстоящего пути, не могла удержаться от слез. Ее томные зеленоватые глаза вдруг до самых кончиков ресниц озарялись сиянием, будто начинали бить маленькие роднички: пожалей, — говорили они, — не уходи, — говорили, — не делай этого, — говорили. Наполняла золотую чашу — в

ней скатившиеся с ресниц слезы смешивались с прозрачной родниковой водой, — и выплескивала Исмаилу вслед — чтобы дорога была легкой и удачной. А затем произносила!

Воду выпила глоток за глотком, —

Дай, подержу твою руку!

Если два мира сольются в одном,

Пусть не станет надежда мукой,

Если поход затягивался надолго, Таджлы-ханым до боли в глазах все всматривалась из-за тюлевых занавесок в ярко зеленеющие весной, сереющие летом, краснеющие осенью или белеющие зимой дороги. Говорила:

Нарожденная луна перелиться жаждет.

Розу губ моих ласкать некому...

По любимому душа истомится однажды:

Сколько дней, как ушел, и все нет его!

Потом, собирая вокруг себя придворных — сверстниц и знатных дам, девушка устраивала поэтические меджлисы. «Читайте стихи моего поэта, моего повелителя, моего муршида!» — приказывала она. Желания Таджлы-ханым, уже теперь именуемой шахиней, исполнялись немедленно. Девушки нараспев произносили газели Хатаи, танцевали. Собрания обычно продолжались по несколько часов: Таджлы-ханым никак не могла насытиться стихами. А под конец певица обязательно исполняла песенку «Соловей»:

С утра плачущий соловей,

Ты не плачь, — я заплачу.

Разрывающий мне грудь соловей,

Ты не плачь, — я заплачу!

Ты оделся в зеленое, мой соловей,

Изумрудом стал каждый колос.

Потерял я любимую, мой соловей.

Ты не плачь, — я заплачу в голос!

Ты оделся в желтое, мой соловей,

И сады позолоты не прячут.

Все цветы и деревья — твои, соловей,

А любимая — моя, — я заплачу!

Таджлы бесконечно повторяла: «Потерял я любимую, потерял я любимую...», «Цветы и деревья — твои, а любимая — моя!»

Потом, когда она рассказывала возлюбленному об этой своей тоске, о горе разлуки, о том, что она переживает при расставании: ним, Исмаил говорил: «Мой кипарис, сосенка моя, мой ирис, единственная моя! Ведь и я — как ты. Вот я закончу мои месневи, «Дехнаме», которые с любовью к тебе сочинял я в дороге и лагерях, ты увидишь, что я тоже испытывал такие же чувства».

Они часто делились мыслями о прочитанных газелях, о поэзии — разумеется, когда у Исмаила находилось время. Иногда Таджлы-ханым читала наизусть стихи, газели на персидском языке, который она только начинала изучать.

— Все наши великие поэты писали по-персидски — и Низами, и Хагани, — говорила она.
— Персидский язык очень поэтичен! Вот послушай, как изящно сказал Хафиз:

Только рука музыканта тара коснется —

Сердце любое в ответ встрепенется, забьется.

Мое же звучно только твоим струнам.

За единый их звук я целую жизнь отдам!

Летом в лугах и полях людские пестрят следы:

А ты ступай по моим глазам, присядь у воды!

Поэт слушал и отвечал:

— Верно, это прекрасно. Но, моя Таджлы, разве ты не чувствуешь величие и родного языка? Почитай-ка газели Насими, воспевающие любовь — любовь божественную, любовь святую! Тогда ты увидишь, как нежно они звучат на нашем языке, и сама придешь в восторг. Наш родной язык не менее прекрасен, моя Таджлы! Он мелодичен и музыкален, любые стихи изящно складываются на нем. Даже в самом простом предложении, если поменять местами одно-два слова — и перед тобой уже стихотворная строка. Даже арузом[20] можно говорить на нашем языке — была бы охота и любовь, хватило бы сил и вдохновенья.

Жилище святых — это правды жилище.

С приходом святых — просветленными станем.

Виновному вину прощают обычно,

Пусть он падет ниц перед султаном.

Бедный Хатаи — это вместилище щедрости...

Извещай: пусть приходит каждый страждущий!

Вслушайся, разве каждая строка здесь не подобна обычной фразе из простого разговорного языка? Нашего родного языка! Так по какому же праву нам отказываться от него и писать по-арабски, по-персидски? Почему государственным, поэтическим языком в наших дворцах не должен быть язык наших матерей, Таджлы? Вот чего я хочу добиться, мой кипарис, сосенка моя!

Постепенно девушка перенимала убежденность Исмаила, становилась его единомышленницей. Да и могло ли быть иначе — ведь в груди Таджлы было такое же сердце, ведь и она открыла глаза в этот мир под звуки баяты. Начала говорить с герайлы, впервые выразила свои чаяния в гошме. Его нефесы[21] и были для нее дыханием, они звучали в ее устах нежно и печально, как вздох. В ее произношении они обогащались новыми смысловыми оттенками и любовными мотивами, неведомыми, возможно, и самому поэту. В такие минуты Таджлы-ханым уже не походила на ту воинственную девушку, что вместе с ним выполняла сложные упражнения с мечом в одном из залов. Она становилась кокетливой и нежной. Исмаил не уставал поражаться этим переменам. А сколько раз, когда он возвращался с охоты, путь ему преграждал некий воин и требовал добычу! Случалось, что, не узнав в первый момент в «грабителе» под вуалью Таджлы, Исмаил хватался за оружие и тут же слышал сводящий с ума смех девушки, снова и снова изумлялся ее умению скакать на коне, владеть мечом, действовать щитом. А сейчас Таджлы, читая сочиненные им гошмы, нефесы, еще более углубляла их смысл, а потом,

обвив руками шею любимого, говорила: «Мой поэт, мой государь, мой чинар, любимый муж», ласкала его...

Молодой поэт-государь забыл о том, что находится в траурной процессии, сопровождающей останки его предков. Родное, возбуждающее все его чувства благоухание Таджлы, смешавшись с ароматом растущих в долине Самура роз и цветов граната, опьянило его. Он ощутил приятный озноб во всем теле. Дыхание стало затрудненным, в глазах на миг потемнело. Исмаил непроизвольно потянулся к висевшей на седле переметной суме, вынул красивый, расшитый бисером футляр, развернул свиток. Строчка за строчкой ложились на бумагу впечатления. Стихотворение из пяти строф завершалось так:

О безумен, безумен, кто влюблен и юн,
Не жалеет жизнь, она дешевле гроша!
Хатаи говорит: Таджлы-ханым
Не дорога пусть достанется — душа!

Свой путь истины, свою дорогу он не отдал бы никому, даже Таджлы. Душу отдает, но вот предназначение — нет! Поэт не заметил, что, едва он натянул поводья своего коня, Рагим-бек сделал знак воинам остановиться. В глубоком молчании все ждали, пока поэт закончит свое стихотворение.

* * *

Решено было передохнуть в придорожном караван-сарае, называемом в народе «гарачи» — цыганским. Шатер шаха был воздвигнут вблизи караван-сарай. В нем, в изголовье гробов, сидел читающий Коран молла. Большинство военачальников не решились ставить для себя отдельные палатки и разместились в тесных комнатах караван-сарай.

Опустилась летняя ночь. Просторный двор и окрестности караван-сарай стали ареной для заезжего цирка. Группа цыган выступала с дрессированными животными — обезьянами, собаками, медведями. Исполнив несколько номеров, цыгане сунули одной из обезьян шапку и послали ее по кругу — собирать деньги. Глядя на забавную мордочку обезьяны и умные глаза, многие, смеясь, щедро бросали деньги в протягиваемую шапку. Другие, со словами «дьявольское отродье», швыряли деньги на землю и отходили назад. Обезьяна усердно подбирала брошенные монеты и опускала их в шапку.

— Ого, какая умница!
— И не скажи, поумней тебя будет!

— Знает цену деньгам. Хороший бакалейщик из нее выйдет.

— А может, сделаешь ее мануфактурщиком?

Каждый, не обращая внимания на соседей, занимался своим делом. Один стариk, ткнув локтем в бок сидящего рядом мужчину, с неподобающим его беззубому рту, седым волосам и бороде кривляньем рассказывал:

— Жена, чтоб ей провалиться, скончалась. Вижу одиночество мне не по душе. Сыновья — невестки, дочки — зятья — все по своим домам, в свое удовольствие живут. Что мне было делать? Взял и снова женился! Трех-четырех детишек уже сотворил. Мужчина до самой смерти молодые побеги выпускает!

В стороне от них, в центре группы зрителей, сначала выступали борцы. Потом в круг вышел богатырь, встал, держа у пояса длинную жердь. Его напарник, сравнительно молодой парень, ловко вскарабкался вверх по жерди и, свесившись вниз головой на самом ее конце, начал проделывать замысловатые упражнения. На руках и ногах державшего жердь богатыря буграми выступили мышцы, лицо его раскраснелось. Их обоих сменил мютриб[22] в женском платье. Зурначи заиграли озорную мелодию. Наряженный женщиной, мютриб, жеманясь и гримасничая, вышел в центр круга. К каждому пальцу его рук было прикреплено по горящей свече. Это было удивительное зрелище! Мютриб быстро кружился на месте, алый бенаресский платок с золотой бутой[23] развевался, и зрители невольно волновались, что он загорится от пламени свечей. Но танцовщик искусно вращал свечи над головой и подмышками, вызывая у всех восторг.

По просьбе Рагим-бека государь, прикрыв лицо кончиком чалмы как вуалью, присоединился к друзьям, вышедшим полюбоваться простонародным зрелищем. Они смешались с толпой зрителей во дворе караван-сарай. И если мощь богатыря заинтересовала Исмаила, как военачальника, то обаятельные, совершенные, как мечта, движения танцующего посреди двора мютриба ласкали душу поэта. Он глядел на танцовщика и чувствовал себя будто в ином мире. Исмаилу показалось на миг, что он находится у себя во дворце. Хотя золотистый бенаресский платок и прикрывает губы Таджлы, однако эти пухлые, похожие на лепестки роз алые губы выглядят сквозь тончайшую ткань еще более притягательными. Поэту вдруг нестерпимо захотелось сорвать губами эти упавшие друг на друга лепестки. Все тело его напряглось, он задрожал, как в лихорадке. И пришел в себя от внезапного хохота. Мютриб, скинув с головы келагай, пел, кувыркался, сыпал злободневными шутками-прибаутками, высмеивал то Явуза Султана Селима, то убийц кызылбашей — Ширваншахов. Как видно, он узнал, что среди этих богато одетых молодых людей находится сам государь, и очень хотел ему понравиться.

Зрители переговаривались:

— Пах... пах... И это мужчина?! Пепел ему на голову, чего это он женщиной вырядился?

— Такое у него ремесло... Мютриб...

— Нашел себе... И ведь не проваливается от стыда сквозь землю! Бедрами крутит — деньги зарабатывает. Вот про таких недаром говорит: «Ты кровью и потом деньги зарабатываешь, а женушке отдан — так Нурджахан их по ветру развеет». Клянусь, даже обезьяна умней его, а уж медведь...

Один из дервишей, стоявших рядом с Исмаилом и его близкими, проговорил:

— Ну и что ж, что животное! Поэт прекрасно сказал:

Тонкому прутику дать воспитание не пожалеешь труда —

Даже свирелью Хосрова стать он сумеет тогда.

Дервиш прочитал это двустишие каким-то удивительным то-ном... Исмаил терпеть не мог дервишей, особенно типа Элеви — сбивающих волосы на голове, бороду, усы, и даже брови с ресницами; исступленно кружащихся, прыгающих, пугающих людей дикими воплями, заклинаниями поднимающих овес прямо на стены; бездельников и попрошаек, требующих с бедных пахарей «долю предков». Но были у него в среде дервишей и такие друзья и знакомые, широте знаний, глубине ума которых он не переставал изумляться. Среди них были и бескорыстно служившие родине: бросаясь в огонь, на раскаленные угли они прославляли идеи братства — «ахи». Большинство его собственных соглядатаев было как раз из таких дервишей. В народе сложили о них дастаны и сказки, как о «не собирающих дань, а раздающих дань». Они помогали беднякам в самые трудные дни... Но все это выявят исследователи через пять грядущих веков, теперь же Исмаил поверил, что видит перед собой именно философа, образованного и гуманного человека, и почему-то Исмаилу в этот вечер захотелось побеседовать с ним... Сообщив о своем желании Рагимбеку, шах ушел в свой шатер.

...Беседа их началась странно. Хотя он и не назывался — старый, умудренный прожитым и увиденным дервиш узнал его. Исмаилу не пришлось увидеть деда. Он даже отца своего помнил весьма смутно. Но, как все мальчики, он с детства безотчетно тяготел к мудрым старцам, воинственным мужам. Вот и теперь...

— Мой государь, людей необходимо избавить от трех главных бед нашего времени: голода, непрекращающихся войн и еще от гнета местных правителей и сборщиков налогов, изменяющих твоему собственному трону. У тебя не вызывает подозрений правитель, приносящий тебе ценный подарок? Откуда, каким путем он его заполучил?.. Заработок известен, доходы известны — будь же справедлив, государь! Знай, что между молотом и наковальней расплющивается железо, но ни наковальня не страдает, ни молот. Между тобой и правителями, сборщиками налогов находятся твои родные, твои поданные, для которых ты являешься отцом, так заботься о них!

Беседа затянулась до поздней ночи, до первых петухов. Перед ними на скатерти стояло блюдо с пловом, приготовленное хорошенькой невесткой Ибадуллаха, лежали чуреки с аносом, маком, кунжутом, шор с пряностями. В ту ночь Исмаил чувствовал в шатре своем дыхание мучеников — деда Шейха Джунейда, которого никогда не видел, и отца Шейха Гейдара, которого почти не помнил. Как будто именно для этой ночи он забрал останки своих родных и привез их сюда, чтобы они языком этого мудрого дервиша дали ему то наставление, которое не смогли дать при жизни, исполнив свой долг отца и деда.

Дервиш говорил:

— Мой государь! Внущи своим воинам, что знамя, которое они несут, зовет их только к доброму. Человек, не любящий людей, не может быть настоящим кази. Настоящий человек, если он глубоко осознает, что он — сын человеческий, никогда не будет унижен или порабощен кем-либо. Ты скажи им, внущи, что вселенная, которая создала нас, дала людям глаза. А они нужны не для того, чтобы видеть плохие вещи и дурные поступки, а чтобы видеть хорошие. Уши нужны для того, чтобы не слушать сплетни и клевету. Язык — чтобы ни о ком не говорить плохого, только хорошее! Ноги даны нам, чтобы не идти по дурному, неправедному пути. Руки — для того, чтобы творить праведные дела. Все, чем одарила нас природа, что даровано создателем, что дает нам возможность видеть, слышать, говорить — пусть употребят твои кази на добрые дела! Ты скажи им: если они будут жить не верой в будущее, а только сегодняшним днем — к завтрашнему прийти, мой государь, будет не с чем. Нельзя надеяться на «авось», — так можно пошатнуть трон, на котором сидишь. Учись у цветов, тоскующих по весне. Эти слабые цветы знают, что они не увидят, не дождутся весны — и все же любовь к жизни заставляет их упорно поднимать из-под снега свои головки. Если в тебе нет силы и упорства подснежника — пусть тогда поднимет тебя мощь тоски по весне! Чтобы жить, чтобы производить себе подобных...

Дервиш продолжал:

— Твои стихи, в особенности нефесы, пользуются успехом, мой государь! Их читают повсюду, знают наизусть. Ты сочинил их, движимый любовью к языку, впитанному тобой с молоком матери. Этими стихами ты всегда сможешь привлечь к себе людей, позвать на войну, и когда бы ты это ни сделал — увидишь вокруг себя множество их. Но имей в виду, что в твоих стихах религиозные верования ислама сплелись в такой клубок, что и не распутать. Я как-то встретился в Эрзеруме с одним молодым дервишем. Он сказал мне, что из Конии идет искать у тебя правды. Я своими глазами видел, как со всех концов нашей родины стекаются люди, чтобы искать у тебя заступничества и справедливости. И бегущий на тебя уповаёт, и преследующий. Я спросил того молодого дервиша о его беде: «Зачем ты идешь к порогу того, кто славой подобен Искандеру?» — «За истиной», — ответил он. Я спросил: «А в чем твоя истина? Может, у тебя силой отобрали возлюбленную? Или ты хочешь взять меч и присоединиться к тем, кто сражается за веру?» Ведь многие и с разными целями предстают перед тобой — одни хотят стать мучениками за веру, другие ищут славы, третьи — богатства... — «Нет, — сказал он, — ничего из перечисленного тобой не волнует меня. Я хочу найти того, кто обладает истинной верой, хочу найти самый тонкий и верный путь мудрецов. Я прочитал много стихов Хатаи, но все же не разобрался — кто он? Во что верует? Какой секты — суфий, бекташи, хуруфист, негшбендист, батинист, шиит ли? Или соль всех этих учений, мессия, пришедший, чтобы объединить всех мусульман, в одной вере?! Потому что в его стихах я нашел начала всех учений...». Рано или поздно этот молодой дервиш предстанет перед тобой государь. Не оставляй его без надежды, да и никого из окружающих тебя людей. И еще: не верь наставлениям тех — и моим в том числе, — с чьими поступками ты не согласен, мой государь!

...Старый дервиш напомнил ему край дервишей — Конию. Это произошло во время его первого путешествия в Турцию...

Двенадцать крепостных ворот Конии крепко-накрепко запирались каждую ночь. Даже птица не могла бы проскользнуть здесь незамеченной. Ворота Догу, ворота Баты, ворота Хелгебекуш... Исмаил вместе со свитой посетил все достопримечательности города: караван-сараи, медресе и мечети. Ему очень понравились караван-сараи Пиринджчилер, мечеть Шекерчуруш, медресе Алтун-аба, мечеть Сырджалы с резным мицбером —

кафедрой для проповедника. Восхитили его похожая на ювелирное изделие из мрамора мечеть Инджаминаре, выложенная фарфоровым кирпичом, с причудливой вязью орнамента из слов Али; мечеть сахиб Ата, — Гранатовый садик, сад Марьям, гробница Трех, монастырь Дейри-Афлатун, баня Гумрулу. Мудрецы рассказывали ему, что в Конии «спят двенадцать султанов». Говорят, мовлевинцы спросили у пира Джалаледдина: «Что такое любовь?» — А он ответил им: «Будьте мной и узнайте! Подлинная Кааба — это не здание, построенное из земли и камня. Жилище бога — в сердце настоящего человека, которого он сотворил. Найдите его и поклоняйтесь ему».

Хотя его злили мовлевинцы, их «поклонения» посредством игры на свирели, на барабане, на бубне, — но прекрасные здания Конии изумили и покорили его. Он вспоминал сейчас о них, слушая дервиша, и думал: «На земле моих предков, в родном Ардебиле, я тоже непременно должен воздвигнуть для дорогих мне людей такие мавзолеи и гробницы. Мы собрали мастеров отовсюду, но лучше тех мастеров, что на моей родине, все равно нет. Историки свидетельствуют что самые прекрасные памятники таких городов, как Бухара и Самарканд, созданы руками тебризских мастеров. Гробницу Тюмена-аги украсил шейх Мухаммед ибн-Хаджа-бек Тебризи. Из Самарканда, Бухары мы вызовем помощников для наших ардебильских мастеров. Надо сказать, и в Баку, на АбшурANE мастера отлично выполняют каменные работы, строят сводчатые дома, которым не страшны землетрясения. Их я тоже велю привезти. Я преследую лишь одну цель: гробница, которую я воздвигну моему деду и отцу в Ардебиле, должна затмить памятники и мавзолеи Самарканда, Бухары, Конии, Наджафа, Кербелы. Только тогда смогу я спокойно уйти в иной мир и предстать там перед отцом и дедом».

Долгий путь, а также душевные страдания, преследующие его в этом нескончаемом странствовании, пробуждали в нем и другие мысли. Он решил, что займется благоустройством дорог, наведет мосты через реки, а в безводных степях через каждые два фарсаха! велит поставить большие кувшины с водой. В каждом селе для всех странствующих будут выстроены почлежные дома ширазского типа и специально выделены смотрители этих домов... Чтобы в метель или иную непогоду не заблудились усталые путники, на дорогах будут воздвигнуты указатели — столбы, груды камней, а через каждые два-три фарсаха[24] необходимо устроить хорошие водоемы... Мечети, караван-сараи и бани украсят большие города...

Это медленное продвижение по дорогам в составе траурной процессии оказалось очень полезным для грядущей славы государя — Шаха Исмаила.

* * *

Читатель мой! В самом начале нашего с тобой пути были названы четыре имени: Бибиханым-Султаным, Айтекин, Шах Исмаил и дервиш Ибрагим — и каждому из них мы должны незримо сопутствовать в этом многолюдном и многострадальном, как и мир, который мы описываем, повествовании. С тремя мы уже давно разделяем их трудный путь, пора присоединиться к нам и четвертому спутнику. Дервиш с душой поэта, поэт с душой дервиша — Ибрагим, один из двух братьев-близнецов, подаренных изгнаннику несчастной родины Гаджи Баширу турчанкой Ляман-ханым. Считается, что сбываются материнские молитвы и отцовские проклятия. Пусть над ребенком никогда не будет

тяготеть отцовское проклятие, а пребудут с ним постоянно материнские молитвы! И со мной тоже...

14. РАЗЛУКА ТЯЖЕЛА

Нэсрин помнила письмо Ибрагима наизусть — его просто невозможно, немыслимо было не выучить, тысячекратно повторяя каждое слово! И сейчас девушка шла, а в сердце ее в такт, как стоны тамбура, стучали тревожные и дорогие строки:

В чужедальние края лежит начертанный мне путь,

Только еще раз бы на лицо твое взглянуть.

Ухожу, твоим заступником теперь кто будет?

На кого тебя оставлю я, лебедушка моя?

«О аллах, правду ведь говорит: ушел — и осталась я без заступника. Разве будет мне заступником палач-отец, ничего не соображающий, все помыслы которого заняты лишь обеспечением новобранцев, а что может моя больная мать, невольница в ею руках, которая ничего не знает, кроме рабского «да-да» в ответ на все, что бы он ни сказал, и чьих сил хватает лишь на то, чтобы вечно лить слезы из полуслепых глаз?! Велико мое горе, о великий создатель!»

А нефес-гошма вторил голосу ее сердца:

Не погибнет любовь, пока жизнь моя длится,

Ты нежна, как лебедь белая, лебедушка моя!

Лишь бы смилиостивился аллах, освободил из темницы —

Ты тогда мою станешь, лебедушка моя!

«О аллах великий, где эта темница? Я не разбираюсь в делах Ибрагима. О боже, услышь его, пусть его нефес сбудется, пусть он избавится от неведомой мне опасности, освободится из темницы — и он порадуется, и моя душа возвеселится!»

Следующая строфа вызвала в сердце Нэсрин трепет отчаяния.

Что суждено судьбой — нельзя узнать, оказывается.

Любимой голос не стереть из памяти, оказывается.

И не смешно, коль горе перельется через край, оказывается,

Спроси у ветров обо мне, лебедушка моя!

«О что за ужас! Что с ним произошло? Почему я должна узнавать о нем у ветров? Ну да, ведь вначале он сказал: «На чужбину путь мой лежит! Я не вынесу этого горя, мой дервиш! Почему мне нельзя уже называть тебя Ибиш, как в те нежные детские годы? Почему все стали называть тебя «дервиш», почему не тем именем, которым нарекли тебя отец и мать?» А мысли уже устремились за другими строками:

Все сердце отдаю — так ты мне дорога.

Пока тобой дышу — меня не одолеть врагам.

Дай только разорвать мне цепи на руках —

Вернусь, мою стань, лебедушка моя!

«Да услышит тебя аллах, да сбудутся твои слова, мой дервиш! О великий творец, создавший землю и небо! Интересно, смогу ли я отыскать его там, среди дервишей, лохмотьев которых испугался бы джинн? Боюсь: не опоздала ли я?» Эти опасения заставили девушку ускорить шаги. Она бережно прижимала к груди небольшой узелок с жертвоприношением — предлог для встречи с дервишами. «Скажу ему: дервиш, в этом смертном мире прости меня! Но открыта, скажу, моя рана, и не затянуться ей! Не одна, не пять, не пятнадцать горестей, скажу, у меня. Скажу: вы называете двуличными тех, у кого на душе и на языке разное. А сам ты разве не предал меня, не разнялся разве слова и поступки твои? На словах ты любишь меня от всей души, а как же душа твоя может спокойно оставить меня во власти безвольной матери и палача-отца?!»

Сидевший на краю площадки дервиш беседовал со своим односельчанином, приехавшим, как видно, по делам. Бедняга крестьянин никак не мог понять, что к чему в словах дервиша, не смог уяснить, к какой секте тот принадлежит. Он обстоятельно расспрашивал земляка, чтобы, вернувшись в село, рассказать его родителям о встрече с ним, обрадовать их, но найти с ним общий язык, как ни старался, никак не мог. Вопросы и ответы невпопад выглядели курьезно:

— Ты, родной, на поклонение в Мекку ходил? Говорили у нас: паломничал вроде бы, лицом черного камня коснулся?

— Нет! По моим убеждениям, предпочтительнее поклонение гробнице шейха Сафи в Ардебиле.

— Из какой ты секты?

— Элеви.

— О-о, вот это да, так и скажи — я, мол, гызылбаш! Хорошо, а кто твой святой?

— Властитель трех, основа семи, всепобеждающий лев бога, Алиюл-муртаза, гейдарикеррар.

Проходивший поблизости горожанин не выдержал, вмешался:

— Эти турецкие дервиши все таковы! Слушай, ну что ты затянул, только голову морочишь бедняге. Скажи сразу: Али — и все!

Нэррин шла вперед, и перед ее мысленным взором оживали детские годы Ибрагима, неотделимые от ее собственных. Воображение ее так разыгралось, что она шла и представляла себя сейчас вместе с ним на пустыре, полном заросших травой рвов и ям. Ах, как любили они детьми перепрыгивать через эти рвы и ямы! Порой Ибрагим наматывал на руку концы ее длинных кос, как поводья коня, и с криком: «Ну, Черноглазка, пошла!» скакал за ней. Девочка неслась по пустырю вскачь, подражая саврасой кобыле дяди Сафи, и издавала на ходу ржание. Самой лучшей игрой у них тогда были эти «лошадки»! В те времена сердца их бились в унисон. В те далекие годы Ибрагим составлял с ней единое целое, как составляет он теперь единое целое со своим богом. Эти косы, эти бьющиеся в такт сердца, этот общий — шаг в шаг — бег привязали их друг к другу. Причем привязали так, что ни Нэррин, ни Ибрагиму уже не вырваться. Изначально загоревшийся огонек не хотел, не мог затухнуть. Но ведь если бы даже купец Гаджи не сказал ни слова, если бы не возражали и матери — все равно, достаточно было одного жеста палача Меджида, чтобы их оторвали друг от друга и уничтожили. Да и эта разлука сама по себе уже означала их уничтожение... Нэррин вдруг почудилось злобное лицо отца; с болью в сердце вернулась она в сегодняшний день от того невозвратного времени, от милых игр их детских лет, из дней, когда она на дне какой-нибудь ямы разводила огонь и в разъедающем глаза дыму щепок «варила вкусный обед» для Ибрагима. А вот теперь она, лишь представится возможность, со слезами на глазах спешила в конец рыночной площади, где собирались дервиши. Сюда приходили в сопровождении рабов знатные госпожи из тех, что имели заветные желания, или же те, чьи желания счастливо исполнились. Они приносили дервишам милостыню. Нэррин тоже присоединялась к этим госпожам, приносящим милостыню во имя исполнения желаний, и лишь поплотнее закутывалась в чадру, чтобы случайно не попасться на глаза отцу, заготавливающему на рынке провизию и фураж для войска, да еще надсмотрщику Исрафилу — брату-близнецу Ибрагима.

Каждый раз, когда она приходила на это место, Нэррин испытывала странный интерес к группе дервишней, разместившейся несколько поодаль в стороне от базарного шума и гомона. Отец ее почему-то был очень зол на этих дервишней. «Все они ненормальные, — говорил он, — не подчиняются ни религии, ни султану. Все они — рабы Али, удалились от четырех святых халифов, поклоняются только одному имаму Али, обращают лица не в сторону святой Мекки, а в сторону Ардебиля».

...Молодой дервиш приблизился к Ибрагиму, и губы его едва заметно шевельнулись.
Звали дервиша — Салим.

— Шах!

Это был условный знак: по этому возгласу единомышленники узнавали друг друга.

— Шах! — получив ответ, Салим метнул взгляд на базарного надсмотрщика. Тот, казалось, был всецело занят разговором и не обращал никакого внимания на дервишем:
Тихим голосом Салим сказал Ибрагиму:

— А здорово он на тебя похож, мудрец! Если бы одного его увидел, так решил бы, что это ты дослужился до чина смотрителя.

В глазах Ибрагима что-то сверкнуло и тут же погасло, как будто милосердие, выглянув на мгновение, в ту же минуту обратилось в ненависть.

— Ты не ошибся. Это мой брат-близнец.

— О господи!

Да, бывают у судьбы и такие забавы. В одной колыбели спали, из одной груди вкушали жизнь: я — с одной стороны, он с другой. Если бы тогда, в люльке, я мог предвидеть будущее там же и удавился бы.

Дервиши выглядели странно. Некоторые, например, дервиши Элеви, не ограничиваясь сбриванием усов и бороды, сбивали также брови и ресницы. У них были странные наряды, странные движения. Кто сосал кальян, кто безостановочно вертелся на одном месте до обморока, до появления пены из рта, вращался быстро, как юла. Группа, в которую входил Ибрагим, отличалась тем, что каждый ее член, облаченный в чистую белую одежду, спокойно сидел на одном и том же месте, обхватив руками колени. Эта группа не была и жадной: не клянчила, не кидалась за милостыней, а, принимая ее, вела себя достойно и почтительно. Большинство ее, за исключением одежды, ничем не походило на кричащих, скачущих, вертящихся вокруг своих собратьев дервишей-обор-ванцев.

Однажды Нэсрин незаметно приблизилась к группе Ибрагима. Девушка подошла слева, а справа от Ибрагима сидел какой-то горожанин, и они были так увлечены разговором, что даже не почувствовали присутствия «сестрицы, принесшей пожертвование».
Любопытный разговор шел между Ибрагимом и горожанином. Другие дервиши молились, то есть перечисляли имена аллаха, что заменяло им намаз. А между тем, услышанная девушкой беседа была странной, очень странной...

— Что ты сосешь, дервиш?

— Я ем кусок моши.

— А почему же ты такой желтый, мудрец?

— Я боюсь моши.

— Почему твои глаза налились кровью, дервиш?

— Вижу предателя.

— А где твой дом, твоё жилище, мой господин?

— Впадины, пещеры, укрытия под скалами, куда не проникают ни дождь, ни солнце.

— А есть ли у тебя постель, мудрец?

— Тюфяком мне служит мать-земля, одеялом — бирюзовые небеса.

— Чему ты молишься, дервиш?

— Кроме слова «истина» ничего не повторяю, ничему другому не молюсь.

— Во что ты веруешь, мудрец?

— Во что можно веровать больше, чем в истину?!

Какое-то внутреннее чутье подсказывало Нэсрин, что эти вопросы и ответы утомили Ибрагима, довели его до бешенства, иначе бы не ответил он вопросом на вопрос. Невольно рука девушки под чадрой коснулась косы — и, будто концы этих кос были привязаны к сердцу Ибрагима, — он тотчас же тревожно обернулся, увидел позади себя закутанную в черную чадру стройную фигурку Нэсрин, и в самом деле похожую на белый цветок дикой розы. Содрогнувшись от внутреннего трепета, он привстал, невольно потянулся к Нэсрин... Но тотчас понял свою ошибку: ведь он не должен был показывать, что узнал девушку. Ибрагим поспешил опустить голову, положил подбородок на согнутые колени, забубнил молитву:

— У... я Рагим... У... я Рахман... У... я Джаббар... У... я Гаххар...

У Нэсрин туже подкосились ноги. Как ветка розы, надломленная шаловливой детской рукой, девушка рухнула на колени:

— Мой господин! Я пришла к тебе с просьбой...

— Да исполнит твою просьбу господин всех праведных желаний Али...

А сегодня Нэсрин дойдя до окраины базара, не увидела на обычном месте дервишей. Она присоединились к женщинам, принесшим пожертвования, и долго ждала, не решаясь развязать узелок и подать кому-нибудь милостыню. Стояла, пока не начали дрожать колени. Наконец, прижав к едва сдерживающей рыдания груди узелок с подаянием, как память об Ибрагиме, Нэсрин покинула пристанище дервишей и направилась домой. Глаза девушки наполнились слезами, тяжелые капли скатывались по щекам, на смену им уже спешили другие... Маленькое, но любящее сердце Нэсрин рвалось из груди, колотилось так, как тогда, в детстве, когда Ибрагим, обмотав вокруг руки ее длинные косы, играл с ней в «лошадки», а у Нэсрин от быстрого бега сердце, казалось, билось уже во рту...

Проходя мимо последней группы дервишей, Нэсрин скорее почувствовала, чем услышала, родной до боли голос:

— Асадуллах, Ядуллах, Шируллах...

Это был Ибрагим, его голос! Опустив голову, он читал своеобразную молитву дервишей элеви, состоящую в перечислении-данных шиитами имаму Али имен: лев аллаха, рука аллаха, Нэррин оглядывалась по сторонам: где ж Ибрагим? Ах, вот он, оказывается, справа, в двух шагах от последних дервишней, на самом краю базара. Примостившись на корточках, он усердно произносил молитву, стараясь, чтобы Нэррин услышала в общем шуме его голос. «Как же случилось, что я его до сих пор не заметила? Почему не подсказало мне сердце, что Ибрагим здесь, совсем близко? Боже, ведь я могла уйти домой, так и не увидев его! Но значит, он здесь, он не ушел? А может, он раздумал? Может... Нет, Ибрагим не такой человек! Он не мог не знать, в какое состояние приведет меня его письмо. Видно, он пришел сюда в надежде меня увидеть — не поверил, тоже не поверил, что я не приду! Не захотел уйти, не повидавшись со мной».

Нэррин опустилась на колени перед дервишем и, нагнув голову, стала развязывать узелок. Тихо, чтобы только Ибрагим мог услышать ее, девушка зашептала. Нэррин торопилась, долго оставаться коленопреклоненной перед дервишем ей было нельзя: кто-нибудь мог обратить на это внимание, догадаться!

— Ибрагим, — шептала робко она, — идешь ли ты на войну или просто путешествовать будешь по свету, ждет ли тебя опасное дело, вернешься ли ты — не знаю, и не вправе сказать тебе: не ходи. Но где бы ты ни был — пока меня не положат в гроб — я буду ждать тебя.

Плечи Нэррин под чадрой вздрагивали от безудержного плача. Ибрагим не мог этого вынести.

Девушка скорее почувствовала, чем услышала похожий на легкое дуновение ветерка мягкий голос:

— Мои братья вчера покинули этот край, а я не мог уйти, неповидавшись с тобой, Нэррин. Они отправились к святому месту, а я не мог уйти, еще раз не увидев тебя!

15. ОБРЯД СМЕРТИ И ВОСКРЕШЕНИЯ

Ибрагиму был назначен сорокадневный срок воздержания — почти полный пост. Он хотел выдержать тяжелое испытание сейчас, еще до того, как попадет в Тебриз, а потом в Ардебиль. Его духовный наставник одобрил эту мысль. Среди тех, кто провожал Ибрагима в обитель, были и старцы, и друзья-единомышленники, и женщины-единоверки. Пещера была тесной, темной и сырой. Ибрагиму показалось, что это та самая пещера, в которую вошел Асхабукэлб[25] и сейчас, как только он войдет, появятся гигантские пауки и затянут вход в пещеру паутиной. На несколько сот лет, а может быть, и навсегда, оторвут его от мира и соединят с богом. Ибрагим внутренне содрогнулся, но виду не показал.

Кто-то, улыбаясь ему, внес в пещеру кувшин и хлеб в платочек. В течение сорока дней он должен будет довольствоваться лишь этим отмеренным количеством воды в кувшине и хлеба в платочке. Его духовный отец говорил ему, что наиболее набожные из вступающих

в секту умудряются и из этой скучной доли сберечь некоторую часть — для птиц небесных...

Ибрагим заторопился. Поцеловал руки старым мудрецам. Потом расцеловался с ровесниками. С улыбкой попрощался с женщинами-единоверками. Услыхал, как кто-то вслед ему произнес «О Шаки-Мардан, помоги ему!» Это было последнее, что он услышал.

Пещера шириною в четыре, а длиною в шесть шагов была выше человеческого роста на длину вытянутой руки. В одном углу — земляной топчан, в другом, в вырытой ямке, кувшин и на возвышении — завернутый в платок хлеб. В сумраке пещеры и платок потемнел, будто поблек белый цветок, не распустившись... Весь мир сегодня, казалось, был залит ароматом дикой розы, словно Нэсрин незримо присутствовала здесь. Вход в пещеру наглоухо завалили, и с этого дня он отдалился от мирских сует и благ...

О чем только не передумал Ибрагим за эти сорок суток, в течение которых он не различал ни дня, ни ночи! Сначала его мучил, неотступно преследовал образ Нэсрин. «В разлуке с тобой нет жизни», — думал он, не решаясь, впрочем, даже мысленно произнести имя девушки. Он безуспешно старался изгнать ее из своей памяти, сердца: ведь подлинный суфий, мистик, каким стремился он стать, не может жениться, потому что душа его целиком отдана аллаху. Разве не ради слияния с богом он принял это решение быть погребенным заживо? Так что же это за разъедающие сердце и мозг мысли? Он медленно поднялся с колен. Вдохновение молчало: ни одна строчка не будоражила его суть. Поэтому Ибрагим стал громко читать первое пришедшее ему на ум стихотворение Хатаи, и, выговаривая строки, закружился на месте. Быть может, религиозный экстаз поможет отдалить такие заманчивые, но теперь, когда он находится наедине с богом, ненужные воспоминания недавнего прошлого?

...Он выполнил все полагающиеся обряды, но с богом соединиться так и не смог. Противоречивые мысли мешали сосредоточиться, не давали покоя. Но, вспоминая людскую нищету и горе, он вдруг понял, что, не сумев найти в этом мире ничего — ни благополучия, ни счастья, весь обездоленный люд обратил свой взор в потусторонний мир, к главам сект, обещавшим на том свете светлые дни, счастье, равенство. И он тоже. Дервиши, называя себя шахами и султанами, заявляя людям о равенстве всех перед богом, бросали дерзкий вызов могущественным деспотам. Кельи, пещеры, караван-сараи превратились в кафедры для проповедей этих дервишей — «шахов» и «султанов». Эти «кафедры» стали кыблой, очагами надежды для обездоленных. Постепенно Ибрагим начал понимать, что эти кельи для муршидов вовсе не кыбла, не врата подземного царства: они — тайные центры, точки опоры в борьбе против политических врагов, используемые для захвата власти. В любое время под предлогом священной войны они могли поднять на борьбу обездоленных, натравить их на своих политических врагов.

Люди оставляли свой дом и очаг, собирались вокруг келий и внимали молитве и обещаниям муршида, как голосу бога...

Сердце Ибрагима разрывалось между теми и другими: обманывающими и обманываемыми; надежды сменялись сомнениями. Он свято верил своему духовному отцу, но хотел помочь обездоленным людям не на страшном суде, а на этом свете, именно на этой земле. Может, это сумеет сделать тот, думал Ибрагим, кто призывает к себе обездоленных, Шах Исмаил?

Не вставая с места, Ибрагим протянул руку к ямке, взял кувшин и, приложив к губам, отпил глоток — всего лишь один глоточек воды. Сколько раз он уже брал в руки этот

кувшин, сколько воды уже выпил — он не знал. Есть не хотелось. Губы шептали исполненные надеждой строки. Но сейчас Ибрагим молил не бога, а поэта Хатаи, ревнителя веры, шаха — сына Шейха Гейдара?

Гнет достиг вершины, пощадите же нас,
Отворитесь, двери, перед шахской милостью!
Ни пощады, ни надежды не осталось и следа,
Отворитесь, двери, перед милостью шаха!

Путь в Ардебиль затерялся в тумане,
Кровью невинных залита плаха.
Рабы Али — кто убит, кто ранен —
Отворитесь, двери, милостью шаха!

Сердце мое гневом переполнилось,
бедный дервиш стал Ибрагимшахом.
Хоть надышаться позвольте вволю!
Отворитесь, двери, милостью шаха!

...Когда тяжелый камень отвалили от входа в пещеру, сияние утра на миг ослепило глаза добровольного затворника. Губы его были бесцветны, лицо желто, как воск. Только грудь тяжело вздымалась: Ибрагим жадно глотал воздух свободы. Оглядевшись кругом, он вдруг почувствовал, как уходит из-под ног земля, и в забытье услышал чей-то возглас: «Держите, упадет!», — и потерял сознание.

* * *

На окраине рынка, где сидели обычно дервиши, собралось много народа. Была пятница, базарный день, и многие, закончив неотложные дела, пришли из сел со своими

пожертвованиями и приношениями к дервишам, чьи просьбы и молитвы, считалось, исполняет бог. В центре площадки, окруженный людьми, стоял молодой дервиш в белоснежном балахоне. Собравшиеся внимали его словам, как божьему благословению. Ибрагим с вдохновением читал стихи Хатаи, любовь к которому была в его сердце, а слова — на устах.

Вдруг на площадку налетели вооруженные с головы до ног стражники. Окруживших Ибрагима людей хватали, били дубинками по головам, связывали руки и оттаскивали в противоположный конец рынка, под охрану янычар.

Вначале Ибрагим не понял, что происходит. Он читал стихи так увлеченно... Внезапно руки его грубо завели назад... Не понимая, в чем дело, почему ему скручивают руки, он удивленно оглянулся. И лишь увидев разъяренное лицо своего брата-близнеца Исрафила, осознал все до конца.

— А, это ты?

— Будь ты проклят, — прошипел Исрафил. — Читаешь стихи сына Шейха Гейдара, поднимаешь людей против нашего султана! Довольно уже ты позорил семью! Теперь султан сам накажет тебя

Ибрагима бросили в темницу. В этот день во многих городах Анатолии было арестовано сорок тысяч шиитов, и не прошло и дня, как их всех зарубили мечами — сразу, без допросов и дознаний!

А Ибрагима решили покарать так, чтобы другим неповадно было. Он-то был не нищим неграмотным шиитом, а сыном известного купца, поэтом, чьи стихи будоражили чернь. Сцена его казни должна стать зрелищем для населения — поучительным зрелищем?

ВИСЕЛИЦА

Янычары гнали всех, от мала до велика, подгоняя дротиками на площадь. До вечера времени оставалось немного, но, несмотря на это, правитель города хотел исполнить приговор сегодня же? повесить Ибрагима до наступления второго азана. Площадь уже была очищена и выметена. Прямо в центре была сооружена виселица. Одетый во все красное палач стоял под виселицей и намыливал веревку. На одной стороне площади, на возвышении был устроен трон. На троне восседал правитель. Рядом с ним на лавках, обшитых тирмой, сидели ответственный за исполнение приговора верховный священнослужитель и помощники правителя. Здесь же был и базарный смотритель — братоубийца Исрафил. Стоял, готовый выполнить любой приказ.

Правитель взмахнул белым платком, зажатым в руке, и под виселицу подвели окруженного несколькими янычарами заключенного. Ибрагим был в белом одеянии.

Султан не простил его, утвердил смертный приговор. Потому что поэт и в тюрьме не успокаивался, сочинял и громко читал стихи о трагедии тысяч шиитов, зарубленных мечами в Анатолии. В них он заклеймил проклятьем Султана Селима. И вот особый приговор с пышной торжественностью приводился сегодня в исполнение.

Ибрагим казался спокойным. В окружившей площадь толпе многие ахали, сожалея о погубленной молодости и красоте дервиша. Вытирали слезы закутанные в чадры женщины.

Забил барабан. Под его неумолчный стук зачитали приговор, и палач подошел к Ибрагиму. Правитель, вопреки древним обычаям не позволил осужденному произнести последнее слово. Темнело, и азанчи, поднявшись на минареты, готовились пропеть «ла-илаха иллаллах». Надо было спешить с исполнением приговора, чтобы успеть к вечернему намазу. Еще утром, посетив осужденного, духовник доложил правителью, что молодой дервиш отказывается изменить своим убеждениям. Тем самым был перерезан последний путь к спасению: виселица была неизбежна. Все взгляды были устремлены на Ибрагима, а взгляд палача — на правителя. И снова поднялась правая рука с зажатым в ней белым платком. Этого-то и ждал палач: он ведь тоже торопился, опасаясь, и не без оснований, дервишем элеви. Он искося, боязливо поглядывал на дервишем, затесавшихся в окружившую площадь толпу: не дай бог, нападут, вырвут из его рук осужденного, а самого ведь затопчут ногами, уничтожат. Еще не опустилась подавшая знак рука правителя — а уж палач торопливо накинул намыленную веревку на шею юноше. В Ибрагима полетели камни, их бросали янычары и набожные люди. Когда Ибрагим увидел среди них и своего брата-близнеца Исрафила с камнем в руке, он только глубоко вздохнул: «Странно, иногда события в истории повторяются, почти буквально. Когда Халладж Мансур сказал о себе, что он — бог, и был приведен на виселицу, среди толпы был и его друг, суфий, по имени Шибли. Он стоял с цветами в руке и, оказавшись в безвыходном положении, бросил в Мансура эти цветы. Бедный Мансур горестно застонал, и удивленный палач спросил его: «На камни ты внимания не обращал, отчего же охнул, когда в тебя бросили цветы?» — А Мансур ответил: «Они не знают меня, не понимают, в кого кидают камни. А Шибли знает». И вот она, ирония судьбы: мой брат, Исрафил, с которым вышли из одного чрева, лежали в одной колыбели, сосали одну и ту же грудь...»

Стоявшие в разных концах площади, замешавшиеся в толпе дервиши, увидев, что на шею Ибрагима уже накинута веревка, стали хором повторять: «ху!», «ху!». Со всех сторон раздающиеся звуки «ху!» сотрясали площадь. Все в растерянности смотрели на правителя: ведь «ху» означало «бог», и как заставить умолкнуть, бросить в темницы людей, если они призывают «бога»?!

Правитель поспешил вскочил с места, в третий раз взмахнул своим платком. И палач уже приготовился ловко выбить табурет из-под ног осужденного... Но тут дервиши элеви под предводительством Салима прорвали кольцо толпы. Оказалось что на казнь собралось довольно много сторонников сына Шейха Гейдара. Все еще сотрясая площадь звуками «ху», они в одну минуту обезоружили воинов, окруживших площадь, и бросились в сторону правителя: началась паника. Почувствовав решительность толпы, правитель и его приближенные торопливо вскочили на коней и ускакали с площади. И так же спешно рассыпались кто куда преданные им люди. А те, кого пригнали сюда насилино, радостно приветствовали дервишем и, видя, что виселица пуста — жив, значит, узник! — заспешили по своим делам. И в этот момент с минаретов вознеслась в небо молитва, призывающая мусульман к совершению намаза. Стемнело; под виселицей остались лишь двое стражей — Гани и Салим, снявший с шеи Ибрагима намыленную веревку. Палач уже давно скрылся, как только на площади начались беспорядки.

Южная ночь, как всегда, опустилась внезапно. Площадь окутала плотная мгла. И такие же черные, как ночь, тени медленно окружали виселицу. Страж Салим обратился к Гани:

— Слушай, если только тебе жаль оставлять своих детей сиротами, и очень дорога жизнь — беги и ты.

Вокруг них уже кипела рукопашная между черными тенями и еще оставшимися на рыночной площади редкими стражниками. Салим едва успел договорить — три тени, приблизившись к виселице, произнесли:

— Шах!

— Шах! — отозвался поддерживавший Ибрагима Салим.

Подошедшие стали помогать ему. И вскоре дервиши уже покончили со всеми. Гани остолбенело наблюдал за происходящим, не в силах, казалось, ничего понять.

Один из дервишев подтолкнул к виселице вырывавшегося из руксмотрителя Исррафила, ловко сунул в петлю шею, потянул веревку — и брат сменил брата. Ибрагим отрешенно смотрел на своих спасителей. Его, бесчувственного, взвалили на спину Салиму и, помогая ему, все направились к «Гэвил Ери» — обычному месту встреч дервишев элеви.

Салим шел, не чувствуя тяжести, стараясь воспоминаниями заглушить в сердце боль и грусть. «Боже, уж не опоздали ли мы? Тогда впору умереть от горя! Но, что бы ни говорили братья-дервиши, верный путь я нашел только в своем сердце, и с тех пор поступаю так, как считаю нужным». Он вспомнил диалог пира, принимавшего его в братство: «О юноша, вступающий в ряды дервишев, есть ли у тебя желание и мужество искать и молиться истине?» — Он ответил: «Есть!», но при этом подумал: «Что толку в одной только молитве? Когда они помогали? Дело нужно делать, мой пир, дело!» — Потом пир сказал: «От подлинно влюбленного требуется особое настроение. Если нет в тебе решительности, нет уверенности, если склонен к обману — не вступай на этот путь! Наш путь — путь лишений, путь познания себя, сможешь ли ты встать на путь истины, доказать делом любовь к людям?» — Кто спросит с меня дело — отвечу делом, мой пир!» А разве я е прав? Ведь вот отозвался же я на призыв: «Ху!». Я спас для нашего мира поэта, которому нет равных ни в нефесах, ни в мужестве, ни в человечности. Пусть великий творец продлит его дыхание! О боже, не лишай меня надежды! Ведь он и друг мне, Может, у него разорвалось сердце от страха, а может, он потерял сознание от перенесенных страданий? Хоть бы очнулся! Боже, дай ему сил!»

Салим не ощущал тяжести друга, хотя за спиной тело постепенно обмякло, становилось вялым. Он шел быстрее всех и беззвучно молился. Чем глубже окунались они в темноту ночи, тем прохладнее становилось. Легкий ветерок развеивал скопившийся за день зной. Путь их лежал в известные им пещеры. На окраине города они различили в окружающей тьме силуэты людей и коней. Кто-то произнес: — Шах!

В ответ прозвучало: «Шах», и молодые люди с обеих сторон убрали руки с дротиков, кинжалов, ятаганов. Это были друзья, поджидавшие тех, кто пошел выручать друга. Они же должны были обеспечить маленькую группу конями и сопровождать ее, защищая, если понадобится, от регулярных войск султана.

Салим вскочил на коня и хотел было взять бесчувственного друга на руки, но кто-то посоветовал ему посадить потерявшего сознание поэта на седло позади и привязать. Так и поступили, к отяжелевшей голове Ибрагима легла на плечо Салиму. Временами Салиму казалось, что он ощущает слабое дыхание Ибрагима, чувствует на своей шее тепло его лица. Надеясь на то, что друг жив и вот-вот очнется, Салим начал с воодушевлением

читать нефес, написанный Ибрагимом, до того, как пришла весть о трагедии сорока тысяч шиитов:

Пришел я к твоему порогу, мой шах, сын шейха,

Пощади, смируйся, пропадаю!

Ты — моя святыня, мое прибежище, сын шейха,

Пощади, смируйся, пропадаю!

У чужеземных друзей твоих горе сегодня!

Продажные солдаты все пути нам отрезали,

Ветром с гор летит хищная стая казн,

Горе нам! В земле Рум[26] всех шиитов зарезали.

Пощади, смируйся, пропадаю!

У чужеземных друзей твоих горе сегодня!

Верблюды твои в наем идут. Встану я,

С врагом помериться силой дай мне!

Кровью шиитов окрасилась Кония —

Шах мой, смируйся, пропадаю!

В чужой земле вся надежда на тебя сегодня!

Кого я знаю в этом бренном мире? — Троих.

А семеро цель меня видеть научат.

К чаше, что в руках сорока, я приник.

Сегодня пролилась кровь сорока тысяч мучеников!

Шах мой, смируйся, пропадаю!

У друзей твоих горе сегодня!

Дервиш Ибрагим — раб твой, Хатаи,

Да достигнут небес мои стоны!

Пусть наш избавитель, святой Али,

Милосердный свой слух к ним преклонит.

Собирайтесь, дервиши, и к шаху идите: последний наш день наступает!

И все же Салим испытывал тревогу. Ему показалось, что дыхание, еле теплившееся на холодных, бесчувственно касающихся его шеи губах Ибрагима, угасло, что бессильно приникшая к его плечу голова стала безжизненной! Ужас охватил молодого человека. Он так пришпорил коня, что тот сразу перешел в галоп от широкой иноходи. И Салима, и привязанного к его спине Ибрагима сильно тряхнуло. И тут Салим услышал стон, слабый стон, еле донесшийся до него вместе с легким, как дуновение ветерка, дыханием Ибрагима.

...Было уже за полночь, когда они, наконец, добрались до места и старый пир Нифталишах встретил их у входа в пещеру. Пир опирался на длинный посох. Всадники спешились. Ибрагима отвязали от Салима и в сопровождении пира внесли в освещенную факелами пещеру. Здесь уже все было готово к их приезду. Опытный старый врач-дервиш еще накануне подготовил из одному ему известных трав различные целительные снадобья. Ибрагима бережно опустили на разостланную прямо на земле мягкую шкуру. В первую очередь врач, расстегнув ворот рубашки, приложил ухо к его груди и взялся за пульс. Все дервиши во главе с пиром Нифталишахом окружив их, в тревоге следили за каждым движением врача, словно ждали приговора: ни один не осмеливался опуститься на землю, передохнуть после утомительной скачки. Все ждали, затаив дыхание: жив Ибрагим или мертв? Есть ли надежда? Может быть, разорвалось сердце, лопнул желчный пузырь? Только бы не был напрасен их труд, их риск! Только бы не умолкли навек эти уста — знамя их сообщества, только бы остался жить их поэт! Или... или сейчас пир Нифталишах обмоет его тело, обернет его в саван, и дервиши, проливая слезы, выроют ему могилу, гневно вонзая в землю каждую кирку и лопату так, как мечтали бы они воткнуть их в сердце врага?!

Старый врач поднял голову. Ни радости, ни печали нельзя было прочесть на его суровом лице. Но и безнадежности не было в этих прозрачных, как холодный родник, глазах, прячущихся под белыми мохнатыми бровями. Обведя всех взглядами, врач остановился на Нифталишахе и сдержанно, как это свойственно пожившим людям, проговорил:

— Ху!... Вся надежда на бога, братья. Очень здоровый организм, он должен выдержать. Вот только обессилел он...

У Салима, у Нифталишаха, да и у всех дервишей, окруживших Ибрагима и врача, будто гора с плеч свалилась. Они уже похоронный обряд совершать собирались, а тут... Все облегченно вздохнули.

Нифталишах задумчиво проговорил:

— Мудрец, я думаю, нет нужды объяснять, кто он и что для нас значит. Вся наша надежда сейчас на бога и на тебя!

— Все, что смогу, сделаю, пир! Вся надежда на бога и на крепость его организма.

По знаку старого врача один из его молодых помощников-дервишей принес подготовленные снадобья. Врач начал лечение. Втирая бальзам в шею, грудь, предплечья Ибрагима, он приговаривал:

— Слава богу, что веревка не затянулась на шее. Сам бог, верно, помог ему. Хотя организм очень крепкий, но слабость и страх сделали свое дело, измучили его...

Сердце Салима наполнилось радостью. «Бог! Если бы обездоленные не помогли мне, подняв священный бунт, если бы я не улучил возможность, вряд ли... бог... А может, бог и дал нам эту возможность, закрыл глаза Гани, до срока наслал сумерки, заставил бежать палачей с площади?» — подумал он и, качнув головой, постарался отогнать эти мысли. Как бы то ни было, Салим был просто счастлив, что труд его не пропал даром, что он сумел сделать все, чтобы спасти друга.

В это время старый врач начал влиять в полуоткрытые губы Ибрагима какую-то жидкость, которую принес ему молодой дер-виш. Когда это лекарство, смочив запавший язык Ибрагима, потекло ему в горло, юноша как будто стал отходить, сероватое лицо приняло более живой оттенок. Врач раздвинул губы молодого человека, почувствовал тепло его смягчившегося языка, его участившегося дыхания.

— Не будем терять надежды, — сказал он. — Дорогие мои! Вы возвращайтесь к своим делам, здесь пусть останется только мой помощник. Ночь на сносях, посмотрим, что она к утру принесет миру. Во всяком случае, непосредственная опасность исчезает.

Говоря все это, врач ловко брал с мягкой шкуры то руку, то ногу Ибрагима, перекладывал их себе на колени и растирал, раз-минал... Все разошлись, каждый занялся своим делом. Салим вышел из пещеры. Вдали, там, где должно через несколько часов взойти солнце, уже слегка развиднелась мгла. Звезды нехотя перемигивались, постепенно блекли на небосклоне. Он стоял и смотрел, погруженный в свои мысли. Вот явственно начала свететь одна сторона неба. Скоро из-за гор протянутся первые лучи солнца, заискрятся животворные золотые нити, они прогонят непроглядный мрак ночи к закату.

Салим всей грудью вдохнул чистый, прохладный утренний воздух. Он отошел довольно далеко от скрытого от чужих взоров входа в пещеру, занял свой пост за скалой. «Ну ничего, тезка! бы — Султан Селим, а я — оборванец Салим! Но кровь моих родителей, кровь девушек, не успевших стать невестами, матерей, не увидевших свадьбы своих сыновей, белобородых старцев, чьи тела не отнесены в могилы на плечах внуков — нет, эта кровь неотмщенной не останется. Эту кровь отберу у тебя я — Салим! Клянусь этим утром, я, Салим, найду бога, я стану на земле его карающей рукой, его карающим мечом, слышишь, Султан Селим!» Утром Ибрагим уже пришел в себя. Молодой здоровый организм с помощью приготовленных врачом-дервишем отваров за ночь восстановил силы. Салим и его друзья от избытка счастья готовы были целовать руки врачу.

Через несколько дней Ибрагим уже мог свободно гулять, мог принимать участие в собраниях дервишей. В конце недели окрепшего Ибрагима тайно пригласил к себе его пир Нифталишах.

— Дитя мое! Я не обращаюсь к тебе, как к «эрену»[27], ибо, хотя ты уже эрен, но для меня еще и дитя! Ты так дорог моему сердцу, что я чувствую себя не только твоим духовным отцом — я люблю тебя, как родной, кровный отец. Мое доверие к тебе безгранично, вот почему я хочу поручить тебе важное дело. Ты отправишься в Тебриз к шаху. Задул сильный и опасный ветер — как видно, кровь стоит на пороге обеих несчастных соседних стран. Сынок, любимое дитя мое! Султан Селим, чтобы разбить войско сына Шейха Гейдара, получил очень страшное оружие от англичан и французов. Сообщение, которое доставил нам наш человек из его дворца, передать нашей святыне — мы доверяем тебе и только тебе.

И с этими словами пир Нифталишах положил на плечо Ибрагима руку... После двухдневного молчания среди эренов пир Ибрагим примкнул к каравану...

17. КАРАВАН-САРАЙ

Караван-сарай Ибадуллаха считался самым чистым и благо-устроенным. Вы помните, наверное, что именно здесь останавливался государь, когда перевозил останки своих предков в Ардебиль. Но тогда, торопясь за своими героями, мы не имели возможности подробно описать этот небезынтересный караван-сарай...

В любое время дня и ночи прибывший — если, конечно, у него были деньги, — находил здесь и дымящийся чай — кардамоновый, гвоздичный или имбирный, что кому нравилось, — кофе, горячий обед и свежий хлеб, уютные комнаты, чистые постели. Может, чего и лишил аллах владельца караван-сарада Ибадуллаха, зато уж в изобилии обеспечил его дочерьми и невестками. Жена его, начав рожать в первый же год после замужества, девять раз подряд благополучно разрешалась от бремени. Трижды рождались у них близнецы. Как только один из ребят подрастал, ему на спину тотчас же привязывали очередного младшего и в придачу давали в руки веник для уборки комнат. Жена Ибадуллаха Гюльсум была так же домовита и рачительна как и ее муж. Неразговорчивая, крепкая, работящая женщина — и обширный дом свой, и многочисленное семейство держала в примерном порядке. Из двенадцати их детей только одного унесла смерть еще в младенческом возрасте, остальные — крепкие, пышущие здоровьем, росли привольно, бегали босиком, с непокрытыми головами. Теперь они уже достигли совершеннолетия, и Ибадуллах с их помощью расширил доставшийся ему от отца небольшой рибат Гарачи. Вокруг него возвели новые строения. Хотя Ибадуллах и женил уже всех шестерых своих сыновей, но никому не позволил отделиться от отцовского дома и дела. Ибадуллах выделил сыновьям по комнате, и все они всегда были у него под рукой, быстро и охотно исполняли его распоряжения. Одну за другой выдавая замуж подрастающих дочерей, он прибирал к рукам и зятьев — либо приобщая их к своему большому и шумному семейству, либо пристраивая к караванам, чтобы те занялись торговлей. Дочери и невестки с утра до вечера занимались приготовлением пищи для многочисленных приезжих, наводили чистоту в комнатах караван-сарада, убирали просторный двор, конюшню. При рибате Гарачи имелся и собственный колодец, редкий в этих местах и крепко, на века сделанный водоем.

Много воды утекло с того времени, о котором мы рассказываем Ибадуллах-ага и Гюльсум-нене, хотя и изрядно постаревшие, столь же прочно, как и в молодые годы, держали в руках бразды правления своим большим разветвленным хозяйством. Караван-сарай всегда был полон дервишей, караванщиков, купцов, путешественников и прочего бродячего люда. Вокруг караван-саarya стояли домики, в которых жили члены семьи Ибадуллаха. Верхний этаж рибата был отведен для именитых и богатых гостей, а в комнатах нижнего этажа размещались бедняки и дервиши; здесь же находились склады для хранения провизии.

Уже несколько дней как в рибат непрерывной чередой прибывали работорговцы — здесь они отдыхали перед тем как продолжить свой путь. В эти дни, когда в стране происходили чрезвычайно важные события, в караван-сарай прибыло и много дервишей.

Сегодня наступила очередь младшей невестки Ибадуллаха — Гюльяз печь чуреки в тендыре. Усевшийся на большом камне перед тендыром старый дервиш уже ждал своей доли ароматного хлеба. Невестка была молода и стройна как саженец. Широкая юбка, нарядная кофточка из шелковой ткани «дараи», алый с рисунком архалук делали ее еще краше. Проворными движениями женщина брала с лотка небольшие комки хорошо выбродившего и как раз в меру подошедшего теста и придавала им желаемую форму на раскаточной доске. Ее красные от хны руки порхали по этим мягким круглым комкам, разминали их, а глаза старого дервиша неотступно следили за ее руками и такими же круглыми и мягкими, как комки теста в ее руках, грудями. Ах, сбросить бы ему сейчас с плеч лет этак сорок, — как бы он потискал груди этой молодки своими сильными руками — небось не хуже, чем мнет она сейчас тесто! Но то, что делает с человеком время, не сделает ни один враг... И теперь стариик, чьи желания, увы, не совпадали уже с возможностями, лишь смотрел на женщину, и в помутневших глазах бесполезно пытал факел вожделения. Молодка все понимала; кокетничая, она словно делала одолжение смотрящим на нее. Чувствуя на себе горящий взгляд старика, она еще более проворно и деловито, с внутренним огоньком, наклонялась, налепляя чуреки на стенки тендыра, и вновь грациозно выпрямляла стан. Она забавлялась сластолюбивыми взглядами немощного старика, на ее раскрасневшемся от жара тендыра лице играла улыбка. Разжигая, чтобы развлечься, старческую похоть она ни на минутку не забывала о своем деле.

Первый вынутый из тендыра чурек женщина со смехом кинула старику на колени. Сколько изящества, сколько неги было в этом движении! Молоденькая кокетка знала, что она красива, и была уверена в неотразимости своих чар.

Старик изогнулся, будто выросший на руках Гюльяз и состарившийся кот, и поймал чурек в воздухе. Чурек был красив, как щеки стоящей перед ним молодухи, и мягок — тоже, верно, как она! Оторвав кусок чурека, стариик поспешно положил его в свой беззубый рот. Нёбо с давно стертymi, потерявшими остроту деснами, утонуло в хлебе, как в вате. Подбородок старика забавно вздернулся до длинных белых усов, чуть не уперся в острый нос. Наблюдавшая краем глаза за тем, как стариик жует чурек, молодуха не могла удержаться от смеха — она хохотала до упаду.

Старик не обиделся на этот смех. Испытанное только что вожделение еще жило в его душе, и он прошептал про себя: «Ах... попалась бы ты мне лет сорок назад, на себе бы испытала остроту моих зубов. Но тогда, видимо, еще и матери твоей на свете не было...»

Во дворе караван-сарай старший сын Ибадуллаха жарил джыз-быз[28] в большом тазу. Уже ставили на огонь пити[29] в маленьких горшочках.

Сегодня прибыли два больших каравана. Один направлялся в сторону Эреш и Гянджи, другой — остановился здесь по пути в Тебриз. Вдоль нижней стены к кормушкам были привязаны кони, мулы и ослы, немного поодаль улеглись на землю верблюды. Ибадуллах, распределив приезжих купцов по комнатам караван-саarya, думал теперь о том, куда поместить погонщиков верблюдов и странников. Погонщик каравана, идущего в Тебриз, отвел Ибадуллаха в сторонку:

— Этот фиранк[30] идет в Тебриз для того, чтобы предстать перед падишахом. Дай ему хорошую комнату, Ибадуллах! Не ударим лицом в грязь перед чужаком, — сказал он, показывая на стоящего поодаль человека в камзоле, с голубой треугольной шляпой на голове. Иностранец, сразу же бросающийся в глаза своим непривычным одеянием, стоял возле привязанного к яслим коня и проверял чистоту засыпанного ячменя. Не подозревая, что разговор идет о нем, он с любопытством прислушивался к своеобразной мелодике звучавшей вокруг него незнакомой речи.

А разговоры между погонщиками караванов велись между тем интересные и разнообразные, но никак между собой не связанные. В одной из групп беседовали два погонщика, а еще двое, сидя поодаль, с любопытством слушали и смеялись. Как видно, этот погонщик по имени Джумар был большой шутник! Он говорил:

— Так вот, как стали мы подходить к Хыныслы, мне и попалась на глаза группа собирающих траву женщин. Все такие молодые, красивые, и одна плелась... пожилая. Вдруг одна лукавая молодуха преграждает нам путь и говорит мне, показывая на старуху: «Эй, погонщик, мы ведем эту женщину замуж выдавать!» — Я не смог удержаться, ответил: «Э-э, да у нее шея, как черешок груши, кто ее возьмет?»

Все захохотали, а Джумар, не обращая внимания на окружающих, со вкусом продолжал описывать: «А вот тебя, говорю, такую веселую и молодую, скажу по совести, вполне можно и замуж взять». Ей-богу, от нее глаз нельзя было отвести! Руки — как бедра верблюдицы, глаза — как у верблюжонка... — Но окончить Джумар не успел, прерванный восклицанием собеседника:

— Так бы и сказал, что она была верблюдицей!

Вновь грянул хохот. В другой группе некто жаловался своему знакомому на сборщика налогов из их села:

— Клянусь твоей жизнью, замучал злодей проклятый мою семью. Каждый раз, как возвращаюсь в село, так стараюсь ему на глаза не попадаться. Стоит только у меня грошу завестись тут же отнимет под видом налога. Такой бессовестный! Я ему говорю: слушай, братец, я ведь такую ораву содержу, а все надежды на одного верблюда. Круглый год только и делаю, что нанимаюсь грузы перевозить, тепла домашнего очага совсем не вижу. Летом сено припасаю, зимой с караваном иду. Как говорится: Был бы воробей — головку снял, отдал. Был бы перепел — так целого б отдал. А с одного верблюда — что я могу дать?!

Собеседник решил сменить тему тягостного разговора:

— Слушай, иди сюда, шашлык из баранины — такое же благое дело, как тысяча молений. Иди, угощу тебя шашлыком, забудешь о своем горе. И рядом овечья простокваша — ей-богу, гяур бы попробовал, так давно бы истинную веру принял! Идем, идем, сказал он, уводя недовольного.

Какой-то дервиш в жутких лохмотьях, которых, верно, и джинн бы испугался, тоже жаловался:

— Всю ночь до утра чесался, люди, все тело ногтями изодрал из-за блох и вшей!

Дервиш, судя по сбритым усам, бороде и даже бровям, принадлежал к secte элеви. Слушавшие его переговаривались:

— Быть бедным не стыдно, но уж не настолько...

Один погонщик верблюдов рассказывал:

— Дошли до укрытия, а снег идет так, что ничего кругом не видно. Вот, думаю, пришел мой последний день. А этот сарван[31], клянусь тобой, повесил недоуздок себе на руку и стоит, тоже не знает, что делать. Ладонью все сметает снег с лица, глаза вытирает — думает, никто не видит его слез, а я ж вижу... И все верблюды стоят...

Другой горячился, что-то доказывал:

— Слушай, тогда я вышел вперед и говорю: я не купец, чтобы с меня взимать пошлину, и не кровник, чтобы мне мотили, ты, говорю, свои сладкие речи оставь, на базаре пригодятся, а уж если я заговорю — ты языка лишишься...

Кто-то громко интересовался у стоящего поблизости дервиша кызылбаша:

— А как быть насчет вина? А если спросят? Что сказать?

— А если спросят тебя о выпивке и картарс, отвечай так: от них людям большой грех и мало пользы. Ущерба все же больше, чем добра.

— Ну да! Да перейдут на меня твои горести... Я вот тоже говорю, что вредны оба эти дела.

В стороне от всех сидели несколько дервишев, терпеливо ждавшие, когда заметят их хозяйский взор и даст ночлег. Некоторые из них, просрочившие время намаза, расстелили теперь на земле бараньи шкуры и «отдавали свой долг богу» — совершали намаз; ведь сотворить молитву на расстеленной шкуре, как говорится, дело и богоугодное и безопасное. Ни змея, ни скорпион не подберутся к шкуре и не помешают благочестивой молитве: святая молитва отгонит любую нечисть.

Дервиши чаще всего привлекали взгляд любознательного иностранца. Он знал, что среди них есть много соглядатаев, тайных осведомителей, верных последователей сына Шейха Гейдара. Дервиши беспрепятственно бродят по всей стране, по крупицам собирают нужную информацию и, встречаясь лично с шахом, сообщают ему о новостях с мест, о настроениях населения. Они же пускались в ход и в тех случаях, когда надо было собрать армию, осуществить очередной шахский замысел или распространить «священные сны», виденные государем. Правда, среди дервишев было много и таких, чьи убеждения были далеки от шиитства. Но это не интересовало иностранца: он являлся послом,

направленным ко двору шаха, он вез богатые подарки для самого государя и его придворных. В багаже его лежало тонкое красное сукно, называемое в этих местах «гаразей», отрезы красного, розового, голубого бархата, пять небольших пистолетов, пятьдесят кисточек, шесть штук голландского полотна, небольшая дорожная мельница для зерна и многое другое. Теперь, одним ухом прислушиваясь к разговорам дервишей, он размышлял о том, как будет принят во дворце шаха. Погонщик верблюдов, говоривший Ибадуллаху о «фиранском госте», ошибался: посол знал язык и интересовался только шиитскими дервишами, рассказывающими всякие легенды и предания и об Исмаиле. До официальной встречи ему хотелось иметь хоть какое-то представление о шахе, приходящему ему дальнику родственником. Ведь бабушка шаха по материнской линии была дочерью правителя Византии, а тетка — женой одного из венецианских аристократов. Таким образом, Шах Исмаил был кровно связан с турецкой династией, а с другой стороны — посредством этой бабушки — состоял в родстве с византийским и венецианским дворами. Думая обо всем этом, посол с интересом прислушивался к тому, что говорят о государе дервиши; он ловил каждое слово о шахе, стараясь не упустить в мешанине слов и возгласов, заполнивших просторный двор людей, нить интересующего его разговора. Посол отлично знал персидский язык, хорошо говорил он и по-турецки. Знание этих языков помогло ему быстро овладеть и местным наречием. Разговор, к которому он с таким вниманием прислушивался, вначале произвел на него впечатление сказки. Оборванец-пир из тех, что именуют себя «шахами», рассказывал:

— Говорят, хранитель шахской сокровищницы совершил однажды кражу. Сильно разгневался повелитель, узнав об этом, велел созвать судилище, сам пришел со своимиvizirями, векилами, сел на золотой трон. Глашатаям поручил собрать людей: пусть, мол, тоже лицезрят шахский суд. Сначала падишах хотел узнать мнение своих vizirей, вот он и спросил самого старшего из них, стоящего по правую руку: «Скажи, vizирь, как накажем виновника?» — Тот ответил: «Святыня мира, пусть его разрубят пополам и каждую половину повесят на створке городских ворот. Это для всех будет уроком!» Тут из толпы выходит вперед немощный старец и громко произносит, указывая на vizirya: «Вот достойный своего предка!» — Падишах, не отвечая старику, теперь спрашивает у молодого vizirya, стоящего слева от трона: «Как накажем вора, vizирь?» — «Пусть он будет прощен, мой повелитель, потому что, если он человек, после такого позора, свидетелями которого было столько людей, он больше не совершил плохого», — ответил vizирь. Снова выступает вперед тот старик и снова громко произносит: «Вот достойный своего предка!» Тогда падишах, не скрывая удивления, подзывает к себе старика и спрашивает: «Почему в обоих случаях ты произнес одни и те же слова? Который же из vizirей прав?» — «Оба, мой падишах, — отвечает ему старики. — И ты, и все собравшиеся здесь люди еще молоды, а я уже долго живу на свете, оттого и знаю. Отец вон того старого vizirya был мясником. Вот сын и пошел в него, сразу сказал: «Разрубить!» А у этого — отец был справедливым человеком, вот он и пошел в него, потому и сказал: «Простить!» Недаром ведь, он — дитя мудрого человека». Так вот, дорогие мои, что из этого следует? А следует то, что наш падишах, святыня мира — из рода пророков. И он тоже пошел в своих предков: святую веру рас-пространяет. Помните, что говорится в Гисасаул-анбия[32]: однажды у пророка Мухаммеда спросили, кто его друг и кто — враг. Божий посланник ответил: «Мой друг — это тот, кто объединяет народы в вере, распространяет ее, а мой враг — тот, кто вносит рознь в ислам»...

В разговор вмешался другой дервиш:

— Да, ты прав, ага! Видишь, как он вырезает мечом всех езидов? Еще во время священной войны мне довелось однажды побывать в Ардебиле. Шах сам вышел на площадь, где собралось его войско и все городское население. Шах говорил так: «Сограждане мои! Кто

из вас не верит в наше правое дело? Я призываю вас к священной войне во имя веры, во имя Алиюл-муртаза»... А потом он прочел стихи. Так прочел, что у всех волосы дыбом встали. Тогда я увидел, как выхваченные из ножен мечи затмили солнце, засверкали, как падающие звезды. Единодушный крик тысяч людей взметнулся с площади в небо: «Веди нас! Мы готовы умереть за тебя, наш шах! Пусть мы умрем за веру с мечами в руках. Чем в судный день предстать перед Шахи-Марданом опозоренными, чем осрамиться перед владыкой обоих миров — лучше погибнуть за веру с мечом в руке! Веди нас, о Сахиб-аз-заман![33]»

— Ей-богу, я тоже слышал об этом. Говорят, близится день появления Сахиб-аз-замана.

— А чего ему близиться? Он уже настал, да!

— Клянусь посланным аллахом Кораном, я сам слышал от нашего аги-дервиша Гияседдиншаха, что ему открылось во сне — в лице нашего сына Шейха Гейдара явился двенадцатый имам Мехти Сахиб-аз-заман!

— Верно, время от времени должна обязательно происходить война, чтобы пустить кровь раздобревшему человечеству. Иначе полнокровие будет чрезмерным. Аллах сам ведь послал его! Но жизнь, дарованную создателем, нельзя отнять рукой смертного.

Никто не обратил внимания на человека, произнесшего эти слова... На середину кинулся другой кызылбаш-проповедник:

— Милосерден, справедлив наш шах! Во время той, предыдущей войны, после победы, он приказал глашатаям возвестить людям, что не будет взимать с них семилетний налог, что он им дарит налог последующих семи лет!

Столпившиеся вокруг дервишей купцы, погонщики верблюдов, рабы и другие странники из караван-сарайя, слушая проповедников-дервишней, говорили друг другу:

— Да сделает аллах его меч еще более острым!

— Сто сарычей ничего не смогут сделать орлу, а он-то ведь орел!

— Книга его — Коран, он признал это. Да поможет ему Коран!

— Да поможет ему Али!

Один из собравшихся, прия в совершенное умиление, преградил дорогу одному из купцов и принялся рассказывать ему про свои беды. Засовывая ему в руку свернутую бумажку, он пылко молил купца:

— Заклинаю тебя черным камнем Каабы, о который ты потерся лицом! Да будут твоей жертвой мои отец и мать, Гаджи Салман! Ради твоей семьи... Рука моя — подол твой: или руку мне отрежь, или себе подол! Только помоги: Донеси это письмо до шаха. Говорят, он милосерден. Может, аллах его надоумит мне помочь во имя владыки владык! Ты слышал ведь, что о нем говорят?

Но слова его потонули в общем шуме... Несколько набожных людей, услышав, что дервиши уподобляют Шаха Исмаила мессии, благочестиво провели ладонями по лицу.

В этой группе находился и молодой дервиш. Он ничего не говорил, только слушал. Это был Ибрагим, спасенный от виселицы и несколько дней назад примкнувший к идущему в Тебриз каравану. По велению своего сердца искал он в этом мире истину, а сейчас, выполняя поручение своего пира, он шел к шаху с секретной миссией. Дервиши вокруг него продолжали на все лады расхваливать шаха. Один из них говорил:

— А ты еще скажи, как он любит кази! Говорят, он отправил в османскую сторону одного из своих знаменитых полководцев. Полководец погиб в бою. Приходят, сообщают шаху, что, тот, мол погиб как мученик, земли ушли из рук. Шах заплакал. Спрашивают: «Святыня мира, почему ты плачешь? Из-за военачальника или же из-за земель?» — А он отвечает: «Земли можно отвоевать, а вот такого, как он, воина назад не вернешь».

Разговор ловко подхватил еще один дервиш:

— Клянусь тем Кораном, что дарован нам аллахом, я сам, своими глазами видел, как он, отправляя кази на священную войну, напутствовал их: «Для меня, говорил, один ваш поврежденный палец дороже, чем пятьсот вражеских голов. Берегите себя, дети мои!»

— Вот поэтому, — горячо заговорил старый дервиш, — поэтому все несчастные, угнетаемые, мучимые в Курдистане, Фарсистане, на равнинах Джигатая, в Румских землях ищут покровительство у Искендершана[34], нашего молодого шаха. Все присоединяются к его войску. Наш великий шах в своей неизбывной щедрости раздает всем приходящим к нему землю, поручает хорошее дело, лелеет... Своими глазами видел я это...

«Странно, — думал Ибрагим. — Все говорят, что «видели своими глазами». Странно. Я должен осознать, переварить все это. Я должен найти ответы на все интересующие меня вопросы. Но ничто еще из услышанного сегодня не дает мне ответа на мои вопросы. Напротив, сомнения мои возрастают все более...». Размышления Ибрагима отдаляли его от общества шиитских дервиш. Дня два назад он подружился с сыном некоего купца из каравана, к которому присоединился. На стоянках они вместе ели, вели долгие беседы во временных лагерях, раскидываемых в местах, где не было караван-сараев.

Теперь Ибрагим пошел искать своего друга и, узнав, что он остановился в одной из комнат нижнего этажа, снял себе помещение по соседству. В течение трёх дней, которые проведут здесь караванщики, давая отдых и животным, и людям, ему хотелось быть рядом с сыном купца Рафи.

А во дворе царил переполох. Несколько бродячих цирковых групп, объединившись, устраивали большое представление для собравшихся во дворе караван-сарай людей. Канатоходец, с помощью зрителей натянув веревку меж двух стен во дворе, взял в руки длинный шест и, балансируя им, начал прогуливаться по веревке. Раздались восхищенные возгласы:

— Это же надо, как будто птица, а не человек!

— Кого аллах хранит, с тем ничего не случится!

— Да он ведь привык, наверное?! Неучу и на ровном месте не вытворить такое. Смотрите, смотрите, как он кувыркается на веревке!

— Я же говорю, его бог бережет...

— Ну да, у бога дел нет, как за ним смотреть?! Грех это один!

— Почему? Разве не хранит нас всех бог?!

Канатоходец, наконец, слез и, сняв с головы папаху, стал обходить окружающих его людей. В папаху дождем посыпались мелкие монеты. Когда же очередь дошла до купца Рафи, стоявшего здесь же, в толпе, рядом со своим сыном, он отвернулся, сделал вид, что не замечает ни канатоходца, ни протянутой им папахи, тогда как мгновение назад он с завистью смотрел на сыпавшиеся в шапку медяки. Циркач, покачав головой, хотел было пройти мимо, но его задержала чья-то рука:

— Погоди! Он с утра на тебя четырьмя глазами смотрит так пусть теперь платит!

— За что платить, парень? — нахмурился Рафи.

— А за то, что этот человек ради твоего мгновенного удовольствия дни и месяцы трудился, мучился. Заплати! Не то я тебе такое устрою! А не устрою — так я себе усы сбрею!

Купец заворчал:

— Ну вот, не было печали, откуда тебя черт принес... На! — пыхтел Рафи, вытаскивая из кармана пятак и бросая его в папаху. — Жалко мне тебя стало, — продолжал он ворчать, — а то кто бы ценил твои усы?

Стоявший рядом с купцом юноша, его сын, стыдливо опустил голову. Купец Рафи, забеспокоившись, что к ним еще кто-нибудь может пристать, схватил его за руку и вывел из толпы.

— Идем отсюда, нам нет дела до этих езидов!

Они вернулись в караван-сарай. Едва переступив порог, купец дал «сыну» крепкий подзатыльник:

— Ах ты, сукина дочь! Тысячу раз говорил тебе: не показывайся там, где много народа!

С этими словами он снова замахнулся:

— Клянусь головой шаха, если ты не будешь меня слушаться... Сразу же пойду к городскому правителю, потребую твоего наказания. Потребую, чтобы тебя разорвали на части, сукина дочь!

Я надел на тебя мужскую одежду, чтобы спрятать подальше от чужих глаз. Не для того же надел, чтобы ты выходила на площадь, совалась в толпу мужчин! Рабыня ты, невольница — вот и сиди на своем месте, не высовывайся. Уж погоди, вот доберемся мы до места...

Айтекин не плакала. У старика не было сил, чтобы ее обидеть. К тому же он где-то схватил лихорадку и от этого еще больше ослабел. Его тошнило, рвало, часто он ни есть, ни пить не мог, был даже вынужден порой отставать от каравана. Вот почему, доверив свои товары хозяину каравана, к которому примкнул, Рафи шел налегке, но купленную на публичной распродаже невольницу Айтекин от себя не отпускал.

В дверь постучали. Вошел дервиш Ибрагим. По его распоряжению внук Ибадуллаха принес три горшочка пити. Поставив их по указанию дервиша на середину комнаты, мальчик вышел. А Ибрагим протянул Айтекин горячие тендырные чуреки, которые принес с собой:

— Возьми эти чуреки, братец, и быстренько расстели скатерть — все мы с голоду умираем!

Аромат круглых ярко-красных чуреков, приправленных кунжутом и маком и недавно вынутых Гюльяз из тендира, превзошел даже шафранный дух пити. И купец Рафи не смог устоять перед столь соблазнительным ароматом. Дармовое пити желудок ведь не проест, решил купец. А странный человек этот дервиш! Другие готовы живьем человека съесть, вынь да положь им «долю предка», а этот сам угожает Рафи и его мнимого сына. Пока Айтекин, задумавшись о чем-то, перебирала пиалы, купец сам проворно расстелил на циновке небольшой разрисованный платок вместо скатерти. А Айтекин наполнила медную чашу водой из стоявшего в углублении кувшина. Затем все трое приступили к трапезе.

А во дворе караван-сарай сменивший канатоходца плут-мютриб, надев женское платье и привязав к щиколоткам серебряные бубенцы, начал танцевать, прищелкивая пальцами. Утомившийся от словословий дервиш, возносивших хвалу шаху, венецианский посол с удовольствием наблюдал за этим простым, но необычайно интересным видом восточного искусства. Время от времени он спрашивал название того или иного танца и что-то отмечал в своей записной книжке.

Ибрагим до вечера беседовал с Рафи и покинул его, лишь когда купец начал готовиться к вечернему намазу, до которого полагается совершить омовение. Попрощавшись с купцом и его «сыном», Ибрагим вышел.

Всю ночь он провел в размышлениях; просмотрел некоторые захваченные с собой книги — все искал в них ответы на мучающие его вопросы и не мог найти.

Потом на часть вопросов он нашел ответы в собственной душе и записал их. Потом снова читал... Работа так захватила его, что он не слышал не прекращающегося даже ночью шума большого караван-сарай. Одна за другой нанизывались в тетради записи, смысл и причина которых были понятны только ему самому...

...«Он сказал: все это мелочи. А я ответил: жизнь — это прекрасная штора, изготовленная из переплетенных между собой нитей, которые ты называешь мелочами...» Есть люди, которые считают, что мир состоит из пяти дней. Но сами они в это не верят, а если и верят, то все же хватаются за мирские блага пятью руками. Как пырей повсюду пускает корни, так и они строят дома, сажают огороды, и если даже дать им всю вселенную — не насытятся их глаза богатствами мира»... А под этими строчками он приписал: «Но во всяком случае, они лучше тех, кто приходит в мир, ничего не делают и уходят. Эти же оставляют после себя хотя бы благоустроенный дом, ухоженный сад»...

...«Мне кажется, что творец и сам изумляется, глядя со своего высокого трона на низость, мошенничество, невежественность, злодейство и страсть к кровопийству созданных им существ»...

...«Я должен спросить у него, сказать: султан мой, в наше время в твоей стране подхалимство и уважение, взятка и подарок: хвастовство и гордость так перемешались,

что невозможно разобраться, где что. Как сделать так, чтобы проявляемое уважение не считалось подхалимством, подарок — взяткой, гордость не сочли бы пустым кривляньем? Как сохранить свое достоинство, не ущемляя свою личность и не лишиться уважения в глазах людей?»

Задув, наконец, свечу, Ибрагим натянул на себя тонкое летнее одеяло, но, сколько ни старался, заснуть не смог. Воображение увлекало его в мир сомнений и неразрешенных вопросов. Закинув руки за голову, он устремил глаза во мрак... «За день до того, как примкнуть к каравану, я увидел на кладбище разрушенную могилу, истлевшие кости. Значит, вот как разлагается тело, так вот как оно сгнивает, и ничего не остается. Не зря говорят: даже кости истлевают... А как же тогда дух? Что делается с духом? Куда он улетает, где устраивается? Ведь есть же в этом теле что-то, что побуждает меня говорить, думать! Этот дух, этот голос, думы, сливающиеся с телом и оживляющие меня — куда они денутся, когда я умру? Ведь внутри тела, заключенного в кожу, есть душа. Располагаясь где-то внутри тела, она побуждает меня на хорошее и дурное. Хорошему говорит «да», от дурного обе-регает... А после моей смерти, когда тело сгнивает в земле, что происходит с душой? Не может же быть, что она покидает этот мир безо всякого следа, ничего, ничего не оставляет после себя на земле! — он поднял взгляд к мерцающим в окне звездам. — Может быть, там, на звездах, есть место, куда слетается наш дух? Может быть, там и находится то, что называют раем? А может, действительно, после смерти человека его оставшаяся неприкаянной душа переселяется в другое живое существо? Неужели такое возможно? И в чем состоит бессмертие? В том ли, что душа человека заставляет его же творить добро, создавать прекрасное — я оставлять это все людям?! Нет, я обязательно должен добраться до ханагях[35]. Я должен задать эти вопросы высшему шейху-мовлана Садраддиншаху Ширвани. И лишь после того, как мовлана Садраддиншах положит конец всем моим сомнениям, смогу я предстать перед государем, повести с ним спор. Пока же в сердце моем есть место неверию, такой спор вести недопустимо».

Во дворе караван-сарай послышались звуки азана. Добровольный азанчи, один из шиитских дервишей, зычно оглашал окрестности призывом к молитве. Проснувшиеся купцы, коммерсанты, погонщики, взяв кувшины, занимались религиозным омовением. Губы твердили молитву, а сердца шептали: «О аллах! Храпи меня от бед и напастей. Да не попадется мне в пути разбойник, да не достанется мой товар грабителю! Боже, дай мне прибыльную торговлю, денежного клиента!»

Интересно, что говорили купленные с торгов рабы, проведшие ночь в одном из сараев, как они обращались к богу в сердцах своих? О чем просили создателя эти сыновья и дочери разных народов с невольничьим клеймом на лбу, с невольничьей серьгой в ухе, с колодками на шее, с цепями на ногах? Только у одной-единственной рабыни Айтекин не было сейчас в сердце никаких желаний — это нам известно. Остальные же наверняка мечтали о том, чтобы какой-нибудь военачальник или знатный человек, сраженный болезнью или несчастьем, дал обет освободить раба, чтобы он купил этого раба на очередном публичном торге, положил ему на плечо руку и дал бы отпускную: «Иди, во имя аллаха я освобождаю тебя». И сгинут цепи ненавистного рабства, и пойдет бывший раб, взяв в руки бумагу, удостоверяющую, что он отныне свободный человек, в свой город, в свое село, к своему племени. Ждет его там ослепшая от слез мать, ждет любимая, чьи волосы посеребрились от перенесенных страданий. Пусть он, соединившись со своей безвременно поседевшей возлюбленной, скажет:

Не так ли, не так ли быть мне,
Уведенному врагом на чужбину?
Пусть бельмом в глазах врагов станут
Любимой моей седины...

У Айтекин такой мечты нет: и племя ее разогнано, и родители где-то скитаются. Кто знает, перед какими дверьми они, горестно вздохнув, преклонили свои несчастные головы, а может, не выдержав разлуку, навсегда закрыли на этот мир глаза, так тосковавшие по дочери... А теперь у Айтекин никого уже не осталось, никого...

18. ШАХ-ДЕРВИШ ИЛИ «МЕДЖЛИСИ-СЕМА»

Они сидели вдвоем и беседовали. Продолжавшееся уже несколько недель путешествие сблизило молодых людей. Подружившись с «сыном» купца Рафи, Ибрагим ни на миг с ним не расставался, ради него сблизился со старым купцом, ревностно выполнял все его поручения. Порой, когда на лице старика появлялись признаки усталости, надвигающейся болезни, молодой дервиш быстро доставал из своей сумы одному ему и его единоверцам известные засушенные травы, высыпал их в кастрюльку, выпрошенную у хозяина караван-сарай или караванщика — в зависимости от того, где они в данный момент находились, — наливал строго отмеренное количество воды, кипятил и насилино ли, уговорами ли, но поил старика этим снадобьем. Проходило день-два, и благодаря «молитвам аги дервиша» Рафи вставал на ноги, и все вместе, примкнув к очередному каравану, пускались в путь. Разумеется, вначале купец Рафи договаривался с главным погонщиком, заручался его покровительством, а как же? — ведь ему доверял свое имущество. Боясь лишиться своего достояния, старик присоединялся лишь к большим, хорошо охраняемым караванам и, несмотря на все уговоры Ибрагима, не выходил в путь с дервишами. Несмотря на чувство благодарности к Ибрагиму, и даже нежелание расставаться с ним, Рафи, по мере возможности, старался держаться подальше от дервишей.

Но на прошлой стоянке лихорадка довела старого купца до такого состояния, что он потерял сознание. И все же, несмотря на его слабые протесты, Ибрагим вместе с его «сыном» перенесли Рафи в одну из находившихся поблизости обителей дервишей. Несколько дней провели они здесь.

Обитель находилась в голой степи, рядом с водоемом, построенным покойным каменщиком Новрузкулу. У водоема росло старое тутовое дерево. Время безжалостно скрутило его, насадив большие корявые мозоли на заскорузлый ствол и сочленения ве-ток. Некоторые засохшие ветки были отрезаны, и на их месте тянулись в небо молодые побеги. Непрестанно дующие в этих местах северные ветры склонили-таки непокорный ствол к югу, будто хотели, чтобы он кого-то приветствовал, перед кем-то склонил голову. Но протестующие ветви вновь тянулись вверх, вверх. Дожидаясь выздоровления купца, его «сын» и Ибрагим все свои дни проводили под этим деревом. А ночи... Ночами мир для

Ибрагима менялся. Лишь только опускался вечер, в дверях ханагяха показывался один из дервиш и приглашал его на моление. С сожалением отрывался Ибрагим от беседы с молодым другом, вставал с места и входил внутрь таинственной комнаты. Однажды Айтекин захотелось узнать, как проходит это моление. Она подкралась и заглянула внутрь молельни через маленькое окошко с каменной решеткой-шебеке. Прямо на уровне ее глаз сидели шесть дервиш. Комната была полутемной, ее освещал только слабый свет, идущий из угла, — там, видимо, горел небольшой очаг или свеча. Дервиши сидели на земляном полу, подстелив под себя бараньи шкуры. Айтекин знала не всех: как видно, в обители жили и отшельники, не показывавшиеся приезжим. Ее внимание привлек сидевший в центре комнаты старый дервиш. Усы его и длинная спадающая на грудь борода были совершенно белыми. Старик был одет в балахон из шкуры, на голове — островерхая войлочная шапка. Выбившиеся из-под шапки седые космы рассыпались по плечам старца. Дервиш отвечал на вопросы сидевшего перед ним Ибрагима. Когда девушка заглянула в окно, Ибрагим как раз спрашивал:

— О шейх, если в вашей вере нет тайных чтений и молитв, то на чем же она основана?

Разговор, видимо, был продолжением предшествующего спора, который Айтекин не слышала. Подумав немного, старый дервиш медленно ответил слабым голосом:

— Основана на том, что внешне она — со всеми, а внутри с богом. И находится в полном соответствии с шариатом, ведь мудрый глава нашей секты шах Нахшбенди, есть повторение имама современности Абу Ханифа.

— А каково ваше отношение к Корану? Так ли необходимо читать его по умершим?

Шейх задумался. Видимо, он решал, что ответить молодому собеседнику, чтобы навсегда изжить из его сердца сомнения. Он считал необходимым привести пример из «Гисасюловлия». Проведя худой рукой по белой и мягкой бороде, шейх сказал:

— У святого шейха Абу Сайда спросили: «Какую суру Корана прочитать над твоим телом?» — Он ответил: «Читать суру Корана над, телом умершего — богоугодное дело. Но для меня вы прочтите такое двустишие:

Что может быть, скажите, на свете лучше,

Чем когда друг соединяется с другом, возлюбленный с возлюбленной».

Смысл назидания святого шейха Абу Сайда потомкам в том, что умерший человек отправляется к своему создателю, то есть друг соединяется с другом и любящий — с любящим. Стих Корана читается для живых, чтобы они осваивали правила и законы, переданные нам богом через посредство пророка, чтобы шли они по прямому пути, не поддавались тяге плоти.

Айтекин долго слушала. До нее не дошел смысл беседы, не поняла она и стихов, читаемых по-персидски, а из спора шейха с Ибрагимом уловила лишь отдельные слова и некоторые выражения. Так и не окончив спора, Ибрагим привстал на коленях и начал размеренно декламировать:

Старейший учитель секты нагшбендов — Бахаэддин,

Он помог всем верующим, избавил их от беды.

По его милости мертвые вечную жизнь обрели,

Страждущих он охраняет снаружи и исцеляет внутри.

Всю страну осиял он, украсил делами святыми!

Превратил он в цветник свою секту делами святыми!

Ибрагим говорил медленно, нараспев, и сидевшие вокруг дервиши начали понемногу раскачиваться. Когда же он перешел к другим, более взволнованным, возбуждающим человека стихам, где-то, вторя ему, зазвучала печальная музыка. Дервиши, разрывая и сбрасывая свои балахоны, враскачку приближались к центру помещения. Айтекин заметила, что теперь их стало больше — оказывается, в недоступных ее глазу местах, у стен, в углах, сидели и другие дервиши. Утомленные вечным недосыпанием от бродячей жизни воспаленные глаза дервишней сейчас пылали, как наполненные кровью чаши. Они уже не молчали --до девушки доносились странные, жуткие звуки. Дервиши вскакивали с мест, кружились, совершали казавшиеся Айтекин смешными телодвижения. Уже многие, сбросив балахоны, впали в экстаз. Это и было «Меджлиси-сема» — музыкальное собрание доводящих себя до экстаза дервишней... Увиденное заставило Айтекин содрогнуться всем телом. Она давно уже ничему не удивлялась: за многие месяцы плены девушка, переходящая из одних рук в другие, познавшая ужас невольничьих рынков, отвыкла от нормальной человеческой жизни и нормальных человеческих отношений. Но сейчас ей вдруг показалось, что вскочивший на ноги, продолжающий громко читать взволнованные, притягивающие дервишней стихи Ибрагим тоже сбросит с себя балахон, примкнет к кружасшимся в экстазе дервишам, и девушка увидит его налитые кровью глаза, неестественные телодвижения, голое тело... Ее била дрожь: она отодвинулась от окна. Не желая даже находиться поблизости от этого молчания, она убежала к Рафи, спавшему в маленькой комнатке в правой части ханагяха. Высокая температура, державшаяся целый день, сейчас, видимо, спала, но озноб не проходил. Облизывая свои толстые губы, старик стонал: «Воды, воды...»

Айтекин взяла стоявший во влажной впадинке в углу комнаты кувшин, сняла с него крышку. Откинув голову назад, сначала сама отпила несколько глотков холодной воды, а потом, вынув из затянутой плесенью стенной ниши медную чашу, плеснула туда немного воды и поднесла ее Рафи. Изрядно ослабевший за время болезни старик попытался было взять чашу дрожащими руками, но не сумел, и Айтекин пришлось самой поднести воду к ненавистным ей губам. Больной с трудом отпил глоток холодной воды. Взгляд его задержался на исписанном крае чаши, он попытался прочесть: «сделал мастер Салех в честь...» Дальше прочесть не смог: света в комнате было мало, и глаза его, к тому же, плохо видели. Лихорадка совсем лишила его сил.

Сердце Айтекин сжимала тупая боль. Она вспомнила первый день, когда ее привели на публичную продажу... Во время торгов она ни разу не подняла головы, не оглянулась. По

базару крутились арабы в белых, схваченных обручем платках, концы которых свисали им на лица, предохраняя от солнечных лучей; ходили татары в одежде из конской кожи, туркмены в лохматых, напоминающих большой казан папахах, завитки которых лезли им в глаза; неспешно шествовали персы и индусы в белых чалмах, сутились полуголые нубийцы, деловито выступали армяне в чухах с вышитыми канителем воротниками, грузины, черкесы в войлочных тюбетейках и черкесках; были здесь и европейцы, и русские купцы в суконных кафтанах; бродили меж рядов узбеки, хивинцы, мервинцы в полосатых стеганых халатах; торговались одетые в многоцветные нарядные одежды купцы из Хорасана, Синда, Пенджаба, Балха... Здесь же на все голоса расхваливали свой товар разносчики-кондитеры, носившие в своих лотках люля-набат, горы когула; галантейщики, ювелиры, зычно рекламирующие свои изделия; стояли у сундучков с грудами монет разного достоинства и разных стран ловкие менялы; расхаживали торговцы с переброшенными через руку коврами, ковриками, накидками на седло, разноцветными сумками, верблюжьими и конскими попонами, упряжками, украшениями для верблюдов. Каждый громогласно расхваливал свой товар на своем языке, и слившееся многоголосье звуков создавало совершенно особый, ни с чем не сравнимый шум большого базара. Всего этого никогда не видела выведенная на продажу девушка. Лишь одно заботило и страшило ее. Полуголое тело Айтекин было обернуто куском канзуза, и она, вся сжавшись, ждала: вот кто-то подойдет, отведет накидку, ощупает ее тело, раскроет рот, чтобы рассмотреть соразмерность зубов — будто коня покупает! А потом начнет торговаться.

Продававший ее купец моментально распознавал стоящего покупателя. Некоторых он вообще не подпускал к ней, повторяя:

— Есть деньги — в торг вступай, нет — прочь ступай.

Потом с ней столько всего произошло... В течение недолгого времени она переменила несколько хозяев и хозяек — конечно, не по своей воле! Жены, ревнуя мужей, которые на нее зарились, ненавидели ее за это и всячески над ней измывались. И снова продавали... Айтекин забрали из отчего дома, лишили родных, когда ей только что исполнилось четырнадцать лет. Любовь еще не свила гнезда в ее сердце, зато оно переполнилось ненавистью за эти месяцы скитаний! Ее стыдливость грубо растоптали в те дни, когда ее силой вырвали из материнских объятий, оторвали от трупа брата, увезли из родного края и отправили на невольничий рынок, где она впервые, обнаженная, предстала чужим глазам на публичной продаже. Хоть она и сохранила невинность, но страшно вспоминать, что было потом...

За это время она выучилась и петь, и танцевать. Танцевать она любила еще и тогда, когда жила в родном селе. На свадьбах, бывало, плясала больше всех, никогда не чувствуя усталости! Заметив у нее способности к танцам и пению, работогорцы, чтобы побольше на ней заработать, передали Айтекин вместе с несколькими другими девушками женщине по имени Салми, зарабатывавшей себе на хлеб обучением музыке, танцам и пению. В доме этой женщины, в обществе таких же, как она сама, горемычных девушек, познала она несколько светлых дней в своей жизни после того, как потеряла отца и мать... Салми обучила ее тонкостям танца, научила играть на лютне и петь нежным голосом берущие за сердце песни. Эти грустные песни, в которых звучали отголоски ее собственного горя, Айтекин пела столь искусно, что слушатели приходили в восторг от ее хотя и несильного, но приятного и свежего голоса. Сразу возросла и рыночная цена Айтекин, и купцы уже считали нецелесообразным продавать ее в дома мелких богачей. Красота и искусство Айтекин могли стать украшением дворцов.

Так она попала в лапы состарившегося и обессилевшего купца Рафи. Алчный старик не поленился отправиться в далекий путь, в надежде, доставив девушку в Тебриз, продать ее там повыгодней везирю или военачальнику, а если повезет, то и самому шаху. И если сделка эта состоится, купец Рафи собирался покончить с караванами, погонщиками, бесконечными разъездами и прожить остаток лет на вырученные деньги, а также и на те, что он заработал за всю свою долгую жизнь торговца — никому, даже самым близким не доверяя их, старик носил всю свою наличность при себе. Рафи купил девушку за очень дорогую цену; часть денег он уплатил и за товары, поручив их главному купцу, давнему своему знакомцу. А сам, боясь, что девушку могут отнять в до-роге, переодел ее в мужское платье и вел ее теперь в Тебриз под видом «сына».

Айтекин на мгновение растрогалась, видя страдания больного старика. Но тотчас же гнев в ее душе пересилил жалость. При одном воспоминании о деяниях старика — да разве они когда-нибудь забудутся?! — сердце ее опалило огнем ненависти. «Допустим, что время такое, допустим, что бог начертал у нее на лбе горькую судьбу. Но почему этот старик потерял свою человечность? Почему не мог он жить, как другие хорошие люди, праведным трудом, трудом своих рук? Нет, этот негодяй рожден не женщиной, а двуглавым чудовищем, дивом! А я, глупая, пожалела его. Пожалела! Барашек пожалел волка! Подумать только, боже!» — бормотала она про себя.

Довольно было бы и одного случая, произшедшего через несколько дней после заключения торговой сделки, чтобы Айтекин возненавидела старого Рафи до смерти. Айтекин содрогнулась от воспоминания: она помнила этот случай так, как если бы он произошел вчера. И сразу же встало перед ее глазами, ожившее как жуткое видение, лицо старого купца... Он было странным — как будто ему сдавили с двух сторон щеки и виски, а лоб, нос и подбородок резко выпятили. Глаза его вылезали из орбит так же, как и теперь, от боли, но тогда причина была иной. Тогда она подумала: лицо ее покупателя похоже на кутаб[36]. По существу, сравнение было случайным: между сплюснутым с двух сторон лицом Рафи и добротой насыщающего людей кутаба не было, конечно, ничего общего. Но девушка, едва увидев Рафи, прозвала его «кутабом»: так это прозвище за ним и осталось — конечно, в мыслях, а не в словах Айтекин. А тот день теперь она хорошо помнит. И без того выпученные глаза купца вот-вот, казалось, вылезут из орбит, каждый — пылал, как коптящий траурный факел. На толстых губах старика пузырями выступала слюна. От предвкушения по впалым щекам Рафи пробегали судороги, жилы вздулись, непроизвольные глотательные движения гортани заставляли непрестанно ходить вниз-вверх острый кадык. Заросшие желтоватыми волосами худые жилистые руки старика тоже нервно двигались, не находя себе места. Привычным, как у работоговца, движением он проводил рукой по телу девушки и корчился при этом, как ужаленный змеей, стискивал зубы, уже не в силах сдержаться. Наконец, не выдержал — бросился на девушку. Айтекин поняла! С ужасом поняла, что сейчас все, кажется, будет кончено, мерзкая рука навеки осквернит ее тело. Проглотив рыдания, она вперила гневный взгляд в слезящиеся выпученные глаза:

— Запомни! Клянусь головой шаха, как только доберусь до государя, то первой моей жалобой будет эта! Знай, что рано или поздно я предстану перед ним. Не думай, что я беззащитна!

Старик остолбенел: девушка так уверенно клялась «головой шаха»... Такого не слышал он еще ни от одной рабыни. Но клятва Айтекин, хотя и испортила купцу настроение, все же вернула ему разум.

— Что? Ты скажешь шаху?!

— Скажу! Клянусь головой шаха — скажу!

— И он тебя послушает? Поверит тебе?

— А как же? — девушка поняла, что одержала хоть и временную, но победу. — Поверит! Шах поверит каждому моему слову! — Про себя же она подумала: «Ты глуп, как пробка, о божий баран». Вслух же произнесла: — Конечно! Кому же он поверит, если не мне? Я расскажу ему все, что со мной случилось. А о тебе скажу отдельно: он принес тебе свои обедки, мой шах!

— У шаха других дел нет, как только про твои приключения слушать! Если святыня мира станет слушать всех невольниц, кто будет государством управлять?

— Разумные визири. Но даже если он никого не будет слушать, меня он послушает. Погоди, дай нам только до него добраться. Тогда ты сам убедишься, что, купив меня, правильно поступил, оставив нетронутой.

А про себя подумала: «Великий боже, что я говорю? Ну, а что мне делать? Кто за меня заступится? Ведь выдумываю я все это с одной только надеждой, с одной-единственной надеждой: только бы добраться до шаха. А уж потом будь что будет».

Купец же думал: «Эта сукина дочь ведь не врет! А вдруг она обманывает меня? Да нет, кто ж осмелится на такой обман? Она, видно, из шахской родни, а может даже одна из его любимых невольниц. Правда, непонятно, как она оказалась на невольничьем рынке. Но чего не бывает в этой жизни. Я же вот ее купил! А вдруг, действительно, окажется из близких к шаху людей? Тогда, если доведу в целости и сохранности, получу подарок; если же что надумаю... нет, ну ее к черту, еще пожалуй, голову отрубят! Что бы там ни было, придется беречь ее, как зеницу ока, и доставить шаху».

Старик громко рассмеялся и искоса взглянул на девушку.

— Да я пошутил с тобой, а ты уж и напридумывала. Что мне за дело до тебя? Девушек, что ли, на свете мало? Да разве я стану портить цветок, который несу в дар шаху? Какой же дурак так поступит?

Сердце девушки успокоилось. Губы ее, уже несколько месяцев не знавшие, что такое улыбка, легонько раздвинулись:

— Поверить тебе?

— Не веришь? Клянусь головой шаха, я пошутил.

«Ах, чтоб тебе провалиться, врешь ведь! И сам уже поверил своим словам, и забыл уже, как готов был наброситься на меня, и теперь клянешься тем, что считаешь самым святым на свете. Да, купец есть купец! Если тебе понадобится, то ты не только шаха, но и мать свою продашь. У-у, проклятый!...»

«Противная девчонка, разве она поверит? Да и я тоже хорош! Как будто женщины на свете уже перевелись, одна эта и осталась! Честно говоря, девушка достойна шахского дворца. Но теперь не так-то просто будет ее туда доставить. На дорогах полно

разбойников, не знаю, что и делать... А-а, придумал! Ей-богу, у меня есть голова на плечах! И ничуть не хуже, чем у некоторых шахских визирей. Кто знает, может это и есть моя счастливая звезда. Как приведу ее к шаху, он, глядишь, одобрит мой выбор и скажет одному из своих визирей-векилов: слезай, брат, со своего тюфячка, государству нужны вот такие... Клянусь головой шаха, верности шаху у меня хоть отбавляй, ума — палата, что еще нужно?!» Обернувшись к девушке, купец громко сказал:

— Ты отныне должна блюсти себя... Да... А дороги стали опасными, полно разбойников. А что, если мы с тобой придумаем одну хитрость.

— Какую?

— Я куплю тебе мужскую одежду. Ты ее наденешь. И если кто в пути спросит, я скажу, что ты — мой сын... хи-хи-хи... Ну, как тебе это?

— Хорошее дело.

Девушка искренне обрадовалась. Теперь-то она будет избавлена от непристойных взглядов. В довершение всего Айтекин, выходя в путь, вымазала себе лицо сажей, обмотала под одеждой все тело, чтобы казаться бесформенной и уберечься от охотников за молодыми людьми. С помощью этого она избавилась также от похотливых взглядов...

19. ЗАГАДОЧНАЯ ЛЮБОВЬ

Около двух месяцев прошло с того дня, а девушке все теснило дыхание мерзкое видение. Уже не раз и не два в дороге у Айтекин выпадала возможность бежать. Была она у нее и теперь, тем более, что старик свалился в лихорадке. Но куда, к кому могла она убежать? Отца-матери она лишилась, родное племя перестало существовать. Все пути-дороги у нее перерезаны... Что пользы в побеге? Поймают и опять будет переходить из рук в руки... Понимая все это, Айтекин покорилась своей судьбе. В последнее время, после встречи с бездомным дервишем и Ибрагимом, в заледеневшую душу девушки проникло какое-то странное тепло. Но и в этой встрече, если подумать, не было никакой пользы. Что за жизнь была у самого скитальца-дервиша, чтобы он мог хоть как-то устроить ее судьбу? Вот почему девушка не раскрывала Ибрагиму своей тайны, не делилась горем, принимала бескорыстную братскую ласку опекавшего ее молодого человека.

Айтекин встала, тоскливо послонялась по комнате, уже не реагируя на стоны старика, не слыша даже его просьб: «воды... воды...» Вытащила из переметной сумы захваченные в дорогу из караван-сарай хлеб и сыр, немного поела, снова выпила воды из кувшина. Она не знала, чем занять себя. Если бы Ибрагим был здесь, можно было бы хоть поговорить с ним... Надеясь встретить его, девушка встала, вышла во двор. Моление, как видно, только что кончилось. Дервиши по двое, по трое выходили из молельни, расходились по своим комнаткам. Опускалась тихая, безветренная ночь. Было довольно светло, хотя луна еще не показалась. В глубинах неба тысячи ярких звезд мерцали, как золотые монеты, подмигивали, как чьи-то хитрые глаза.

Девушка ждала, завороженно глядя на изукрашенную сводчатую дверь молельни. Вот, наконец, вышел и Ибрагимшах. Шах! Вы только взгляните на этого шаха! Почему,

интересно, эти дервиши называют себя шахами? Ведь у них ничего нет, кроме латаных балахонов?! Большинство ходит оборванными, в лохмотьях... босые, с непокрытыми головами... только и есть имущества, что одна чаша да посох. Палка, украшенная бусинками, разноцветным тряпьем и нитками — воистину, шахское богатство! Только Ибрагим отличался от всех. Его одежда относительно нова и чиста. На плече висит сумка с книгами. Некоторые из этих книг он читает на стоянках, а порой и ей дает почитать, если она хочет... «Меназире», «Фераиз», «Нисаб», «Фигх», «Исагучи», «Фенари», «Сюллям», «Шархи-Исагучи»... Взваливает их себе на спину — вместо хлеба, как другие странники, вместо денег, как купец Рафи... и не расстается с ними, спит, положив голову на эту сумку. Ах да, у него есть и чернильница-пенал, и камышовые перья. Иногда, вытаскивая себе новое перо из камышина, Ибрагим протягивал другу сердцевину камышинки: «Ешь, это полезно, память будет крепкой», — говорил он. Вспомнив это, Айтекин подумала: «Да, память мне нужна, очень нужна! Я не должна ничего забывать. Может, аллах поможет встретить того, кто пролил кровь моего отца, матери, брата, племени. Если б мне хотя бы пригоршню выпить его крови — тогда, может, сердце мое остынет. Моего кровного врага зовут не только «шах». Говорят, он — шейх, основатель новой секты, поэт, пишущий прекрасные газели! Говорят, когда он велел уничтожить мое племя, ему было столько же лет, сколько мне. Оказывается, он мой сверстник! Поэт! Ну уж теперь-то его стихи наверняка совершенны... Тетя Салми читала нам его газели. «Странный у нас государь, — говорила она, — смотрите, какие прекрасные газели написал на нашем родном языке. Сделал вызов искусственным персидским газелистам, доказал, что и на азербайджанском языке они звучат превосходно».

Как же такой поэт мог расправиться со своим народом? Неужели, мой шах, в твоей груди — сердце поэта? Не верю! Не верю!» Последние слова Айтекин произнесла громко.

— Во что ты не веришь, брат мой? — этот вопрос задал Ибрагимшах забывшейся, погруженной в себя Айтекин.

«Да... Вот и второй, «шах» явился...». Усмехнувшись своим мыслям, девушка, чтобы сменить тему разговора, спросила:

— Почему вы, дервиши, называете себя шахами?

— Тому есть несколько причин, брат мой! Прежде всего, в нашем представлении нет разницы между нищим и шахом, бедняком и богачом. Мы не считаем себя ниже шахов и султанов, мы — султаны нищеты. С другой стороны, не сами дервиши называют себя шахами. Последователи, мюриды называют шахом тех, кто выделяется ученостью, глубиной познания. Шахи-дервиши — это те, кто превзошел всех в постижении наук, кто стал шахом знаний.

— Ясно.

— Как себя чувствует твой отец?

Девушку передернуло от того, что он называл Рафи ее отцом.

— Моему господину лучше, — ответила она. — Давеча его жар мучил, а теперь жар спал, но ага ослабел. Попросил воды, напился и уснул. А мне стало скучно одному, и я вышел.

То, что молодой человек назвал отца господином, агой, дервиша не удивило — многие употребляли в разговоре эту почтительную форму.

— Ты ждал меня?

— Да. Я подумал: посидим, поговорим. Спать совсем не хочется.

— Ты прав, мне тоже не хочется спать, рано. Ты что-нибудь ел?

— Немножко хлеба с сыром...

— Ты ничего не потерял бы, если бы присоединился к нам, сказал Ибрагим. — Уже теперь ты ешь то же, что и мы, — он рассмеялся, протянув девушке сверток. — В ханагях принесли приношение, давай поедим халву с юхой.

Они уселись рядышком на камне. Во дворе, кроме них, уже никого не было: закончив моление, дервиши удалились в свои кельи и, считая, что «сон — тоже моление», постелили на пол бараньи шкуры и улеглись на них, завернувшись в свои балахоны. Весь ханагах погрузился в сон, только эти два молодых человека не могли уснуть. Вот уже и луна взошла, залила мир светом, прогнав тени в дальние таинственные углы.

Халву, видно, подготовила искусная старушка. А юху раскатала такая же молодуха, как Гюльяз — с пухлыми руками, пахнущая гвоздикой и кардамоном... Юха с халвой были такими" вкусными, такими ароматными, что просто таяли во рту, как масло, пьянили запахом шафрана... Молодые люди почувствовали себя так, будто сидели у материнских колен, грелись у отчего очага. У обоих вырвался горестный вздох.

Ибрагимшах с завистью проговорил:

— Ты чего вздыхаешь? Тебе-то что! Через полтора месяца будешь дома, мать приготовит тебе халву лучше этой, еще более вкусные сладости, ты поешь... А я вот никогда не увижу ни матери, ни отца! Я — бездомный скиталец...

— И у меня нет матери... — прошептала девушка.

Ибрагим сочувственно посмотрел на нее, мягко положил на плечо друга руку.

— Извини, братец, ей-богу, я не знал, что твоя мама умерла...

Айтекин вздрогнула, испугавшись, что сейчас может раскрыться ее тайна. «Если бы наше положение дервиша и бездомной танцовщицы хоть чем-то разнилось, я бы открыла тебе свое горе, взмолилась бы: избавь меня от этого старика, уведи на другой конец света. Но как жаль, что ты такой же, как и я, горемыка, скиталец!» — подумала она, а вслух произнесла:

— Да, что поделаешь, все мы уйдем по этой дороге.

— Верно, братец. Да упокоит аллах ее душу! — Спасибо, и твоих умерших тоже... А знаешь, этот мужчина мне не отец. Он — мой господин, он купил меня с торгов, я ведь раб...

Голос Айтекин дрогнул, уткнувшись лицом в руки и пригнув голову к коленям, она зарыдала.

За свою короткую жизнь Ибрагимшах видел много рабов; проходя мимо невольничьих рынков, был свидетелем их продажи. И всегда сочувствовал этим несчастным. Но находиться рядом с рабом, слышать его прерывающийся от горя голос ему еще не приходилось.

«Как несчастен, оказывается, этот бедняга, которого я полюбил, как брата! Какой же он горемыка! А ведь, действительно, и «отец» ни разу не назвал его «сыном», да и он, по-моему, не чувствовал к нему почтения. Да, это тяжкое горе. Если бы у меня были деньги, я бы выкупил его и сказал: ты свободен, брат, хочешь — на родину вернись, хочешь — иди, куда пожелаешь, живи, как вольная птица. Или присоединяйся ко мне — дервишу, любящему тебя, как брата, вместе будем бродить по свету... Как жаль, что я на это не способен...» Ибрагим вздохнул и сочувственно произнес:

— Так написано богом у нас на лбу... Что поделаешь... Не печалься! Утром я поговорю с моим шейхом, может быть, мы сумеем выделить какую-то сумму из пожертвований, выкупим тебя, освободим...

Девушку растрогало такое сердечное сочувствие парня ее горю. Однако она знала, что Рафи не продаст ее за ту мизерную сумму, которую сумеет выделить на это дело шейх. Ведь Рафи мечтал доставить девушку во дворец, получить большую прибыль... Вот почему Айтекин, помолчав, сказала:

— Большое тебе спасибо, ага дервиш! Но он скорее умрет, чем выпустит меня из рук. Не утруждай себя понапрасну...

Ибрагимшах, хотя и удивился, но ничего не сказал. Чтобы направить мысли друга в ином направлении, он стал рассказывать ему о себе: может быть, юноша утешится, отвлечется рассказом о чужом горе:

— Мать у меля была такая ласковая! И отец тоже прекрасный человек... Он хотел, чтобы я учился, стал образованным. Сам был купцом, но цену учености знал. Как сейчас помню стихи, которые он читал мне... Но однажды, когда я уже почти заканчивал школу, я встретился с одним дервишем. Он открыл мне глаза на этот мир. Дервиш рассказывал удивительные вещи, учил, что настоящий человек всегда должен стремиться познать истину, заключенную в бого, стремиться сливаться с ней, пожертвовать во имя ее своей жизнью. Разве ты не видишь, что творится на свете? — говорил он. Один гуляет с пером по цветнику, а другой, протянув руку, молит о куске черного хлеба. Все во мне перевернули эти разговоры дервиша, я не мог больше усидеть дома. Раньше я узнавал жизнь по книгам, по сказкам бабушки, а теперь захотел увидеть ее своими глазами. Я примкнул к скитальцам-дервишам и отправился с ними в странствие по свету. Один из них — начитанный, повидавший мир дервиш, полюбил меня, как сына. День за днем он раскрывал передо мною учение своей секты, говорил о ее законах... Так вот я и стал дервишем... Что поделаешь...

— Неужели ты теперь всегда будешь скитаться? Нигде не обоснуйешься?

— Не знаю. Мир велик, чтобы все увидеть и жизни одной не хватит. В какой бы город ни пришел, я стараюсь узнать то, чего еще не знаю. Теперь... Теперь я, правда, преследую несколько иную цель. Мне необходимо добраться до Тебриза и любым способом постараться встретиться с шахом, сыном Шейха Гейдара.

При этих словах девушка затрепетала. Самые горестные дни ее жизни были связаны с именем шаха. Дрожащим голосом Айтекин спросила:

— А на что тебе шах?

— Мне о многом хочется его спросить, например, я внимательно прочел многие его нефесы, газели и пытался понять: во что же он сам верит, идеи какой секты проповедует? По-моему, в его произведениях перемешались и хуруфизм, и негшбендионизм, и щизм. Мне кажется, в каждой из этих сект он ценил лишь то, что служило достижению его собственных целей, способствовало захвату власти. Ничего не скажешь, он умело использовал религию в собственных интересах. Только вот секты-то он перемешал, а народ разделил. Вот и я хочу спросить у него: сознательно ли, намеренно ли он сделал это?

— Как это — народ разделил? — удивилась Айтекин. — А я слышал от умных людей, что он, напротив, объединяет родные земли под одним знаменем. А ты говоришь, разделяет?

— Знаешь, если люди говорят на одном языке, но наполовину сунниты, наполовину шииты, то разве это не разделение? Кровь, язык, обычаи — одни и те же, а религиозные секты — разные. Но если насаждать веру не убеждением, а мечом, то не послужит ли это еще большему разобщению народа?

Айтекин мало что поняла из сказанного Ибрагимом. Что ей за Дело до всех этих сект с их различиями? Ей трудно было понять, что именно эти различия и дали повод к религиозной войне, в горниле которой погибло ее родное племя. Девушке ни разу не вспомнился всадник, напугавший ее, когда она набирала воду в Реке. Не знала, что этот юноша, Рагим-бек, собственной рукой убил ее брата Гюнтекина и дал приказ стереть ее племя с лица земли.

Всего лишь минуту видела девушка его на берегу реки, и тотчас же забыла о нем. Все ее несчастья, все беды родной земли, все мысли о разрушенных селах и несчастных материах, оплакивающих своих сыновей для нее были связаны с именем только одного человека — сына Шейха Гейдара — Шаха Исмаила. Ее противником был он, только он! Она знала о его кровавых деяниях больше, чем этот дервиш. Жизнь ее после разгрома племени была столь ужасна, что умудрила и состарила девушку, быть может, больше, чем если бы она жила еще сто лет в покое домашнего очага. Айтекин тоже хотелось бы разгадать это сердце, в котором мирно уживались поэзия и злодейство, хотела бы понять, как может быть столь жестоким человек, сочиняющий такие тонкие, такие искренние стихи о любви... Но увы! Это, наверное, невозможно.

— Вот ты читал его газели, в которых любовь и величие человека ставятся превыше всего. Если это так, то старался ли ты осмыслить, как же он совмещает безудержное кровопролитие и разорение с восхвалением жизни и красоты?!

Ибрагим даже растерялся от неожиданности: не знал, что и ответить. Он искоса взглянул в лицо своего молодого друга: подобный вопрос не каждому под силу. В этом прекрасном, освещенном сиянием луны лице была такая печаль, такая отрешенность! Ибрагим содрогнулся. Только человек, отягощенный страшным горем, человек, которому деяния государя нанесли глубокую незаживающую рану, мог задаться подобным вопросом. Он так мало знал об этом юноше, а между тем его, оказывается, мучают такие противоречивые чувства, слишком сложные, впрочем, для простого раба...

— Ты верно заметил, брат, но я и не предполагал, что ты так тонко прочувствуешь это...

— Почему?

— Я и представить себе не мог, что ты так хорошо знаешь его произведения!

Оба замолчали. Молодые люди сидели плечом к плечу, лунный свет обливал их светлой волной, и парень не знал и не ведал, что творится в сердце девушки. Но счел очень странным, что именно в эту минуту лицо юноши напомнило ему другое — Нэсрин. Перед глазами его будто сверкнули ее заплаканные глаза. А Айтекин... Айтекин тоже испытывала странное чувство. Молодость, безлюдье и лунный свет усиливали возникшую несколько дней назад тягу... Девушка трепетала от непонятного ощущения, не зная, что это зарождается в ней первая любовь.

Внезапно на Айтекин напала веселость. Теперь рядом с Ибрагимом находилась, хотя и в мужской одежде, влюбленная девушка-кокетка. Она шутила с ним, нет-нет задевала, будто невзначай, локтем. Молодой дервиш ровно ничего не понимал. Раньше он принял бы эту игривость за избалованность купеческого сынка и отнесся бы к ней со снисходительностью старшего брата. Но теперь, после всего сказанного?! Девушка принялась подсмеиваться над белым дервишским одеянием Ибрагима, кажущимся в лунном свете особенно ярким. Больше всего забавлял ее широкий подол — ведь во многих городах, в которые забрасывала Айтекин невольничья судьба, так одевались женщины: снизу узкие шаровары, а сверху широкая короткая юбка.

— Ага дервиш, а как одеваются женщины в ваших краях? — спросила Айтекин, дернув Ибрагима за рукав.

Странно, но тот вздрогнул от этого прикосновения. Поскольку secta, к которой он принадлежал, запрещала ему любить и обзаводиться семьей, он при виде девушек старался подавить возникающие в сердце чувства. Даже Нэсрин, даже Нэсрин пожертвовал он! Разве совместимо это с его любовью к богу? Он запрещал себе думать об этом. Но что же с ним происходит теперь? Неужели в сердце вновь пробуждается запретное чувство... Отчего? — не мог понять молодой дервиш. Ведь рядом с ним сидит «брать», и что он может испытывать к нему, кроме братской привязанности? Однако как-то жар заливает все его тело... «О-о, неужели я становлюсь таким же испорченным, как некоторые дервиши? Сохрани меня от этого, о аллах!» — взмолился мысленно Ибра-гим. Он сурово сдвинул брови, локтем оттолкнул руку девушки: побоялся коснуться пальцами этой нежной руки. Встал.

— Пора спать, брат, ты иди, отдыхай. Я вот тоже скоро лягу, только поброджу немножко, — хрипло проговорил он.

То ли кокетство, то ли безысходность ожидавшей ее участи на миг заставили Айтекин забыть об осторожности. «Все равно однажды я погибну в лапах какого-нибудь негодяя. Уж лучше принадлежать этому юноше, в которого я, кажется, влюблена... А если я откроюсь ему, спасет ли он меня из лап этого злодея? Да нет, пустые мечты! Что есть у этого бедняги, чтобы он мог меня выкупить? Никто не даст ему большой суммы... Меня ведь ведут во дворец, от меня ждут большой прибыли». При мысли о дворце в сердце ее опять взбурлило чувство мести. «Нет! Я должна добраться до этого злодея и узнать, по какому праву он пишет газели о любви, о высокой любви? Любовь несовместима с жестокостью! Стихи может писать лишь чистый, ничем не запятнанный человек. Это кощунство — писать стихи и отдавать кровавые приказы! Человек, который пишет

любовные газели, не может оставлять людей без крова, лишать их жизни, убивать детей, — по тем местам, где прошел он, совы ухают! Я непременно должна спросить у него об этом. Я должна вкусить хотя бы каплю его крови, чтобы она притушила неугасимо пылающий в моей груди огонь священной мести, чтобы я могла, наконец, сказать: «Я отомстила за тебя, мой народ. Я отомстила за вас, мои отец и мать, мои братья и сестры!» Только тогда смогу я закрыть глаза на этот свет и с чистой совестью отправиться к тем, кто ушел в мир иной из нашего разоренного села. Нет, любовь — великое счастье, но досталась мне она в тяжкий день. Во имя мести я должна пожертвовать любовью».

Айтекин нарушила наконец затянувшееся молчание:

— Хорошо, иди погуляй, а я пойду спать, у меня уже веки слипаются. Извини, брат, я тебя совсем замучил.

Когда молодой дервиш услышал этот дрожащий голос, сердце его сдалось. Но вместе с тем он обрадовался, что начинает избавляться от наваждения. «Нет, конечно, он не развратный юноша. Что за глупые мысли у меня возникли? Это просто озорной ребенок. А я...» И снова Нэсрин, Нэсрин встала перед его глазами. Ибрагим поспешил вскочил, рванул шнурки на вороте своего белого балахона, подставил грудь навстречу легкому, как поцелуй девушки, ветерку. Пробормотав нечто нечленораздельное, удалился...

...В эти самые дни в рибате Гарачи предавался отдыку иностранный посол. Он решил задержаться в гостеприимном караван-сарае Ибадуллаха, чтобы отдохнуть после долгого пути, а уж потом с новыми силами продолжить путешествие. Он не был знаком с нашими молодыми людьми и не знал, конечно, что происходит в их сердцах. Не ведая об их существовании, он, естественно, не подозревал, что они находятся всего в нескольких агахах от него, в ханаяхе. Но и он, как мы знаем, направлялся к шаху. В течение всего пути посол не расставался с толстой тетрадью в черном переплете. И что бы он ни увидел интересного, непременно вписывал в эту тетрадь. О, там были очень любопытные записи! Из них можно было узнать о ценах на различные товары в городах и караван-сарайах, где останавливался посол, сведения о том, что можно с выгодой купить и продать в этих местах.

...«Отсюда на европейские рынки, и особенно в Англию, отмечал посол, — можно вывозить дешевый шелк-сырец. Английские купцы меняют здесь два куска ткани, именуемой «каранки», на шесть батманов шелка-сырца. Продавая один гуладж[37] тонкого красного сукна за двадцать пять-тридцать пятаков, за батман шелка-сырца они платят всего лишь шесть пятикопеечных монет!

Турецкие купцы скупают шелк-сырец прямо у крестьян, и он обходится им еще дешевле. Каждый раз они вывозят по сорок-пятьдесят конских грузов, а взамен привозят серебро для чеканки монет.

Отсюда можно вывозить по триста-четыреста конских грузов по пятьдесят-шестьдесят батманов каждый! Здесь в большой моде бархат всех оттенков: красного, оранжевого, черного, голубого, зеленого, коричневого цветов, а также английское и венецианское сукно. По еще более дорогой цене идет русское сукно, ширина которого на два дюйма превосходит наше сукно. Так что пусть ткачи это учатут.

...Тому, кто приедет в эту страну, надо обязательно купить раба-толмача, знающего тюркский язык.

...Русские купцы привозят сюда на продажу меха, сукно и многое другое, стараются прибрать к рукам местные рынки. Конкуренция с Россией — главная задача, стоящая и перед нами, и перед англичанами. Я уверен, что, если мы увеличим вывоз, перевес в этой конкуренции будет на нашей стороне и на ближайшие два года мы укрепим наши позиции в этих странах.

...Турки, имеющие в руках талеры и мадьярские дукаты, покупают все товары по более дешевым ценам.

...Нам необходимо воспользоваться родством с шахом и повести переговоры о получении разрешения на преимущество в торговле. Тогда мы будем свободны от пошлинного сбора и, что не менее важно, правители и кази в селах, городах станут помогать нам, как это положено.

...Если сюда будет привозиться больше голландского полотна, цветного бархата и сукна, товаров качественных и красивых, на нашей стороне окажется преимущество в конкуренции и с русскими, и с турками. Тогда здесь лучше узнают нас и перестанут оказывать предпочтение русским и английским купцам».

Хотя одежда, странный выговор посла, необычное его поведение и тетрадь в черной обложке и привлекали всеобщее внимание, а в караван-сарайах не любили «кяфиров», но к этому человеку относились уважительно, беспрекословно выполняли все его требования: он направлялся к самому шаху...

20. ПЕСЧАНЫЙ СМЕРЧ

Утром купец Рафи почувствовал себя лучше. Встал, с удовольствием позавтракал сыром, хлебом и халвой, которые Ибра-гим принес из ханагяха для всех троих. Заварили в черном сосуде имбирь и выпили. В этот момент послышался звон колокольчика, предупреждающий о приближении каравана. С удивительным проворством, неподобающим его возрасту, Рафи вскочил с места и велел Айтекин собираться.

— Пойдем, я себя уже сносно чувствую. Если и этот караван пропустим, аллах знает, сколько еще дней придется ждать.

Дожидаясь каравана, растянувшегося по дороге, Рафи с нетерпением прохаживался по двору. Караван обязательно должен остановиться здесь. Так и есть, вот караван поравнялся с ханагяхом... При виде старшего купца, восседавшего на породистом арабском скакуне, у Рафи просветлели глаза: это был его давний знакомый Гаджи Салман, и он радостно прошептал: «Какая удача! Гаджи Салман — надежный человек».

...Подбежав к каравану, Рафи протянул обе руки купцу, приветствовал его с подобострастной улыбкой:

— Ассаламалейкум, Гаджи, дай тебе аллах всяческих благ в путешествии!

— Алейкумассалам. И тебе того же.

Гаджи Салман абсолютно не доверял этому умильному щенячьему взгляду, этой показной сердечности. Ему была хорошо известна подлая и жадная натура Рафи, которого он презирал всей душой. «Скряга», — отзывался Гаджи-Салман о Рафи. Отдав распоряжение наполнить бурдюки водой из расположенного рядом с ханагяхом водоема, Гаджи Салман спешился и, чтобы размять ноги, стал прохаживаться. Пока сарбан и остальные погонщики запасали воду, Рафи не отходил от купца. Наконец, тот спросил:

— Рафи-ага, что это ты делаешь здесь?

Обрадованный, что Гаджи Салман наконец-то обратил на него внимание, Рафи поспешил:

— Да ниспошлет аллах тебе здоровья, Гаджи! В караван-сарае Ибадуллаха меня схватила сильная лихорадка. Все-таки я решил продолжить путь, но возле ханагяха силы совсем оставили меня. Один дервиш пожалел, устроил здесь. Теперь я, слава богу, здоров и как раз поджидал попутный караван. Но на такую удачу и рассчитывать не смел. Как говорится, искал я тебя на небе, а бог — на земле послал. Не в сторону ли Тебриза направляешься?

— Да.

— Гаджи, ветер поднимается! — сказал бежавший в это время к старшему купцу дервиш.

Услышав это, Гаджи Салман заторопился, и отмахнувшись от Рафи, следом за дервишем направился к ханагяху.

— Ну что ж, присоединяйтесь к каравану. Если есть груз, скажи сарбану, — бросил он на ходу Рафи.

— Нет-нет, я без груза, — торопливо проговорил купец. — Груз я с предыдущим караваном отправил. Со мной только слуга...

— Очень хорошо, скоро трогаемся.

...Бурдюки были уже наполнены водой и навьючены на верблюдов, когда Гаджи Салман вышел из ханагяха в сопровождении Ибрагима. Караван тронулся в путь, и вместе с ним в шахскую столицу отправились Рафи, Айтекин и специально представленный Гаджи Салману молодой дервиш Ибрагимшах.

* * *

До сих пор дела у старшего купца Гаджи Салмана шли хорошо. Целым и невредимым переходил его караван от города к городу, от села к селу. Гаджи Салман торжественно выступал на своем гнедом иноходце впереди каравана, время от времени проводил холеной рукой по своей густой, черной, без единого седого волоска бороде. Следом за ним ехал сарбан Субхан. Он держал за недоуздок черного верблюда, на шее которого висел большой колокол. Звон его был слышен на десять агачей вокруг. На голове верблюда был султан из перьев, отороченный кисточками. По обе стороны морды висели

маски, украшенные мелкими ракушками каури и бусинками, охраняющими от сглаза. Когда на них падали солнечные лучи, ослепительно сверкали прикрепленные к маскам осколки зеркала. Накидка на верблюде из паласа была соткана, видно, рукою искусной ковроткачихи. К передней стойке седла был прикреплен на древке наконечник флага в виде кисти руки, долженствующей охранять караван от всевозможных разбойников. Талисман был предупреждением для всех, что хозяин каравана является торговым компаньоном Абульфазлул-Аббаса, гневного сына святого Али. Часть товаров была выделена для пожертвования пятерым под абой[38].

Следом за черным верблюдом шли, связанные цепочкой, другие верблюды. А в самом конце каравана гордо выступала ничем не нагруженная молодая и красивая белая верблюдица. Эта белая верблюдица была общей любимицей, и особенно ее холил сарбан Субхан. Верблюдица была украшена разнообразными ткаными изделиями — яркими коврами и переметными сумами, красочными масками.

Гаджи Салман вез особо ценимые в Тебризе товары — шелк-сырец, дараи и келагаи. В этот раз ему повезло с примкнувшими к каравану путниками. Как только они достигнут столицы, он отнесет несколько тюков с заморскими товарами во дворец и возьмет с собой иностранного посла, что присоединился к его каравану. Возможно, шах отнесется к нему с благосклонностью, тем более, что Гаджи Салман везет во дворец еще и отличного ашыга, который мечтает поступить на службу к шаху. Ашыг просышал, что шах ценит поэтов и музыкантов, оказывает им покровительство, собирает во дворце искусственных резчиков по камню, каллиграфов, поручает работу различным ремесленникам. Что особенно интересно, во дворце всемогущего шаха, вопреки обычаям, и говорят, и пишут на родном языке, отдают предпочтение певцам-ашыгам из народа. Такого раньше и не видывали! Что, казалось бы, делать во дворце простому ашыгу? А сам шах... Короче, наслышавшись таких чудес, ашыг взял под мышку трехструнный саз и отправился в путь. Человек он молодой — и свет успеет повидать, и свое искусство показать. Там, глядишь, и пару найдет себе подходящую... Но кто знает, быть может, иная причина заставила его покинуть родину и пуститься в странствие, как Ашыг Гарип? И ждет его в родном краю красавица, которую отказались выдать за бедного ашыга... И уехал он, чтобы добыть много денег и, став владельцем состояния, вернуться и соединиться со своей возлюбленной. Кто знает? Во всяком случае, с тех пор, как молодой ашыг примкнул к каравану, у Гаджи Салмана было прекрасное настроение. Время от времени ашыг вынимал из чехла трехструнный саз, бережно прижимал его к груди, настраивал струны и, приладив поудобнее, начинал наигрывать печальные мелодии, потом, увлекшись, пел назидания, гэзеллеме, дувагапма, гыфыл бенди[39].

О ага, о кази мой,

Как любимая обманула меня!

Протянул я руку к подолу любимой —

Отбросила в сторону руку мою.

Сеть забросил я в озеро любви,

Попалась в нее лебедушка моя.

Но злодей погубил надежды мои —

Дешево продал-купил меня.

Не удержавшись, ему начинал подпевать и любимец караванщиков сарбан Субхан. Гаджи Салман давно знал его, много лет доверял свои товары только этому приветливому человеку. Как правило, у каждого каравана бывал и свой певец, и борец, и сказитель, чтобы развлекать караванщиков на ночлеге в долгом пути. В некоторых селах, случалось, дорогу им преграждал какой-нибудь местный пехлеван, вызывая помериться силами. Если в караване не оказывалось своего борца — платили дань за право беспрепятственного проезда мимо села, если же был — он принимал вызов, и все наслаждались зрелищем схватки. Любил сарбан к мугамы, сам обладал прекрасным голосом. Как затянет мелодию на одной стоянке, так и поет ее вплоть до следующей. Или просто мурлычет себе что-то под нос. Но с тех пор, как к каравану примкнул ашыг, мугамы Субхана звучали лишь от случая к случаю. Субхан буквально влюбился в ашыга. Оберегая его от усталости в дальней дороге, часто усаживал на верблюда между тюками с поклажей.

— Пой, дорогой, — говорил он, — тут тебе будет удобно, и голос твой весь караван услышит, и поднимешь нам настроение.

По обе стороны каравана шли пешие паломники, странники, дервиши. Среди них находились купец Рафи, Айтекин и дервиш Ибрагим. Порой Рафи, горбя усталые плечи, подходил к сарбану Субхану и жалобно морщил похожее на кутаб лицо. Вперив в собеседника мутные выпученные глаза, Рафи тяжело вздыхал:

— Пришел, видно, мой смертный час...

Сарбан понимал уставшего старика и, изредка сжалившись, усаживал его среди тюков на тяжело нагруженного верблюда. В таких случаях Рафи не позволял себе заснуть. Весь дрожа, он с подозрением следил за Айтекин, шагавшей рядом с Ибрагимшахом, часами не сводил с обоих настороженных глаз.

Субхан, замечая это, сердился:

— Слушай, да ложись ты и отдохни! Не съедят же твоего слугу средь бела дня! Верблюд и так под тобой ревет, а ты еще... Груз скинешь!

Слышавший весь этот разговор Гаджи Салман, хотя и молчал, но в душе сочувствовал слуге такого жестокого человека, как Рафи. «Бедный юноша, не повезло ему. Если бы выкупить его из рук этого злодея, он мог бы стать хорошим слугой во дворце», — подумал про себя.

Видит аллах, благодушному Гаджи Салману всегда хотелось сделать что-то хорошее. Эта поездка сулила ему большую выгоду. Тем более, что их долгий путь подходил к своему удачному завершению. Особенно большие надежды он возлагал на содержимое одного из тюков, находившегося на головном верблюде: купленные у русских купцов соболи меха и драгоценный ларец, а в нем — работы знаменитого бакинского ювелира Дергяхкулу: серьги «гырхдюйме», «пияле», «бадами», «гозалы зенк», ожерелья, ручные браслеты с

застежкой из резных цветов, ножные браслеты с бубенчиками, кольца с яхонтами, агатами, изумрудами, рубинами и бирюзой. Все это Гаджи Салман вез для дворцовой сокровищницы. Для шаха и его приближенных предназначались и едущие на паланкинах невольницы, среди которых — искусные певицы и танцовщицы.

Гаджи Салману едва перевалило за сорок, а он уже возглавлял такой большой и богатый караван! Он гарцевал впереди на породистом жеребце, а ашыг, прижав к груди трехструнный саз, заливался соловьем:

Горе твое поймет лишь изведавший горе.

Прежде, чем сердце отдать, взгляни в глаза:

Если встретит с улыбкой, но холoden взор его,

Остерегись, доверять такому нельзя!

То и дело раздавались восхищенные возгласы караванщиков:

— Аи, молодец, ашыг!

— Дорогой, как это ты говоришь: доверять такому нельзя?!

— Дай тебе бог здоровья, ашыг!

— Хорошо сказано! Скажи тому, кто сам изведал горе!

— Хвала твоим искусственным рукам, ашыг!

— Да пойдет тебе впрок материнское молоко!

— Да не сочтет аллах тебя лишним для твоего отца!

— Да поможет тебе аллах!

— Люди, это же божий дар!

— Сам Али, видно, поднес ему кубок!

— Слава тебе, ашыг, слава! Да проживешь ты столько, сколько простоит мир!

Гаджи Салман, приставив ладонь к глазам, внимательно взгляделся в небо. Что-то цвет у него стал меняться, и это очень не понравилось главному купцу. К полудню они должны дойти до очередной стоянки, и силуэт караван-сарайя, где они найдут отдых, уже виднелся впереди. Почувствовав запах жилья, ускорили шаг и кони и верблюды.

...Вдруг в небо взметнулся, мгновенно затмив синеву, высокий фонтан песка. Невесть откуда сорвавшийся ветер водоворотом закрутил песок пустыни, поднял его столбом,

закружил, как бешеный смерч. Песок ослеплял глаза, забивался в рот, словно плетьью стегал лоб и щеки, тысячью игл колол незащищенную шею...

— Остановитесь! Скорее, скорее! Спешиваться! Всем!

— Намочите платки и полотенца, оберните головы верблюдам и коням мокрыми тряпками!

— Уложите лошадей и верблюдов на землю и сами ложитесь рядом! Укрывайтесь от смерча...

Ветер заглушал голоса, доносились лишь обрывки поспешных команд. Сарбан, погонщики, извозчики, купцы и прочие путешественники почти вслепую укладывали лошадей и верблюдов, ощупью доставали всякие тряпки, смачивали их водой из бурдюков и деревянных сосудов и обертывали головы испуганным жи-вотным. Затем сами опускались на песок рядом с ними, пряча головы от ветра...

Гигантская юла песчаного смерча исчезла так же быстро, как и появилась. И пятнадцати минут не прошло, как вдруг воцарилось спокойствие.

Самым первым пришел в себя сарбан Субхан. Он встал, отряхнулся, и, глядя на поверженных караванщиков, громко закричал:

— Вставайте, братья! Ураган прошел!

Люди зашевелились. В считанные минуты песок покрыл их толстым слоем, и теперь они стряхивали его с себя, приводили в порядок одежду, поднимали коней и верблюдов.

— Слава богу, быстро кончилась буря!

— Такая долго не длится.

— Божья кара миновала, слава богу милосердному!

Гаджи Салман, прия в себя, снова взглянул на небо и, что-то решив, повернулся к Субхану:

— Субхан, брат мой, не надо поднимать верблюдов! Пришло время полуденного намаза. Пока мы соберемся и дойдем до стоянки, наступит и вечерний намаз. Давайте лучше здесь совершим полуденный намаз, чтобы не упустить времени. Совершим его здесь, где создатель даровал нам спасение.

— Верно, Гаджи! — ответил Субхан и довел слова главы каравана до всех путников: — Люди, не торопитесь! Встанем здесь на полуденный намаз.

Один из погонщиков подошел к Гаджи Салману:

— Да буду я твоей жертвой, Гаджи-ага, но в бурдюках не осталось ни капли воды. В спешке, когда мочили тряпки, горлышки сосудов плохо закрыли, и вся вода вытекла. Для омовения совсем нет воды. Может, доедем до караван-сарай и вместе совершим полуденный и вечерний намазы?

— Нет! — почему-то Гаджи был непреклонен. — Мы же странники, можем омыться песком. Что есть чище здешнего песка? Он вполне пригоден для омовения!

Вокруг Гаджи Салмана уже собирались погонщики и примкнувший к каравану люд, кроме иностранного посла. Все согласились с мнением Гаджи Салмана. Каждый отошел в сторону и, выбрав местечко на нетронутом, выглаженном давешним ветром песке, опустился на колени. Потерев руки песком, люди совершили ритуальное «омовение», очистились от всего мирского и, вслед за Гаджи Салманом, повернув лица к кыбле, встали на намаз. Этот намаз Гаджи совершил с особым рвением, с большим чувством произносил по-арабски положенные строки...

Полуденный намаз окончился, можно было трогаться в путь. Но тут произошла еще одна задержка. Возле одного из верблюдов Айтекин и Ибрагимшах стояли на коленях перед простертym на земле купцом Рафи. Старик, видимо, умирал. Слабеющим голосом он попросил:

— По-позвовите Гаджи Салмана...

Дервиш поднялся с колен и подошел к Гаджи Салману, который, окончив намаз, собирался уже взобраться на коня.

— Гаджи, кажется, старик отдает богу душу. Просит вас подойти...

Гаджи Салман, недовольно ворча про себя, что этот скряга доставляет ему излишние хлопоты в дороге, подошел к больному:

— Ну, что с тобой, Рафи-ага? В чем дело?

С трудом переводя дыхание, Рафи слабым движением руки подозвал поближе главу каравана. Окружившие их погонщики, купцы и дервиши переговаривались. Кто-то заметил:

— Он, видно, завещание хочет сделать.

Рафи прикрыл веки, еле заметно кивнул, подтверждая эту догадку. По приказу Гаджи Салмана все отошли от умирающего, оставили их наедине. Гаджи склонился к лицу Рафи, похожему на кутаб, взял его холодеющую руку. Казалось, жизнь постепенно оставляла немощное тело старика: только в груди, где слышались хрипы, что-то еще жило. Едва слышным голосом Рафи зашептал:

— Слуга... слуга... она девушка... танец... Тысячу динаров... Отдашь в Тебризе... Квартал Джелаир... Нам... Если умру... У сарбана Магеррама... товары... мои...

Эта были его последние слова. Ни молитвы не произнес, ни слова доброго не сказал. И ничье имя не вспомнил — ни сына, ни брата, ни сестры...

Гаджи Салман закрыл выпущенные глаза Рафи и, поднимаясь с земли, подумал: «Так, видно, и должно было с ним случиться. Без дома, без савана, без молитвы... Жестокий ты был человек, да упокоит аллах твою душу. Но, может, милосердный бог в величии своем простит тебя, чтобы дух твой не стал скитальцем...»

Караванщики снова встали на намаз, теперь уже погребальный. Купца Рафи омыли песком и здесь же, в степи, захоронили. А потом Гаджи сказал Айтекин:

— Теперь ты под моей опекой, детка. Бог даст, дойдем до места, там что-нибудь придумаем.

Только после этого он сел на коня и дал знак каравану трогаться.

...Когда караван вошел в город, полдень уже давно миновал. Еще издалека их внимание привлекли остроконечные минареты и большие купола мечетей. Остальные здания были ничем не примечательны: плоские хибарки или одноэтажные маленькие, сложенные из сырого кирпича, домишкы. Но видны были лишь крыши приземистые здания окружали высокие глухие глиняные заборы. Ни в них, ни в стенах, обращенных к узким улочкам домов не было ни одного окна. «Господи, как же они дышат? — изумлялся иностранный посол. — В этой знайкой южной стране, в этом мирке, сложенном из камня, сырого кирпича и глиняных заборов, как, должно быть, тяжело дышится человеку!»

Ни один ребенок не встретился им на улицах, это тоже отметил внимательный взгляд посла. Однако он просто не знал местных обычаяв: скрытая от посторонних глаз, за глиняными заборами вовсю кипела жизнь. Во внутренних двориках были разбиты яркие цветники, навевали прохладу бассейны с фонтанчиками, затеняли двор поднятые на навес виноградные лозы, росли ухоженные плодовые деревья, лишь кое-где поднимавшие над забором свои вершины. Всю свою жизнь проводили в этих дворах женщины, здесь же, в покое и прохладе, подрастали дети. Хотя глина и не столь прочной материал, но каждый забор был крепостью, защищавшей от всего света улыбчивый мир детства и материнства. Такое уж было время: раз в три-четыре дня на пыльные узкие улочки вихрем налетали свирепые всадники на горячих конях. И горе тем, чей забор не охранял вооруженный мужчина! Такой дом бывал разграблен за несколько минут. Всадники не гнушились никакой добычей. Они набрасывались на нее, жадно кружка по узким улочкам и, наспех похватав, что могли, так же внезапно, как вихрь, исчезали. Вот почему заключили себя в добровольную «тюрьму» горожане, вот от кого охраняли их дома, угрюмо отворачивавшие свои глаза-окна от просторного мира в тесные дворы.

Ни одной лавки не было на улицах города. Вся торговля проходила на широкой площади у городских ворот, перед караван-сараем. Лабазники, бакалейщики, шапочники, ювелиры, медники, кузнецы, столяры, гончары, ковали, шорники, мануфактурщики, стекольщики открывали свои лавки именно здесь и, выстроив перед ними образцы своей продукции, поджидали клиентов. В глубине лавок шло изготовление изделий, у порога — купля-продажа. Торговля шла довольно бойко: разгрузив в караван-сарае верблюдов, купцы и погонщики непременно приходили на площадь, продавали часть привезенных товаров, приобретали кое-что взамен, а через день-другой караван, нагрузившись, отправлялся Дальше, в другие большие города, являющиеся центрами торговли.

По древнему обычаю, здесь же, у базарной площади, находилось и городское кладбище. Помимо куполообразной гробницы, здесь не было ни одной благоустроенной могилы. Старые провалились, а новые погребения серели сиротливыми холмиками. По мусульманскому поверью с течением времени могила должна исчезнуть, сровняться с землей. Вот почему кладбище не обсажено деревьями, ничем не выделено из окружающей среды. Только одно старое, искривленное дерево росло здесь: оно стояло у каменной куполообразной гробницы сеида. Только места последнего упокоения святых оставлял грядущим векам ислам. Рядом с деревом находился очень древний водоем, закрытый сверху сводчатой дверью. Отсюда же брали воду и местные жители, и приезжие.

Несколько в стороне от водоема виднелось приземистое построение, служившее для обмывания покойников.

Когда караван Гаджи Салмана достиг городка, все были поражены: площадь перед караван-сараем и прилегающие к ней улицы были полны народа. Что-то нарушило спокойную жизнь городка, понял Гаджи. И столпотворение на базарной площади отнюдь не похоже на обычную суету, связанную с прибытием каравана. Наоборот: вступив на площадь, караван вынужден был остановиться перед толпой. Никому и в голову не пришло уложить верблюдов, просмотреть товары. Гаджи Салман, повелев Айтекин не отходить от него ни на шаг, двинулся вперед.

Из улицы на площадь выехала странная процессия. Впереди на разнаряженном коне ехал правитель города. Следом за красочно разодетым правителем ехал молодой всадник. По обе стороны его скакали по пять слуг с обнаженными, поднятыми вверх мечами. Десять мечей ослепительно сверкали в солнечных лучах. А дальше, за ними... шагал осел с посаженным задом наперед человеком, похожим по одежде на английского купца. Слуга, ведший осла под уздцы, хлестал плетью попеременно то животное, то избитого до полусмерти купца. Как на религиозно-траурных представлениях, группу обступили горожане. Одни смеялись над купцом, другие жалели его. Молодой человек, следующий за правителем, то произносил молитвы, то, проводя ладонью по лицу, совершал салават, то с явным акцентом повторял слова: «О Хейбар-агасы, о Гейдари-керрат, к тебе прибегаю!»

Позади них на некотором расстоянии, ехал на белом мule кази этого городка и повторял:

— О владелец дара, о зять пророка[40], прости и прими! Будь милостив в судный день!

К стоящему в изумлении Гаджи Салману приблизился венецианский посол.

— Что здесь происходит, господин Гаджи? — спросил он, Гаджи, уже успевший узнать у одного из местных жителей, в чем дело, ответил, не отрывая взгляда от процессии:

— Да будет вам известно, господин посол, что человек, посаженный на осла — английский купец. А вот тот, что едет в окружении слуг с мечами — его компаньон, а может слуга, знающий наш язык. Говорят, будто во сне он увидел владельца Дюль-дюля, Гамбар-агасы джанаба Алиюл-муртазу[41]. Он явился к правителю города и заявил, что все товары купца принадлежат ему. Затем он перед городским кази принял нашу веру. И все товары достались ему. Купец пригрозил, что пожалуется святыне мира. И вот по приговору кази купец несет наказание за то, что посмел угрожать человеку, перешедшему в нашу веру. Я и прежде слышал о таких случаях. Некоторые слуги, то ли стремясь отомстить своим хозяевам, то ли действительно желая принять истинную веру, обращаются к городским правителям, кази. У нас такой человек считается самым святым мусульманином. Ему прощаются все грехи перед богом до семидесятого колена. Люди относятся к нему сердечно, помогают жениться, создают условия для торговли, не облагаются его товары налогами...

«Да, — подумал посол, — чтобы соблазнить других. Это страшное дело. Если каждый жулик-слуга поступит так, чтобы завладеть товарами своего хозяина, торговля станет для нас еще опаснее. Когда червь подтачивает дерево изнутри, опасность возрастает вдвое. Нет, это необходимо будет пресечь. Нельзя вводить в такой соблазн подлых слуг. Как только я буду представлен шаху, я объясню ему, что это послужит препятствием для свободной торговли, нарушит ее законы. И в эту страну тогда перестанут завозиться

товары. Европейские купцы, обьятые страхом за свои товары и жизнь, вряд ли пойдут на такой риск! Пусть шах издаст специальный указ об этом и о наказании тех, кто оказывает покровительство мошенникам-слугам».

Через некоторое время посол запишет эти мысли в своей записной книжке. А пока он во все глаза смотрит на странную группу, которая кружит по площади. Процессия остановилась перед гробницей сеида. Спешились только правитель города, кази, молодой человек, «принявший веру», и двое из сопровождавших. Кази, которого слуги спустили с мула на руках, повел правителя и новообращенного мусульманина внутрь гробницы. По его указанию молодой англичанин поцеловал надгробный камень священной могилы, положил приношение. Еще раз прочитал молитву. Затем они вышли из гробницы, сели на коней и в сопровождении слуг и толпы зевак двинулись в другую сторону, исчезли в переплетении узких городских улочек...

Когда осела пыль от конских копыт, Гаджи Салман и Субхан отдали распоряжение распрыгать верблюдов. Нужно было разобрать поклажу, оставить часть ее, предназначавшуюся для продажи, в этом городке и накупить новый товар.

Посол снял в караван-сарае маленькую комнатку и, по обыкновению, собирался занести в свои записи все, что увидел за день. Посол подробно описал песчаный смерч, внезапно захвативший их на предыдущей стоянке, не забыл упомянуть и о барде, именуемом здесь ашыгом. Ашыг, отметил он, играет на инструменте, похожем на большую деревянную ложку. Всего три струны натянуты на эту «ложку», но, умело пользуясь ими, музыкант воспроизводит чуждые европейскому слуху, но красивые мелодии. Посол аккуратно внес в свою книжку и еще одно, не укрывшееся от его глаз обстоятельство: на каждой стоянке к Гаджи Салману подходит какой-то дервиш и, произнеся какие-то таинственные, видимо, условные слова, уединяется с ним. Сначала иностранец не придал этому особого значения, решив, что бедный дервиш просит пожертвования у богатого купца. Но потом с теми же словами к Гаджи Салману подошел другой дервиш, через несколько дней — третий... До предела напрягая слух, посол все же разобрал, что все они произносят одни и те же слова: «Бади-мюхалиф эсир», что значит «Дует противоположный ветер». Услышав эту фразу, Гаджи Салман, чем бы он ни был занят, тут же отходил в сторонку с подошедшим к нему дервишем. Это показалось очень подозрительным венецианскому послу: ведь на остальных дервишах Гаджи Салман не обращал никакого внимания, да и что общего может быть у преуспевающего купца с одетыми в рубище бедняками? Однако же и сегодня, когда Гаджи Салман отдавал распоряжения о товарах, от гесселхана[42] на кладбище отошел дервиш, лохмотьев которого испугались бы сами джинны. Дервиш вышел на площадь, подошел к главе каравана, и не обращая внимания на косые взгляды, вполголоса произнес:

— Бади-мюхалиф эсир, Гаджи-ага!

На глазах у всей площади Гаджи Салман уважительно поздоровался с ним, пожал ему руку, а затем приложил свою правую руку сначала к сердцу, потом к губам и, наконец, ко лбу, как бы говоря: «Мои сердце, уста и мысли — с тобой».

— Пожалуйста, войди в мою комнату, ага дервиш, я всегда рад выпить чашечку молока в обществе божьего человека, — приветливо улыбнулся он дервишу.

Гаджи Салман подозвал сарбана, возившегося с грузами, потихоньку поручил ему приглядывать за молодым слугой покойного Рафи. Громко сказал Айтекин:

— Ты, детка, помоги сарбану, а потом придешь ко мне, я буду в комнате. Мне надо тебе кое-что сказать...

Отдав необходимые распоряжения, Гаджи вместе с дервишем удалился в отведенные ему покои.

В этот день посол пришел к окончательному выводу, что в словах «бади-мюхалиф эсир» заключена какая-то тайна. Появляющиеся на стоянках дервиши, видимо, передают купцу какую-то весть. Одно из двух, решил посол: либо Гаджи Салман является «ухом» секретной организации, действующей против шаха, либо, путешествуя по стране, он собирает сведения для него, доносит ему о том, что делается на местах. Во всяком случае, пообещал себе посол, он разгадает эту тайну, когда доберется до дворца. Хотя бы вскользь оброненным намеком даст понять шаху, что ему известно, чем занимаются караванщики в этой стране. И если Гаджи Салман действует против шаха... Что ж, возможно, он избавит «святыню мира» от грозящей ему опасности, и тем самым выwyżит свой ранг и престиж у шаха. Тогда уж он выполнит все просьбы и требования посла...

21. ОХОТА НА ЛЬВА

Караван Гаджи Салмана вступил, наконец, в столицу. Казалось, в городе был необычный праздник. Народ сновал по улицам, мюриды, казн, воины громко поздравляли друг друга. Вскоре выяснилось, что шах одержал победу в поединке с львом, и подданные радуются этому событию. Казн Шамлу Мурад-бек, принесший шаху весть о том, что на яйлаге Савалан появился лев, сиял, как жених. Он горделиво гарцевал на своем скакуне по базарам, по площадям, выбирая наиболее многолюдные. Все с завистью смотрели на черного жеребца, на котором разъезжал Мурад-бек: знали, что тот, как только получит от покровителя мира арабского скакуна со сбруей из золота и серебра, продаст свою лошадь. Шамлу Мурад-бек никогда не держал двух коней сразу! Уже и покупатели нашлись. Поздравляя бека с такой удачей, старались договориться и о покупке:

— Ого, Мурад-бек, тебе крупно повезло! Смотри, если будешь продавать своего черного жеребца...

— Что за вопрос, буду ли продавать? Конечно, буду! Разве можно одновременно сесть на двух коней?! Я ведь не табунщик, не цыган и не торговец лошадьми. Я — воин падишаха, да буду я жертвой его самого и всех его предков! Сегодня я здесь, завтра — в другом месте, и всегда готов вести битву с врагами святой нашей веры. На что мне два коня? И одного достаточно!

— А может, у того коня норов будет хуже, чем у этого?

— А ведь верно, к чему спешить?

— Да о чём вы говорите, люди, опомнитесь! Дареному коню в зубы не смотрят. Какого даст, на такого и сядет. Ведь не может же он этого оставить, а того продать?!

— Слушай, ты говоришь неподобающие слова! Разве не знаешь, что шах никогда не даст коня, хуже, чем его конь, не предложит одежды хуже, чем его одежда? Так что будь спокоен: какой бы ни был конь, а лучше этого будет.

Мурад-бек, слушая спорящих, довольно подкручивал усы. Стремясь впятеро поднять цену черного жеребца, он то пускал его вскачь, то поднимал на дыбы и, улыбаясь в усы, наблюдал за теми, кто жадными глазами разглядывал его коня.

Среди собравшихся на площади было много дервишей. Одни из них во всеуслышание восхваляли шаха, перечисляли его доблести, нараспев читали оды, прославляющие самого шаха, его детей, весь его под. Другие молили предка имама Джафар Сады-га, мученика Кербелы, Алиюл-муртазу дать остроту шахскому мечу, силу — рукам, бесконечную храбрость — сердцу, солнечный свет — глазам, чтобы «кубивающий львов, разрубающий тигров шах столь же легко одолел еще более сильных врагов».

Молодой кочевник, пристроившись к старику, похожему на шорника, с любопытством спросил:

— Дядя, а что такого сделал Шамлу Мурад-бек, что тот, чьей жертвой пребуду я, дарит ему коня, да еще и с золотой сбруей?

Тоном учителя, объясняющего урок непонятливому ученику, стариk ответил:

— Детка, как видно, ты не знаешь об указе нашего падишаха. Ведь он — большой любитель охоты и считает, что ничто на свете не может сравниться с охотой, причем с такой, которая была бы достойна настоящего игита. В одиночку он убивает льва такой отважный! Вот он и издал указ: каждый, кто принесет ему весть, что видел в окрестностях тигра, и укажет его местонахождение, будет награжден шахским векилом Махадом, получит не-оседланного коня. Тот, кто наведет шаха на льва — получит коня с полной сбруей! Теперь вот дня два назад Шамлу Мурад-бек принес шаху весть, что видел льва на горе Савалан[43]. Владыка мира тут же снарядился и отправился на охоту. Слуги, наibly все остались в стороне, он сам, собственноручно убил льва. Вестник раньше всех принес эту новость во дворец. А рано утром глашатаи на всех базарах возвестили об отваге нашего падишаха. Сегодня Шамлу Мурад-беку, согласно указу, достанется оседланный конь, и какой!

— Ах, хоть бы мне увидеть!... — не успел молодой кочевник произнести эти слова, как снова все вокруг перекрыл голос глашатая:

— Эй, лю-юди-и-и! Эй, мюриды, эй, казн, эй, жители Тебризаа-а!... Знайте и разумейте, что силой, данной создателем мира, государь всей земли, спаситель нашей веры, его величество шах на охоте острый, как зульфугар[44], мечом поверг льва!... Шамлу Мурад-бек, принесший добрую весть, приглашается в резиденцию векаила Махада. Наградой за сообщение будет конь «халдар-дай», из личного табуна шаха — покровителя мира. Сегодня после вечернего намаза конь с полной сбруей будет передан Мурад-беку. Все, кто хочет посмотреть на это торжество, пусть приходят на площадь перед дворцом векаила Махада-а-а!...

— Слов нет, щедр наш шах.

— За одно только сообщение — одно седло и халдар!

— Да-а, никто еще не уходил от его ворот с пустыми руками...

Гаджи Салман, беседуя с послом, шел в сторону дворцовой площади. Краем уха он ловил обрывки всех этих разговоров и думал: «Действительно, щедрость шаха — щедрость Хатама! Наверное, поэтому, а не только из-за войн и сражений, частенько пустует шахская казна!»

Препоручив посла канцелярии визирю, размышлял Гаджи, он повидается с тайным служителем шаха, сообщит ему, что прибыл. А затем в укромном месте будет ждать тайной, лицом к лицу, аудиенции. У вернувшегося победителем с львиной охоты шаха, конечно же, будет прекрасное настроение. Принесенные Гаджи Салманом добрые вести и щедрые подарки еще больше окрылят его...

* * *

Оставшуюся часть дня Гаджи Салман посвятил розыску семьи купца Рафи и выполнению последней воли покойного. У старого купца не было сыновей. В небольшом домике Гаджи встретили старуху — жена покойного и его дочь, девица на выданье. Гаджи Салман отдал им товары, переданные ему на хранение старым купцом. Заплатив семье Рафи приличную сумму — выкуп за Айтекин, Гаджи Салман решил устроить судьбу несчастной и в тот же день отвел девушку, о достоинствах и танцевальных талантах которой и не догадывался, в подарок давнему своему знакомому-старому визирю шаха.

Вскоре после утреннего намаза один из служителей тайной резиденции пригласил его явиться к шаху. Гаджи Салман велел погрузить на мула привезенные подарки и направился к тайной резиденции, где шах имел обыкновение принимать своих осведомителей или иных посетителей, которых хотел видеть наедине.

Тайный служитель ввел Гаджи Салмана в давно ему знакомую комнату. Незатейливая, без украшений, она простотой своей напоминала воинскую палату. Хотя пол был выстлан прекрасными тебризскими коврами, стены были голы. В углу против двери лежал тюфячок из тирмы, обложенный подлокотниками. Поскольку шах принимал здесь только отдельных собеседников — дервишей, сарбанов, доносчиков, осведомляющих его обо всем, что происходило в его обширной стране, пограничных областях, соседних государствах — то против шахского «трона» лежал только один небольшой тюфячок. Войдя в комнату, Гаджи Салман остановился у порога: пока не войдет шах, не укажет место своему гостю, дальше идти не полагалось. Но ждать Гаджи Салману пришлось недолго. В боковой стене нижней части комнаты открылась неприметная маленькая дверь. Показался раб-нубиец. Опустив голову и скрестив на груди мощные руки, он встал справа от дверного проема. За ним вошел тайный служитель. Всей своей позой выражая смиренную почтительность, служитель застыл слева от двери. Только потом вошел шах. Он еще не сиял охотничьей одежды. Как видно, служитель, встретив шаха при въезде в город, сразу же сообщил ему о прибытии Гаджи Салмана, и молодой шах решил, не откладывая, повидать купца. Поскольку Гаджи Салман стоял, склонив голову, он не видел лица шаха, а только его сапоги из парчи с загнутыми носками да обширеные галунами полы охотничьей куртки «ширвани», надетой поверх зеленых атласных шаровар.

Войдя в комнату, шах произнес:

— С благополучным прибытием, Гаджи! Подойди сюда.

Гаджи. Салман поднял голову, сделал несколько шагов вперед. Руки, как полагалось, купец скрестил на груди и, не дойдя до шаха, опустился на колени, склонился в низком поклоне. Гаджи почтительно поцеловал землю у ног шаха и, наконец, сел перед ним, подняв голову. Теперь он ясно видел лицо «святыни мира». Хотя короткая курчавая бородка, которую он помнил по прежним посещениям, заметно отросла, хотя она и придавала тонкому лицу двадцатилетнего шаха возмужалость и зрелость, все же это свежее белокожее лицо выглядело очень и очень юным.

Большие черные глаза на этом нежном лице казались еще крупнее. Из-под шлема с небольшим походным султаном выбивались густые кудри. На шее шаха не сиял драгоценный синебенд, на руках не было браслетов, талию не обивал знаменитый пояс Хатаи, который обошелся в сумму семилетней подати. Все это молодой шах надевал лишь на официальные приемы и церемонии. Сейчас же он повязал обыкновенный кушак, надел простые налокотники. «Ширвани» его была разодрана в нескольких местах. «Наверное, следы львиных когтей», — подумал Гаджи Салман, украдкой разглядывавший фигуру шаха, его юное лицо, сиявшее откровенным упоением победителя. Молодой шах дружески обратился к Гаджи:

— Давай, Гаджи, рассказывай! Как говорится, то, что ты ел в чужих краях, пусть твоим и останется, а вот увиденным и услышанным поделись с нами.

— Свет очей моих, государь! Позволь прежде слугам рассыпать перед твоими ногами принесенные мной скромные дары.

Шах улыбнулся:

— Ты знаешь, Гаджи, что я не люблю многословия, витиеватых фраз. Говори проще, и говори на своем родном языке, так мне будет приятнее. Я всегда рад и тебе, и принесенным тобой подаркам.

— Привычка, мой шах! Но, пожалуйста... — улыбка тронула губы и Гаджи Салмана.

По едва заметному знаку шаха тайный служитель отворил дверь и впустил слуг с подносами в руках. Когда с них были сняты накидки, молодой шах лишь мельком оглядел различные золотые украшения с вправленными в них драгоценными камнями; просмотрел соболи меха. Небрежным жестом отправил дары в дворцовую сокровищницу. Обратив внимание шаха на несколько особо ценных вещей, Гаджи Салман поведал кое-что и о знаменитых мастерах, изготавливших их.

— Мой шах, — добавил Гаджи Салман, — подношение включает также сорок специально отобранных невольниц, уже помещенных на женской половине дворца. Среди них есть и танцовщица, и певица. Взгляните на них, когда выберете время. Я буду счастлив, если хоть одна удостоится вашего взгляда.

— Прекрасно. А теперь...

Слуги, почтительно склонившись, забрали подносы и вышли. Раб и тайный служитель тоже покинули комнату. Шах и Гаджи Салман остались наедине. Уловив вопросительный взгляд шаха, Гаджи начал говорить. Но рассказывал он так, будто продолжал прерванный

разговор, будто расстались они не шесть месяцев назад, а вчера, возможно даже, час назад...

— Моя святыня, послов я доставил до места вполне благополучно. Поскольку Салим находился в Конии, мы направились прямо на конийский базар. Вашего посла во дворце приняли с большими почестями.

По лицу молодого шаха скользнула ироническая улыбка. «Еще бы, ведь и до его ушей донеслись вести о наших победах и захваченных территориях. Конечно, теперь-то он считает нас родней», — подумал шах.

А Гаджи продолжал:

— На несколько месяцев послов оставят во дворце в качестве гостей, а уж потом пришлют ответ. Я подумал: чем попусту держать столько времени караван, лучше мне вернуться, чтобы быть к твоим услугам. А когда отправлюсь туда в следующий раз, доставлю их обратно, если они закончат свои дела и получат письма.

Облачко грусти набежало на юное лицо шаха:

— А история Сиваса — правда? Ты Гияседдина видел?

— Лично его я, к сожалению, увидеть не смог, мой шах! Все они удалились от света. И странным образом смешались секты элеви и бекташи. Сам Гияседдин и его сорок дервишей удалились в большую пещеру у подножия Эрзерума. А дервиш по имени Ибрагим вместе с другими единоверцами поднял знамя религиозной войны, собирает под ним всех измученных гнетом Султана Селима.

Разумеется, Гаджи Салман ничего не знал об Ибрагиме ввполняющем некое тайное поручение и пришедшем с его караваном. Да и откуда было знать ему, что этот дервиш и есть широко известный в народе поэт-дервиш Ибрагим? Шах, тоже не подозревавший, что тот, о ком идет речь, находится столь близко, сказал:

— Надо беречь таких людей, как Ибрагим, Гаджи! Ты скажи своим людям, чтобы всегда помогали им. Говорят, мужчина, не умеющий на семь дней вперед рассчитать свои поступки, и женщина, не предвидящая на семь дней вперед — очага своего создать не могут. А поэт видит на семь, а, может быть, и на семьдесят лет вперед. Сила слова очень велика! Жаль, что прежде многие наши поэты писали на персидском языке, и слово их не доходило до народа, потому что простые люди не понимали их... А Ибрагим, как я слышал, делает сейчас для нас в Руме то, что под силу, пожалуй, лишь целой армии. Дервиши много рассказывали мне о том, как он умеет зажечь людей, и его слушают, идут за ним, собираются в готовые сражаться отряды.

Слово есть, по которому голову с плеч снимают.

Слово есть, что кровных врагов примиряет.

Даже горсть отравленного ядом плова

Превратит в мед со сливками слово.

Шах говорил, а Гаджи Салман высекал эти строки в своей памяти. Он будет читать их повсюду, как заклинание, как молитву. На каждой стоянке каравана он, как правило, пересказывал собирающимся вокруг него людям слова шаха, стараясь донести до них его идеи. И еще долго будет стараться, пока его не остановит смерть.

Гаджи Салман поклонился, поцеловал землю перед шахом и полу его «ширвани». Воздев руки к небу, помолился, чтобы не затупился победоносный меч молодого шаха, и продолжал свои сообщения:

- Движение сорока охватывает многих! У каждого дервиша, принадлежащего к секте негшбенди, есть свои сорок, у каждого из этих сорока — есть свои триста эренов. Движение дервишней усиливается, оно охватило уже весь восточный Рум. Дервиши ждут лишь твоего сигнала, мой падиша!
- Этот бесчестный Селим не принимает моего вызова на битву...
- Боится, мой государь, ведь слава твоего победного меча распространилась на весь мир. Куда ни пойдешь, везде идут разговоры о тебе. Называют тебя Мехти нашего времени. Особенно много делают для твоего величия во всем Руме стихи Ибрагима. Его нефесы — прости мне мою смелость, святыня мира, — не отличаются от твоих.
- А что в стороне Гарамана?
- Везде скута, мой государь, ждут только одного твоего слова: «да»!

Беседа затянулась. Шах расспрашивал Гаджи Салмана о силе противника, видах оружия, задавал ему множество интересующих его вопросов. Гаджи подробно рассказывал обо всем, что видел и слышал в далеком пути. Не забыл он рассказать и о прибывшем с его караваном «фирранском» после.

Шах остался очень доволен разговором с Гаджи Салманом. Когда он, наконец, отпустил его, был уже полдень. Шах не знал, что впереди его ждет еще одна встреча — с посланцем одного из эренов, очень близких ко дворцу Султана Селима. Встреча с поэтом-дервишем Ибрагимом...

* * *

Достигнув города, Ибрагим отдалился от каравана. Несмотря на то, что в последнее время между ними сложились довольно странные отношения, ему было тяжело расставаться с Айтекин. А девушке перед лицом этого тяжелого расставания, расставания навеки, так хотелось признаться ему: «Я не раб, а рабыня того старого скрупца. И по его завещанию купец Гаджи Салман продаст меня на невольничьем рынке, как товар, как вещь; а деньги отдаст его семье. Спаси меня. Да, у тебя нет денег, чтобы выкупить меня! Но как мне быть?! За свою короткую жизнь я уже столько повидала! Столько лиц... Столько улыбок... и только ты... мне дорог в этом мире, где я так одинока. Что это за чувство? Я и сама не

могу сказать! Ведь я — купленная за деньги рабыня, невольница, которая питается объедками купившего ее купца, Ага Рафи! Мне надо знать свое место... Я не имею права на любовь! Это право у меня отняли... Я тоже была свободнее свободных... У меня был родной край, цветущая солнечная долина среди изумрудных гор и отвесных скал. Были у меня отец и мать. Как розовый бутон, цвела и раскрывалась я! Лепестки мои тянулись навстречу алуому солнцу, навстречу счастью... Но тот кровавый государь отнял у меня право па любовь, па счастье! Отнял у меня это право любить тот самый кровавый воитель, в чьи стихи я потом невольно влюбилась, чьи оды любви впитывала, как шербет! Он залил кровью мое село, мой родной край. Все сровнял с землей... Мечом перебил мою родню, моих сородичей. Только ради одного — всех сделать шиитами... Читая его стихи, я пыталась найти ответы на мучающие меня вопросы. Но не смогла; не могу понять, как в одну и ту же грудь вмещаются сердце влюбленного и сердце кровавого воителя! Ради тебя я, может быть, и отказалась бы от своей мести... Ради тебя!.. Разлука с тобой вновь напомнила мне тот день, когда загорелся, запылал родной мой край. Как мне быть?! Я... Разорви же мою грудь — и сам увидишь любящее тебя сердце!»

Ибрагим стоял перед ней, понурив голову. Он тоже с непонятной ему самому болью мучительно переживал предстоящее расставание. Опять ему казалось, что эти горько плачущие, каждый как пиала, полная крови, глаза, принадлежат не его младшему другу, а Нэсрин. Рыдает, трепещет любящая Нэсрин. Он пытался отогнать от себя эти недобрые мысли. «Боже милосердный, что за нелепое чувство я испытываю к своему другу?!

Неужели я тоже становлюсь таким же, как те дервиши, позорящие имя настоящего дервиша? Причем здесь Нэсрин? Почему эти плачущие глаза порой словно туманом затягивает, они меняют цвет, превращаются в глаза Нэсрин? О боже, что общего между этим юношей и моей Нэсрин?! Хорошо, что мы расстаемся. Хотя я и теряю брата, теряю друга, хотя это и очень тяжело, но, с другой стороны, мне кажется, что это хорошо, это лучше...»

Вот так и расстался Ибрагим с Айтекин, и то, что она — девушка, распознало только его тело, а разум и сердце оттолкнули влечение, казавшееся преступным. С тяжким, как самый трудный экзамен, поручением он должен был назавтра явиться во дворец, представать перед шахом. Ему предстояло передать государю важные сведения от пира Ибрагима. Мудрец мудрецов — пир решил, что для спасенного от виселицы Ибрагима оставаться дольше в переживающей смутный период Конии не следует. Он берег этого прекрасно играющего на сазе, сочиняющего божественные стихи юношу, который после сорокадневного поста занял достойное место среди познавших истину мудрецов. Поэтому пир, заставив Ибрагима выучить наизусть послание о военных приготовлениях количестве воинов и оружия, описание привезенных из Франкистана и сохраняемых в тайне огнедышащих пушек, отправил его с попутным караваном прямо к самому шаху. Пир не доверил этой тайны даже старому знакомцу — купцу Гаджи Салману, одному из тех, кто доставлял сообщения от Хатаи его тайным приверженцам и передавал обратные сведения. Он лишь поручил ему во время странствия присматривать за Ибрагимом, своим духовным сыном, которого любил как собственное дитя. У молодого дервиша горячий норов, мало ли что может случиться в дальнем пути!

Только на день задержался Ибрагим в Тебризе. Снял небольшую комнатку в караван-сарае, сходил в баню, очистил от дорожной пыли и грязи и тело, и одежду, стал мысленно готовиться к встрече с великим государем и недосягаемым главой религии, удостоившимся высшего ранга главы секты — мудреца мудрецов, пиром пиров — Шахом Исмаилом Хатаи, стихи и нефесы которого он так любил. Через некоторое время после вечернего азана Ибрагим приблизился к дворцовym воротам. Предъявил данное ему пиром серебряное кольцо с высеченным на агатовом камне словом «ху» — бог. Не

прошло и четверти часа, как тайный служитель провел его в специальную резиденцию шаха.

...Когда негр-нубиец скрестил на груди свои толстые черные руки, предплечья которых охватывали сверкающие медные браслеты, Ибрагим опустился на колени. В потайную комнату вошел очень просто, по-охотничьи одетый молодой шах. Протянул Ибрагиму руку. Со смущающим его самого учащенным сердцебиением Ибрагим поцеловал эту сильную руку, увенчанную крупными перстнями с драгоценными — бирюзовыми, изумрудными, рубиновыми, алмазными и жемчужными каменьями. А потом, с разрешения шаха, сел напротив него.

Они остались в комнате одни, лицом к лицу. И Ибрагим, в соответствии с полученным заданием, передал шаху подробные сведения о приготовлениях султана к войне, назвал количество войск и виды вооружения, вплоть до полученных из Франкистана огнедышащих пушках. Шаха до глубины души взволновал рассказ молодого человека, своими глазами видевшего несчастья, обрушившиеся на дервишской Конии и ее окрестностей, когда разом было перебито более сорока тысяч шиитов.

— Сними одежду дервиша, эрен, — сказал шах. — Я знаю, это тяжело, но необходимо. Сегодня родина больше нуждается в доблестных воинах, чем в дервишах. Пока же побудь во дворце. Отдохни, пообщайся с поэтами, чтобы уладить душу, и почаще принимай участие в военных занятиях. Время слов проходит, пора от слов перейти к делу! Будь же готов выполнить свой долг.

Ибрагим воспринял каждую фразу, каждое слово государя, как сошедшую к нему с небес суру Корана. Он остался во дворце и, видя, какими заботами окружил молодой шах художников, каллиграфов, ашыгов, ученых и поэтов, всей душой поверил в то, что говорил Хатаи о родине, родном языке, родном народе. Поверил, что тот печется лишь о благе народа, что все, что делает молодой шах — во имя единения людей...

22. ТАНЦОВЩИЦА

Прошло два года с описанных событий. В богатом доме старого визиря, пообещавшего показать государю нечто удивительное, вовсю готовились к приему высокого гостя.

Вместе с хозяином дома шах подошел к дверям, решетчатые створки которых сами распахнулись перед ними. Отступив в сторону, визирь почтительным жестом пригласил шаха войти. Переступив порог, шах изумился: комната, можно сказать, была совершенно пуста. Пол, похоже, из черного мрамора, но не скользкий, не был устлан коврами. Ни одной мутаки не лежало здесь. Лишь в почетном углу этой комнаты-залы, похожем на невысокую сцену, стояли красивые кресла. Их было два: одно высокое, с подлокотниками, напоминавшее трон; другое — низенькое, вроде табурета. Кресла были обтянуты полосатой тирмой, на сиденьях лежали мягкие тюфячки, крытые английским красным бархатом.

Стены комнаты были увешаны красочными кашанскими, тебризскими, ширванскими коврами. На высоких полках стояли сосуды для розовой воды и шербета, цветные рисунчатые тарелки, ярко расписанная посуда. Шах понял, что комната показалась ему

пустой именно из-за непривычно оголенного пола. Но, не выказывая своего удивления, не произнеся ни слова, он по приглашению хозяина дома поднялся туда, где стояло кресло с подлокотниками, удобно расположился в нем. На низеньком кресле, теперь уже с разрешения шаха, уселся старый визирь. В тот же миг откуда-то полилась нежная печальная музыка. Невидимый кто-то играл на уде. Через некоторое время в музыку вступил тар, а потом стали отвечать легкие, пьянящие звуки кеманчи. Тонкая лирическая музыка уводила за собой слушателей в мир воображения, в мир сказки...

В тот самый момент, когда шах и визирь с наслаждением погрузились в волны мелодии, в комнату, как легкие тени, скользнули красивые невольницы. Осторожными плавными движениями они начали засыпать пол чем-то белым, сыпучим — то ли мукой, то ли мелом. Делали они это так медленно, что в воздух не поднялась ни одна пылинка. Опервшись на подлокотники кресла, шах следил за ними, не подавая виду, что заинтересован тем, что последует за этими странными приготовлениями. Не поддаваясь действию опьяняющей музыки, уводящей его за пределы этой комнаты, шах внимательно следил за всем происходящим, стараясь не упустить ни одного движения... Покончив дело, девушки бесшумно удалились. Их сменили другие две невольницы, одетые, как и предыдущие, в воздушные голубые платья. Они принесли две разрисованные скатерти, гелемкари, и молча расстелили их так, чтобы надписи были обращены к шаху. Осторожно ступая по самому краю, девушки удалились. Хозяин дома почтительно обратился к шаху:

— Святыня мира, пожалуйста, прочтите эту газель.

Любимая сядет, скрестив ножки —
и вопль восторга в небо взовьется.

Встанет она, пройдется немножко —
светопреставленье начнется.

Если весь Ширван перейдет в Тебриз,
чужестранцы весьма удивятся этому.
Что это? — скажут, воздев руки ввысь, —
судный день, конец света?

Да... Вспомнил. Он написал эту газель, когда находился в Багдаде, тогда был под сильным впечатлением от победы над Ираком. Он стоял на берегу Тигра, лунный свет проложил по реке серебристую дорожку, и арабские напевы растворялись в тихом всплеске прибрежных вод...

Шах выпрямился. В том, что его стихами разрисована скатерть, нет ничего удивительного. Во всех восточных городах выделяются такие материи. В зависимости

от надписи, они используются в качестве скатерти на свадьбах и на поминках, служат узелками при хождении в баню, а некоторые даже покойников в них заворачивают. Существуют и специально заказанные гелемкары, на них записывают стихи любимых поэтов. На расстеленных сейчас на полу скатертях в центре розовых, голубых, фиолетовых узоров в два ряда была записана собственная газель шаха. Он понял это с первого же байта[45] и недоумевающе посмотрел на хозяина дома. «Ну так что здесь необычного?» — спрашивал, казалось, его взор. Легкая улыбка тронула губы визиря, он проговорил:

— Святыня мира, вы же дали слово, потерпите еще немного... Ничего не ответил шах. Неужели этот глупый старик настолько выжил из ума, что отнимает у него драгоценное время ради того, чтобы он увидел собственные же стихи на обыкновенной скатерти? Он пришел сюда только потому, что ему пообещали нечто необычное! А здесь?! Ведь эти его газели переписаны в сотнях экземпляров руками самых искусных каллиграфов, оформлены кистью самых лучших художников, известны во всей стране! Отвлеченный этими мыслями, пытаясь подавить поднимающийся в его сердце гнев, шах не сразу почувствовал изменение ритма музыки. Теперь это была танцевальная мелодия. Невидимая группа музыкантов исполняла ее с большим усердием. Звуки уда, тара, кеманчи, саза, канона, бубна, постепенно нарастая, кружились в бурном вихре. Внезапно распахнулись двери напротив шаха. В комнату влетели двое юношей. В такт быстрой музыке закружились они на скатертях. Шах не успел даже к ним присмотреться — их странный танец кончился так же быстро, как и мгновенно начался. Юноши исчезли в боковых дверях. Шах и опомниться не успел, как снова вошли невольницы в голубом и осторожно подняли с пола скатерти. Возглас удивления и восхищения вырвался у молодого шаха — теперь-то он понял, какое чудо обещал ему визирь! Черными линиями на белой мучной пыли слово в слово, без единого лишнего штриха, была «записана» та самая газель, которую только что прочел шах на скатертях. Танцовщики вывели ее своими ногами, причем черный цвет пола заменил им тушь, а белая мука — бумагу. Шах теперь уже читал свою газель так, будто видел ее впервые.

Если глава секты выйдет из своего дворца,

Стар и млад будут стремиться к нему без конца.

Хатаи с самого начала видел это и знал:

Прежде является Ной с призывами, потом начинается шквал.

Неведомые «каллиграфы» не допустили ни одной ошибки в этой газели, повествующей о давней победе.

— Кто они — джинны, дьяволы? — восхищенно произнес шах. — И снова легкая улыбка прошла по лицу хозяина дома:

— Не джинны и не дьяволы, святыня мира, а дочери вашего низайшего раба.

— Как, к тому же они — девушки?

— Да, святыня мира, они не осмелились танцевать перед вами в своих нарядах. Разрешите, они войдут теперь, чтобы поцеловать ваши следы?

Визирь и без того знал, что шах захочет увидеть девочек.

— Пусть войдут, — прошептал, не скрывая своего волнения, шах.

Замина и Сахиба вошли в комнату. Они уже успели переодеться, и в своих богатых красочных нарядах походили теперь на невест. На обеих были надеты парчовые полуархалуки с узкими рукавами. Спиральные браслеты украшали их белые руки. На стройных шеях красовались настоящие шемахинские ожерелья — лица девушек были открыты взору. Каждая заплела волосы в четырнадцать косичек и закрепила их жемчужными нитями. Они склонились перед повелителем в покорной позе, деликатно положив руку на руку. Обеим девочкам недавно исполнилось по тринадцать лет, и хотя некоторое время назад в мальчишечьей одежде не было заметно, что они угловатые подростки, теперь, з девичьем наряде, были похожи на нежные, только начинающие распускаться бутоны. По знаку шаха девочки приблизились к нему, каждая с благоговением поцеловала протянутую ей руку. Шах отечески погладил выбивающиеся из под тирмы завитки волос девочек, улыбнулся:

— Молодцы, хвалю, а кто же вас научил этому? Слава вашему устаду[46], но кто ваш устад?

Девочки переглянулись, а их отец проговорил:

— Мой шах, этот устад и есть чудо, которое я хотел вам по-казать. Если позволите...

Шах нетерпеливо прервал его:

— В таком добром деле ты можешь и не просить разрешения. Позволяю, конечно, позволяю...

Решетчатая дверь, из которой некоторое время назад выпорхнули танцовщицы, снова отворилась. Вошла молодая женщина — нет, казалось, сам ангел вошел в зал! Это была Айтекин, которую два года назад Гаджи Салман привел в подарок старому визирю, получив, как водится, кое-что взамен. Не отрывая от нее взгляда, не помня себя, шах поднялся с места. Это было невиданное дело: повелитель встал, приветствуя невольницу! Но если встал повелитель, мог ли сидеть старый визирь? Вскочил и он, стояли его дочери... «Это ангел, воистину это ангел, сошедший с небес! Ангел, освещавший путь пророку, когда он возносился на небо!..» Шах не мог найти других слов. А молодая женщина... Да, она кокетливая, стройная, как кипарис, мелкими шажками шла по коврам: их, пока шах был занят разговором с девочками, неслышно расстелили красивые невольницы. Она гордо держала голову. Человек, восхищенный ее искусством, ее красотой, этот счастливец из счастливцев был ее врагом, убийцей ее народа. Этот проливающий кровь, разрушающий мирные дома, разоривший целые страны шах лишил ее родины, родного гнезда... Маленький кинжал, с которым девушка никогда не расставалась, жег ей пупок под нежным архалуком и тонким поясом. Сколько времени ждала Айтекин этого мгновения! Сколько пожертвовала, сколько месяцев, лет терпеливо таилась, выжиная желанный день, когда она вонзит, наконец, в его грудь кинжал и узнает, есть ли в ней сердце! Выпить каплю его крови — может, тогда успокоится сжигающий все ее существо огонь мести. На мгновение Айтекин показалось, что этот день настал, и, если она упустит случай, другого не представится... Но в этот самый момент Айтекин увидела с

любовью устремленные на нее глаза сестер-близнецов Сахибы и Замины, перехватила сияющий отеческой гордостью взгляд старого визиря... «Нет, нет! Удачный миг еще не настал! Мюриды, кызыл бashi изрежут ведь этих несчастных на мельчайшие кусочки, раскидают бешеным псам. Это будет черной неблагодарностью с моей стороны... Потом мне представится удобный случай, обязательно представится!» Так думала грациозно двигающаяся по ковру Айтекин.

Она мелкими шажками приблизилась к государю, встала на колени и, по обычаю, хотела поцеловать землю перед падишахом. Но шах этого не позволил. Поэт не мог допустить, чтобы искусный мастер целовал землю у его ног, он жестом пригласил ее поближе — к Сахибе с Заминой.

— Иди сюда, устад, иди сюда! Наверное, твои ученицы тоже зовут тебя так?

— У нее нет других учениц, кроме моих близнецов, святыня мира! Она — невольница, купленная вашим нижайшим рабом.

Айтекин уже привыкла к подобным словам. И все же сердце у нее заныло. Но шах-поэт не мог прочитать по ее лицу, что творится на сердце «устада», потому что голова Айтекин была опущена. Вместе с тем сердце поэта дрогнуло от слова «невольница». С горечью подумал он: «Будь проклят закон, делающий объектом купли-продажи такого художника, такую бесценную красоту!»

Шах забыл, на мгновение совсем забыл, что он шах! В душе его сейчас говорил только поэт!

— Украшение мира, самая крупная жемчужина корон... За сколько ж дирхемов ты ее купил, визирь?

— За триста дирхемов, — на ходу придумал визирь.

— Как язык твой повернулся произнести цену, старик?! Она стоит столько, сколько весит, а может быть, даже больше.

— Верно, мой государь! Но я сказал, как было, просто ответил на наш вопрос. Мой друг, купец, дал ее мне в подарок. А я в благодарность преподнес ему вазу ценой в триста дирхемов.

— Он вручил тебе подарок, достойный шахов, визирь! — не отводя глаз от Айтекин, с чувством произнес шах.

Визирь тотчас понял заключавшийся в этих словах намек, но не подал и виду.

— Мой повелитель, — сказал он, — вот я и представил вам то, что достойно шаха...

Но шах, казалось, не понял: он обдумывал, что сказать, как получить эту беспримерную красоту.

— Давно она у вас?

— Два года, святыня мира! Она и сама может подтвердить, что нашла в этом доме свободу так же, как и другие рабыни. Никто ее никоим образом не обижал. А с этого дня, святыня мира, она подарена вам.

На сердце шаха снизошел покой. Хорошо, что старый визирь догадался сам произнести эти слова, не заставил шаха просить о подарке.

— Благодарю, визирь! Проси у меня, что хочешь за этот бесценный дар. Что захочешь...

Визирь с тихой печалью покачал головой:

— Тогда это будет не подарок, мой государь, а снова торговля. Мне довольно лишь здоровья, благополучия святыни мира.

«Интересно, старая лиса, что у тебя на душе? Хотел бы я знать с какой целью ты делаешь этот подарок? Но как бы то ни было, твой дар стоит любой цели», — думал шах, не отводя глаз от девушки.

— Ты прав, визирь, эту беспримерную красоту, это высокое искусство ничем нельзя измерить. Я сам провожу ее во дворец. Пусть она там познакомится с другими служителями искусства. И сама пусть обучит своему искусству молодых талантливых не-вольниц.

Уста шаха произносили эти слова, а сердце его говорило совсем другое...

— Это еще не все, мой государь, — сказал воодушевленный похвалой шаха визирь. — Она умеет и читать, и писать! Создатель даровал ей не только необычайную красоту, но и ум. Она очень высоко ценит твои стихи. Я бы сказал, что нет у тебя такой газели, которую бы она не знала.

Шах слегка усмехнулся, лицо его покраснело. Новая газель так и просилась на язык, и, не замечая ни старого визиря, ни девочек, он вперил хмельные глаза в лицо смутившейся Айтекин и сказал:

— Но сейчас я прочту такую газель, которую, готов поручиться, она не знает.

И визирь, и девочки, улыбнувшись, переглянулись. Поэт начал читать только что созданную газель:

Любимая моя, лишь ты дала мне в этой жизни свет.

И знает бог: в душе моей и не было другой, и нет.

Все преходящее в мире, и лишь искусство вечно.

Богатство, имущество, трон, корона — так скоротечны.

Тень стана твоего дороже славы мира для меня.

И девять сводов неба величья твоего не стоят.

Нет, в мире не было еще такой, как ты,

Владелица ума и славы, царица красоты!

Волнуясь, он не мог подобрать дальше слова, на мгновение умолк и, странное дело, государь, слышавший ежедневно сотни похвал, теперь был просто поэтом, взволнованно ожидавшим похвалы от человека, которого он считал мастером высокого искусства. Девушка почувствовала это, но нисколько не смущилась. Теперь не шах и невольница, а два больших художника стояли друг против друга. Художник ждал оценки художника. И она сказала:

— Эту изящную газель святыни мира не могла знать жалкая невольница. Слава великому вдохновителю, слава творцу, который воодушевил славнейшего из славных на создание этой бесценной жемчужины. И я счастлива, если тоже хоть на мгновение доставила великому государю удовольствие, выразившееся в создании этих драгоценных бейтов...

Губы девушки дрогнули в легкой улыбке, и, увидев это, поэт подумал: «Лучшее украшение женщины — ее улыбка!»

От смелых слов девушки дрогнуло и сердце старого визиря, он испугался. Но поэт не произнес ни слова. С радостью ученика, удостоившегося похвалы учителя, он смотрел на девушку.

— Слава творцу, создавшему тебя! Назови же свое имя...

На этот раз вместо девушки поспешил ответить визирь:

— Айтекин зовут вашу покорную служанку.

— Да будут долгими дни твоих родителей, давших тебе такое имя, Айтекин — луноликая! Где бы они ни были, скажи! Я освобожу их, даже если они разбойники, если пленники — я вызволю их из плена, осыплю благами мира!

Все потемнело в глазах девушки. И поэт, и поэзия умерли для нее в один миг. Перед ее мысленным взором ожили родное село, которое залила кровью рука воинственного государя, родной брат, казненный воинами шаха, отец и мать, уведенные неведомо куда, в неволю... В голове пронеслись обжигающие мысли: «Ты пришла сюда для мести, Айтекин! Только месть за родной край, за дорогих людей должна жить в тебе. Не подобает поэзии услаждать свой слух! Вспомни причиненное горе. Ради мести, одной только мести ты живешь!»

Увидев, как погас блеск в глазах девушки, как на ресницах появилось по жемчужине, поэт понял, что ненароком коснулся ее ран. Напомнив об умерших родителях, расстроил сироту...

— Прости, — печально произнес он, — затронул неведомое мне горе. Да пребудет над нами милость аллаха...

И визирь, и его дочери, стоя поодаль, в глубоком изумлении слушали разговор шаха с рабыней. Наконец, святыня мира, поднявшись, поблагодарила хозяев дома за гостеприимство. Уходя, он обратился к старому визилю:

— Завтра я сам покажу Айтекин комнаты, отведенные для нее.

* * *

...Замок был огромен. Бронзовые решетчатые ворота его почти постоянно были открыты. Огромный зеленый двор, способный вместить большие верблюжьи караваны, окружала стена, в толще которой были устроены высокие комнаты. Прямо напротив ворот высилось двухэтажное здание. Справа и слева от него вдоль всей ограды шли одноэтажные комнаты-кельи. Украшенные орнаментом из геометрических фигур, составленных из фаянсовых кирпичиков, они были не менее красивы, чем основное здание. Посреди двора находился окруженный цветниками бассейн с журчащими фонтанами. Высокие деревья и кипарисовая аллея, ведущая от бассейна ко дворцу, делали двор похожим на сад. Женская половина находилась в задней части дворца. К ней вели две дороги: внешняя — по наружной стороне дворца, и еще внутренняя, через дверь, выходящая на задний двор. Задний двор отделялся от переднего решетчатым деревянным забором. Ни госпожи, ни их невольницы на переднем дворе не показывались, они могли пользоваться только садом и цветником заднего двора. Здесь в окруженном кипарисами бассейне с фонтаном плавали всевозможные красочные рыбки. Порой среди деревьев показывались яркопестрые павлины, мелькали пугливые джейраны.

На второй день пребывания во дворце государя Айтекин вечером была приглашена в комнату отдыха шаха. Он ждал ее, обуреваемый нетерпением и страстью...

— Я сам покажу тебе дворец, — и повел ее в передний двор, днем заполненный людьми, слугами, стражами, а теперь пустой, охраняемый крепко запертными воротами. Молодой шах начал по-казывать девушке расположенные вдоль ограды комнаты:

— Это — для каллиграфов. В древности в Андалусии жил один кази^[47]. Он был большим любителем книг. Шесть каллиграфов постоянно переписывали их для него. Где только услышит название хорошей книги, тотчас же купит за большие деньги; саму книгу никому не даст прочитать, сначала отдаст каллиграфам, что бы переписали, а уж потом даст читать. И у меня есть такое намерение: создать библиотеку.

В комнатах стояли различные табуреты, низенькие столики, На столиках находились расписные чернильницы, подсвечники, письменные принадлежности, различные краски, пиалы для жидкого золота и серебра, подставки для книг. Комната, где размещалась библиотека, была еще больше. Внутри ее вдоль стен до самого потолка, тянулись полки. У

шаха была знаменитая библиотека. Здесь имелись различные древние, причудливо разукрашенные экземпляры Корана, всевозможные толкования, «Шархи-Мазахиб», «Унмузадж», «Терессул», «Мезамир», книги Рази, Ибн-Сины, Мехбуди, Абу Рейхана Бируни, Тара Давуда, Ибн эл Эсири, Насими, недавно переписанные и присланые из Самарканда диваны[48] Алишера Навои, Гусейна Байгары, различные рукописи, исследования по истории религии, логике, философии, астрологии; все еще не собранные в диваны стихи Хабиби, Физули. Отдельно хранились экземпляры «Шахнаме» Фирдоуси и «Хамсе» Низами, переписанные шахскими каллиграфами, искусно украшенные золотом и разноцветным орнаментом шахскими художниками и чеканщиками. Исмаил любовно брал в руки каждую из ценнейших книг, нежно поглаживал их, как живые и дорогие сердцу существа, и снова осторожно ставил на место. От внимания Айтекин не ускользнуло: он был здесь не государем, а истинным поэтом... В последующих комнатах жили музыканты, поэты, ашыги. Потом они вышли на задний двор, и здесь по знаку шаха бесшумно распахнулись двери двух больших смежных покоев. Когда они переступили порог первой комнаты, у Айтекин разбежались глаза от изумления: стены этой нарядной залы сплошь были зеркальные. Куда ни повернись — отовсюду смотрит на тебя твое же изображение... Вторая комната, тоже богато убранная, выглядела все же более привычно. Ниши и полки занавешены шелковыми портьерами с серебряными нитями, на почетном возвышении стоят трон и кресла с накидками из тирмы. Вдоль стен разложены обшитые шелком и бархатом тюфячки, подлокотники, мутаки. Здесь шах остановился, присел на миг в кресло рядом с троном.

— Эти комнаты принадлежат устаду Айтекин, — объявил он. — Здесь устад будет жить, отдыхать, а в зеркальном зале — обучать своему искусству учениц.

Сложив руки на груди, Айтекин склонилась в позе, выражавшей покорность. Сопровождавшие их все это время служанки с нежными улыбками смотрели на свою новую госпожу. Так началась дворцовая жизнь той, что была последней памятью о некоем исчезнувшем с лица земли племени. Шах частенько наведывался к ней, отрываясь для этого от своих дел — любимой им рыбной ловли и охоты на тигра, от путешествий. С одобрением наблюдал шах за ее занятиями с ученицами. Время от времени в ее танцевальном зале появлялись и не забывавшие Айтекин старый визирь, отечески относившийся к ней, и его дочери-близнецы Сахиба и Замина. Замину, правда, некоторое время назад обручили, и она была занята приготовлениями к свадьбе, так что Айтекин чаще навещала одна Сахиба, и за эти последние месяцы девушки очень привязались друг к другу. Но однажды в казавшемся столь безоблачном небе судьбы произошло непостижимое событие. Всколыхнуло спокойно текущие воды...

23. НОВАЯ «ПИАЛА»

... Утром одна из служанок сообщила ей, что шах и шахиня Таджлы-ханым решили провести сегодня у нее в комнате поэтический меджлис. Айтекин пораньше закончила учебные занятия и отпустила своих учениц. В большом зеркальном зале вдоль с ген служанки установили дополнительные подсвечники, сплошь устелили полы разноцветными кашанскими, тебризскими, ширванскими коврами. Уложили на них тюфячки, обтянутые бархатом, парчой, тирмой, подлокотники, мутаки и подушечки под спину из кимхи. Разбрзгали мускус, розовую воду. В светильниках, похожих формой на руку, горели плавающие в ароматических маслах фитили, и в их пламени зеркала

переливались тысячами разноцветных бликов: уютная зала превратилась в сверкающий всеми гранями кристалл. Специально для шаха в почетном месте был поставлен большой трон, перед ним расстелили скатерти, принесли золотые, серебряные, фарфоровые кубки, кувшины и сосуды, наполненные нежным ширазским вином и розовой водой, шербетом из апельсинов и гранатов; расставили необычайного лужения тарелки и блюда, подносы с горами фруктов, тазы для ополаскивания рук, фарфоровые и медные кальяны. Дольками были нарезаны любимые шахом ароматные дыни «сюнейваз», «богдели», «билерджин», «агахани», «каррар»; на отдельных серебряных подносах лежали дыни «чарджау», привезенные из Самарканда в медных бочках, заполненных льдом.

Некоторое время спустя после вечернего намаза в комнату вместе с шахом вошли Джахан-ханым, Хаят-ханым, Замина, Сахиба, которым было разрешено присутствовать на этом вечере поэзии, музыки и развлечений. Была здесь и невольница Фена, прославившаяся среди дворцовых женщин остроумием и умением читать стихи. Она пришла пораньше, чтобы помочь Айтекин с приготовлениями и вместе с ней выбрать танцовщиц, достойных услаждать взор на сегодняшнем меджлисе. Айтекин и Фена встретили входящего шаха изящным поклоном. Скрестив руки па груди, они ожидали его приказания начать торжество.

Шах прошел вперед и сел на приготовленное для него место. По обе его стороны устроились прославившиеся сочинением стихов невольницы Джахан и Хаят. Сбоку от них расположились сестры Сахиба с Заминой и Айтекин.

Позади, шаха, как статуи, встали два раба. Один был белый, другой — черный рабнубиец. Оба молодых раба, неподвижно-стояли, лишь легчайшими движениями пальцев покачивая разноцветные веера из павлиньих перьев. На шеях рабов висели изящные серебряные цепочки, у каждого в ухе — серьга «гейдарий», считающаяся символом рабства.

В этот момент шевельнулись портьеры боковой двери. В сопровождении восьми девушек из самых знатных семей племени Бекдили вошла шахиня Таджлы-ханым. Она любила музыку и поэзию, и время от времени, наведываясь в Тебриз из Хорасана, где она была регентшей малолетнего сына, принимала участие в поэтических меджлисах шаха. Молча, с интересом следила она за этими своеобразными словесными состязаниями. Таджлы-ханым легонько поклонилась шаху, приложив правую руку к левой груди, мягко улыбнулась, прошла и села напротив шаха на приготовленное для нее место. Вокруг нее расселись пришедшие с ней девушки.

В противоположном конце меджлиса перед группой музыкантов алели угли в небольшом серебряном мангale. Певица Шамсия держала над ним бубен с серебряными бубенчиками, обтянутый нежной рыбьей кожей. По знаку шаха музыканты начали играть. Прикасаясь к бубну скользящими движениями пальцев, — певица Шамсия повела легкую танцевальную мелодию. Закончив ее, Шамсия приложила бубен к подбородку и, медленно раскачивая его, начала петь газель Хатаи, повествующую о божественной любви:

Истинно любящий — тот, чье и сердце, и слово любимой полно...

Так лишь влюбленный с любовью своей составляет одно.

Шамсия пела, а Айтекин, вникая в смысл срывающихся с ее нежных уст слов, наблюдали за шахом, развалившимся на тюфячках и наслаждающимся изысканным угощением. «А ты сам? — думала она. — Поэт-падишах, пишущий о том, что у влюбленного однажды единственная любовь, сам-то скольких взял в жены? Имея и Таджлы, и Бахрузу-ханым, ты теперь любуешься сидящими возле тебя по правую и левую руку Джахан и Хаят! Да еще устремляешь взгляд то на меня, то на Шамсию?! Что же это? О великий поэт! Божественным языком поэзии ты воспеваешь старую и юную, как мир, вечную человеческую любовь, высокую, как небо, верность! А как падишах, как мужчина ты — пленник страсти, мотылек, порхающий с цветка на цветок. То на одну, то на другую чашечку опустишься. Кому же мне верить — словам твоим, или тебе самому?»

А Шамсия пела:

Истинно любящий — тот, у кого и внутри, и снаружи — единство.

О, поклонись Адаму, отшельник, прими, как награду — единство.

Пир един, и тайна одна, и решенье, и слово — едины.

Путь не раздвоишь один, и знающий тайну — един с ней.

Жгут, как огонь, мое тело, лучистые взгляды любимой.

Твоя красота и мое восхищенье, и пламя любви — едины!

Когда музыканты заиграли «ренк», Шамсия, подняв бубен, начала бить по нему. Отворилась противоположная дверь, и в комнату скользнули танцовщицы в раззолоченных нарядах — ученицы Айтекин. Закружились в замысловатом танце.

А шах все еще находился под впечатлением слов мугама, которые когда-то сочинил сам. Не обращая внимания на танцовщиц, шах, мечтательно задумавшись, повторял одни и те же слова, приговаривая: «День — это сегодня», наклонял голову то вправо, то влево, принимал из рук то Джахан, то Хаят алое, как кровь, нежное ширазское вино в серебряной пиале. Шах наслаждался, потягивая вино. Зная его характер, и Таджлы, и танцовщицы, и музыканты, и служанки поняли, что сейчас он — поэт и только поэт. Они почувствовали, что вот-вот польются стихи. Музыка постепенно таяла, превращаясь в едва различимый стон. Танцовщицы расселись на полу, яркими зонтами на разноцветных коврах раскинули пышные юбки. Одна из женщин, чтобы раззадорить всех, сказала, обращаясь к шаху:

— Святыня мира! Глава нашего меджлиса — поэт, сидящие справа и слева от него женщины — тоже поэтессы, даже и невольница, прислуживающая ему — поэтесса. А мы лишены поэзии! С вашего разрешения не начать ли нам поэтическое состязание?

Предложение всем пришлось по душе. Женщины заулыбались:

— И действительно, пора... Давайте говорить стихами!

Первым на это предложение ответил сам шах. Он поднял серебряную пиалу вверх и некоторое время задумчиво наблюдал за нею, чувствуя, как в душе начинает бить родник вдохновения:

Сидя меж двух красавиц, растревожил я сердце вдвойне.

Но, стыдно сказать, не знаю: которую выбрать мне?

Гордая своей красотой и славящаяся находчивостью поэтесса Джахан-ханым тотчас ответила шаху:

Ты — владыка мира, поэтому выбери мир.

Лишь повелитель сумеет владеть Джахан[49], мой кумир!

От столь удачного экспромта шах пришел в сильнейшее возбуждение:

— Молодец, Джахан! Саг ол[50]! Истинная правда: владыка мирв должен выбрать Джахан!

С этими словами он легким движением правой руки погладил плечо Джахан-ханым.

Глаза Хаят-ханым метали молнии. Пригубленный медовый шербет, победа соперницы Джахан до крайности обострили все ее чувства, а зависть дала толчок вдохновению. Подняв пиалу с щербетом, она щелкнула по ней пальцем и проговорила:

Забыть о печалах мира и разум, и сердце велят.

Помни, что жизнь — одна, что мир Джахан без Хаят?![51]

И шах, и все присутствующие расхохотались. Противники искусно положили друг друга на обе лопатки, ловко использовав орудие слова.

Вдоволь насмевшись, шах на этот раз коснулся плеча Хаят-ханым.

— Достойный ответ! Молодец! — сказал он. — Если бы не это соперничество, вряд ли так легко возбуждалось бы вдохновение самых драгоценных в моем дворце жемчужин. А теперь послушаем, что ответит на это Фена?

Фена, наливавшая в этот момент вино из эмалевых кувшинов в пиалы, тотчас же опустилась на колени перед шахом. Протягивая ему обеими руками полную пиалу, Фена произнесла:

Поскольку ни жизнь-Хаят, ни мир-Джахан не вечны,

Потребуй себе Фена[52] — ведь все кончается этим!

Все собравшиеся разразились громким хохотом. Больше всех смеялась Таджлы-ханым: Фена была ее любимицей.

Шах тоже смеялся со всеми. Но теперь в его смехе было что-то дьявольское. Слова невольницы, напоминавшие о бренности жизни, будто вызвали противодействие в его сердце, пробудили в нем не поэта, не главу религиозной секты, не справедливого правителя, не военачальника, а грубого завоевателя. Высоко вздернув полуухмельную голову, он отвел взгляд от сидящей против него Фены, от рассевшихся на ковре танцовщиц, от сидящих в дальнем конце комнаты музыкантов, и устремил его на противоположную стену. Стена эта словно сдвинулась перед его глазами, открыв перед мысленным взором дымящееся поле, сражения...

Вот Шейбани-хан[53] называвший его «дарга Исмаил», а себя считавший присходящим из рода пророка; в последнем письме, угрожая ему, заявляет, что он законный мусульманский правитель по происхождению: «Ты должен подготовить подарки и приношения. Изготовить на своем монетном дворе монеты с нашим благословенным именем. В мечетях в честь нашего прославленного на весь мир имени вели читать молитвы-хутбе. И сам явись к подножию нашего древнего трона...» Между тем всем были известны дружеские отношения его, можно сказать, отношения отца и сына, с Гусейном Байгара и бессмертным Алишером Навои. Узбекские правители и мудрецы никогда его так не оскорбляли. А этот... Собрав войско, падишах двинулся в Мерв. Восемь дней осаждал он крепость. Узбеки бились насмерть. Воздав должное их храбости, шах, чтобы одержать победу, вынужден был прибегнуть к хитрости. «До тех пор, пока Шейбани-хан в крепости, узбеки будут защищать своего правителя», — подумал он и двадцать восьмого шабана 916 года хиджры[54] дал приказ отступить от Мерва. Войско остановилось у села под названием Махмуд. Для отвода глаз в Мерве остался лишь Эмир-бек Туркман, тоже следивший за Шейбани-ханом. Узбекские военачальники были против того, чтобы так скоро выйти из хорошо укрепленной и мощной крепости Мерв. Подождем, говорили они, пока на помочь к нам подоспевают Убайд-хан с Теймуром-Султаном, а уж потом, преследуя хагана[55], выйдем на открытый бой. Но как будто «эрены пришли на помощь Шаху Исмаилу» в лице жены Шейбани-хана Могул-ханым. Она обратилась к мужу и узбекским военачальникам. «Вы всегда писали хагану письма с угрозами, вызывали его на бой. И вот он, утомленный долгой дорогой, явился со своим войском к Мерву. А вы осыпали себе головы пеплом бесчестия и не можете выйти из города?! Лучше смело и бесстрашно принять бой, чем трусливо отсиживаться в крепости». Укоры любимой жены задели честь Шейбани-хана. Не прислушиваясь более к мудрым советам узбекских

военачальников, он обругал их и отдал приказ воинам выйти из Мерва. Оба войска встретились. Шах занял позицию в центре, на правом и левом флангах неколебимо стояли его единомышленники — Эмир Наджми-Сани, Див Султан, Чаян Султан, Леле Гусейн-бек, Абдал-бек, Зейнал-бек Шамлу, Бадымджан Султан Румлу. Сняв с короны чалму, шах бросился в атаку. До вечера продолжалась невиданная еще в мире битва. Только к вечеру войско Шейбани-хана было окончательно разбито. Самого его отыскали среди трупов, и Див Султан, мечом отделив голову Шейбани-хана от тела, бросил ее под ноги Шаху Исмаилу. По приказу опьяненного кровью государя у Шейбани-хана содрали кожу с лица. Шах велел набить ее соломой и послать для устрашения румскому Султану Селиму. А череп отделали золотом и превратили в «пиалу». На пиршствах и званых меджлисах виночерпий обносил этой «пиалой» всех присутствующих.

Теперь вновь ощущив дыхание кровавой бойни, государь захотел увидеть эту «пиалу». Отвергнув предложенный Феной эмалевый кубок, он привстал на коленях и приказал:

— Принести мою новую «пиалу». Я покажу тебе, что для меня тленный мир не является тленным.

Поклонившись, Фена вышла. Вскоре она вернулась с новой «пиалой» в руках. Налив в нее алое вино, невольница опустилась перед шахом на колени:

— Пусть меч нашего государя всегда будет острым, пусть каждый его поход завершается победой! — сказала она и прочла знаменитые строки из дивана Физули:

О виночерпий, спеши, утро уже настает.

Пусть еще раз пиала, как луна, над нами взойдет.

Лей, не жалей, приносящее радость вино!

Хотя оно и запрещено.

Осушим пиалы свои единым махом!

Выпьем в честь того,

Кто, начиная пиршество,

Кубки делает из черепов падишахов!..

С этими словами девушка подала шаху «пиалу». Государь принял отделанную золотом эту «пиалу» — череп. Поднес ее к прищуренным хмельным глазам, пригляделся к восковому цвету. По нежным губам его пробежала легкая усмешка: столь уместно приведенные строки пришлись ему по душе.

Айтекин уже слышала об этой новой «пиале», но видела её впервые. Девушка ощутила какую-то странную тяжесть в сердце. В сущности, в последнее время Айтекин все время переживала смутное, тревожное состояние духа. Это, конечно, не было тем чувством,

которое испытывал к шаху молодой дервиш Ибрагим, скрывавшийся неизвестно куда — после смерти купца Рафи и прибытия каравана Гаджи Салмана в Тебриз она ни разу не видела его. Но все-таки шах был для нее непостижимым, удивительным миром. Каждая строка Исмаила, каждый бейт, каждый нефес, каждая газель и, в особенности, его «Дехнаме» пробуждали в ее сердце неведомые ей доселе чувства. Девушка мучилась, не зная, что это — то ли любовь к красивому и смелому молодому государю, так возносящему искусство и глубоко разбирающемуся в нем, то ли это неземная, божественная любовь к поэту, стихи которого восхищают ее?

Девушка вся была во власти этих противоречивых чувств и мыслей. Ей казалось, что та жажда мести, которая, в сущности, и привела ее во дворец, понемногу начинает остывать. Ведь целых два года она свободно жила в доме старого визиря и всегда могла уйти. Но только жажда мщения заставляла ее оставаться там. А теперь вот газели Шаха Исмаила, превратившись в любовный мугам, заставляли ее сердце сжиматься от совсем иных ощущений.

Возможно, что новые чувства и взяли бы верх в ее душе, возможно, что поэт и поэзия увлекли бы ее, превратили бы в конце концов в вечную поклонницу его прекрасных стихов... Но увиденная Айтекин новая «пиала» вмиг сняла пелену с ее глаз.

Среди собравшихся поднялся легкий шепот. Увидев в руках Фены отделанный золотом череп, Айтекин все поняла. Она слышала об этой «пиали», но не верила. Так вот она какая! По всему телу девушки прошел озноб. Эта «пиала» могла быть сделана и из черепа ее брата. Все в ней вдруг взбунтовалось, каждая капля крови взбурлила и забушевала, вызывая об отмщении ее загубленного племени. По мере того, как полная «пиала» переходила из рук в руки, бунт Айтекин возрос до небес, глаза ей закрыла кровавая пелена: «Нет, у этого — не сердце поэта! Сердце поэта не согласилось бы пролить невинную кровь, изготовить из черепа «пиалу». Я должна увидеть... Я должна его увидеть!» — с этими словами она вскочила с места. Бросилась в центр пиршества. Красивым движением, будто в танце, поднесла руку к поясу, молниеносно вытянула маленький кинжал брата и кинулась на пьяно развалившегося на тюфячках шаха. Но удар нанести она не успела. Сильная рука схватила ее за запястье и крепко скжала. Это была рука шаха, натренированная в поединках с львами и тиграми. Как все охотники, Исмаил обладал способностью предвидеть опасность. Слишком много видел он мягких, легких, неожиданных тигриных прыжков. Кинжал выпал из рук девушки, а сама она упала на пол. Из уст собравшихся вырвался мгновенный возглас, все оцепенели на своих местах. Только Сахиба, не растерявшись, смело кинулась к своей учительнице. Обхватила ее получувственное тело, поволокла к тюфяку, где только что сидел шах...

* * *

Когда Сахиба вошла в зеркальную комнату, та выглядела, как мельница, где иссякла вода. И следа не осталось от роскошного пиршества, состоявшегося здесь всего несколько дней назад. Тени, призраками скользящие по полутемной комнате, были собственными отражениями Сахибы в зеркалах. Если бы сюда вошел незнакомый человек, от испуга, вероятно, он замер бы на месте. Но Сахиба без страха прошла к двери, ведущей в спальню подруги. Услышав сквозь полуоткрытую дверь голоса, она остановилась и прислушалась. Говорил ее отец:

— Вы правы! Я тоже заметил. В глазах девушки — не безумие, нет, в них — ненависть и гнев.

— Это верно, — отозвался дворцовый лекарь Гаджи Табарек, — но дело в том, что через день-два, когда девушка придет в себя, шах тоже поймет это. И в сердце его загорится гнев против невольницы, к которой прежде он испытывал горячую любовь. Он захочет узнать причину, и девушке придется ответить на его вопросы. Боюсь, она не выдержит пыток...

Оцепенев, слушала Сахиба этот разговор. Не дослушав, испугавшись, что отец застанет ее здесь и поймет, что она оказалась свидетелем тайного разговора, Сахиба выбежала из зеркальной комнаты. О, она-то знала все, в том числе и темные стороны дворцовой жизни! Не оглядываясь, девушка вернулась в свой дом. Но не прошло и получаса, как она, увидев, что отец вернулся из шахского дворца, сменила на всякий случай наряд и отправилась навестить подругу.

Войдя к Айтекин, Сахиба увидела, что та лежит за задернутым тонким тюлевым пологом, устремив взгляд в потолок красиво убранной комнаты.

Ни одной из служанок здесь не было, видно, главный лекарь Табарек услал их с поручением. Подняв прозрачную, как воздух, занавесь, Сахиба подошла к подруге, присела на край постели, стала гладить неподвижную руку. Но Айтекин не шевельнулась, даже ресницы ее не дрогнули. Сахиба заговорила торопливо, но тихо:

— Ты можешь мне не верить, это твое дело. Но нынешней ночью ты во что бы то ни стало должна покинуть дворец.

С этими словами Сахиба встала и начала раздеваться. Следившая за ней уголком глаза Айтекин с удивлением заметила, что на девушке — мужской наряд, предназначаемый обычно для охоты. Она чуть усмехнулась. Раньше такое сочувствие заставило бы ее заплакать, но Айтекин давно уже разучилась плакать. Слезы ее высохли навсегда, когда был зарублен мечом последний ее соплеменник. Тем временем Сахиба, боясь прихода служанок, быстро спрятала мужской наряд под тахту, на которой лежала Айтекин. Потом снова села рядом, взяла в свои ладони руку подруги. Шепотом произнесла:

— Не бойся! Этой ночью шаха во дворце не будет. Он с близкими ему людьми отправился на рыбную ловлю, кажется, на Аджичай. Вернется лишь завтра к вечеру. А я сегодня вечером пошлю евнухам и привратнику кувшин такого вина, от которого они с трудом проснутся лишь к утреннему азану. Когда ты, покинув дворец, направишься к нашему дому, мой слуга с конем будет стоять наготове на дороге. Это сын моей старой няни. Он отвезет тебя, в свое село и там спрячет. Некоторое время ты поживешь в доме у моей няни. А потом — бог милостив!

Почувствовав легкое пожатие руки, Сахиба наклонилась к подруге. Поцеловав бледную щеку Айтекин, зашептала, заливаясь слезами:

— Береги себя, устад! Да поможет тебе аллах!

Так Сахиба благословила скитающуюся дочь исчезнувшего племени...

ГОСУДАРЬ — ПОЭТ

24. СУЛТАН СЕЛИМ

Пробудившийся ото сна Султан Селим был мрачен. Уже несколько дней, как ему сообщили о прибытии посланца из Тебриза, доставившего ему новое письмо шаха. Он все оттягивал встречу с посланным, понимая, почему не хочет этого. Знал, что и очередное послание шаха, как и все предыдущие, будет вызывающим, сплошь состоящим из оскорблений. Не отвечая на письма, султан хотел отдалить войну. Для войны еще не настало время... Всего несколько лет, как он взял в руки власть. Ни желания, ни возможности начать войну у него пока не было. Султан хотел отложить свои счеты с шахом до более подходящего момента, а за это время укрепить границу с христианами в Европе, упрочить связи с Византией, приобрести огнестрельное оружие из Франкистии. Лишь после этого, приведя войска в полную боевую готовность, можно принять вызов шаха. А сейчас еще не время... Однако, как самоуверен этот молодой падишах, захвативший в свои когти несколько мелких государств, как опьянен своими победами! Они застилали ему глаза кровавой пеленой. Нет, воевать с ним, принимать бой — рано. Взвесив все «за» и «против», Султан Селим крайне осмотрительно ответил на предыдущие письма шаха. Хотя мы и принадлежим к различным сектам, написал он ему, но вера у нас одна, и аллах, и посланник его, и Кааба, и Коран у нас едины. Так что мы с тобой почти кровные родственники. И неподобает нам, забыв о врагах нашей веры, сражаться друг с другом. Он привел много таких доводов. Но шаха, одержавшего победы над Ширваншахом Фаррухом Ясаром в ширванском селе Джабаны, Шейбани-ханом — на границе Мерва, Алвандом Мирзой — в Шаруре, Султаном Мурадом и Асламиш-беком на Алмагулагской земле Хамадана, трудно было остановить. Да еще и этот Мухаммед Устаджлу! Захватил Диярбекир, разбил войска Зульгадара, сокрушил триста мамлюков Дели долага — полководца Султана Кансу. После этих побед считает себя непобедимым! Так расхвастался, что довел до гнева Стамбул. Ведет себя столь возмутительно, что его надменность всем уже поперек горла встала. Уже и с шахом своим не считается. Сам, видишь ли, сочиняет и шлет мне угрожающие письма от его имени... А того не соображает, что, перебив двести-триста воинов, рано еще считать себя искусственным военачальником! Я мог бы выставить против него двести тысяч янычаров. Он и не подозревает, наверное, о моем огнестрельном оружии, фиранских пушках... Но я чуть потерплю... Как говорится, поживем — увидим. Этот щенок Устаджлу сейчас раздражает меня больше всех. Как же быть? Ну что ж, примем и этого послы... Посмотрим, удастся ли мне и на этот раз оттянуть время... Но мне кажется, эта битва неизбежна. Если среди окружения молодого шаха найдутся еще двое таких, как Мухаммед Устаджлу, то этого вполне достаточно, чтобы начать новую войну...»

Пока Султан Селим размышлял обо всем этом, красивый, статный, горделивый слуга-абиссинец принес ему облачение для официальных приемов.

Оно, в подражание арабским халифам, состояло из черной рясы — абы и черной чалмы, которые Султан Селим надевал лишь во время торжественных церемоний.

По мере того, как надим Гарынджаглу одевал его, абиссинец одну за другой подавал ему принадлежности туалета, угадывая по взгляду и жесту надима, что нужно в данный

момент. Привычный ритуал проходил в тишине, никто не осмеливался нарушить утренние размышления Султана Селима.

Церемония одевания подошла к концу. Через боковую дверь Селим прошел в соседнюю комнату, где его ждала уставленная всевозможными напитками и кушаньями, затейливо изукрашенная скатерть. Султан расположился на парчовых подушках. Равнодушно взглянул, на расставленные яства. Все запахи забивал аромат великолепных сирийских яблок. Глаз ласкали кубок, изготовленный из двух кусков привезенного из Сена яхонта, мастерски отточенные под пиалу. Султан любил изысканные предмета роскоши, изящные украшения... Однако, надев сегодня свое любимое кольцо из кирманской и нишапурской бирюзы, в обрамлении алмазов, даже не взглянул на него. А ведь один взгляд на это кольцо напоминал Селиму о бирюзовых небесах его родины, он сразу же поднимался в самую высокую беседку, смотрел и все не мог насытиться созерцанием бирюзового неба. А может, он так любил это кольцо еще и потому, что между светло-голубыми, отливающими бирюзой глазами Селима и этими драгоценными камнями было определенное сходство. Его старшая жена Севнинджак и новая невольница Раиха часто целовали эти две бирюзы — кольцо на руке и его глаза. Как только Султану Селиму вспомнилась невольница Раиха, он мгновенно ощутил рядом присутствие девушки, по телу распространилась приятная истома. Ему почудилось, что рука его коснулась шеи Раихи, на которой красовались алые, как ее губы, кораллы, доставленные в его дворец из далекой Африки. От этого прикосновения девушка изогнулась, как змея, и обвилась вокруг колен своего повелителя. Дрожащими руками схватила руку, щекочущую ее шею, поцеловала нишапурскую бирюзу.

— Мой повелитель, вели поцеловать и ту бирюзу, что даровал великий аллах! — проговорила она...

Губы Султана Селима тронула легкая улыбка. Второй раз за сегодняшнее утро он пожалел, что должен принимать посла, которого вовсе не хотел видеть. А иначе у этой прекрасной скатерти он принял бы из тонких рук Раихи ароматное сирийское яблоко. Вонзая зубы в яблоко, вдыхая его аромат, он счел бы это яблоко щеками Раихи...

Но сегодня Султан Селим завтракал один. В сердце его теснились противоречивые желания...

Султан прошел в тронный зал дворца, убранный для приема послов. Главный визирь, визири, векилы, надимы стояли в ряд, каждый у своего места. Они не садились, ожидая, когда он придет и сядет на свой трон. Легким кивком Султан Селим приветствовал собравшихся. Сейчас же низко склонились головы в остроконечных шапках и фесках, почти до полу опустились руки, Султан прошел на почетное место, поднялся на свой трон. Тотчас за его спиной встали два гиганта-абиссинца с мечами наголо. Подняв головы, устремив глаза куда-то в сторону двери, они замерли, как две черные статуи. Только дрожащие белки их глаз на черных блестящих лицах свидетельствовали, что эти статуи — живые.

— Визирь, послы здесь?

Как только главный визирь поднял голову, выпрямились и остальные. Приложив правую руку к сердцу, губам, а затем ко лбу, главный визирь проговорил:

— Да, мой повелитель!

— Прикажи им войти.

По знаку главного визиря надим Гарынджаглу, на которого была возложена эта обязанность, пятясь, распахнул дверь, и в залу вошли послы падишаха. Их было двое. У обоих на головах — папахи с красным верхом, с обмотанной зеленым шелком тульей. Оба поверх шаровар одеты в геба[56] — один в зеленую, другой в темно-голубую. Один из послов держал в руке тугра[57], другой — большую шкатулку. Высоко подняв головы, не здороваясь, приблизились к трону и остановились на приличествующем расстоянии. И Султан Селим и замершие от изумления придворные подумали: «Не склонили голов! Тугра — ладно, это послание, а что означает шкатулка?»

Повинувшись взгляду султана, к послам подошел Гарынджаглу. С ненавистью взглянул он на этих невежд, не поприветствовавших всех, как того требуют приличия. Взяв тугра, он приблизился к трону. Опустился на колени, обеими руками протянул его Султану Селиму. Тот взял тугра, сломал печать, разорвал леффафа[58]. Пробежав первые строки, султан, вдруг остановился. В глазах его бушевал гнев.

— Отведите послов в комнату ожидания!

Когда надим Гарынджаглу встал, чтобы выполнить приказание, принесший тугра посол, смело устремил взгляд в пылающие гневом глаза султана и проговорил:

— Наш военачальник Устаджу Мухаммед-бек устно велел передать, что единственный повелитель всего мира, великий шахиншах Исмаил ибн-Шейх Султан Гейдар ибн-Шейх Джунейд срочно ждет ответа!

Султан Селим промолчал. Присутствующие застыли на месте. Только надим Гарынджаглу не опасался султана, он готов был скрутить шею послу, как цыпленку. Со злостью выхватил он у второго посла шкатулку, которую тот все еще держал в руках, положил ее перёд троном. Но когда он незаметным, но резким движением толкнул первого посла к двери, он услышал властный голос Султана Селима:

— Не забывайся, надим! Личность посла неприкосновенна, — «Это такое зло, от которого не откупишься золотом»!

В сопровождении Гарынджаглу послы покинули зал. Все безмолвствовали.

Наконец, главный визирь, изумленный выдержанкой султана, проговорил:

— Говорят, мой султан, когда приходит гнев, разум уходит! Слава великому создателю, наш величественный султан проявил присущую ему мудрость. Арабы говорят, гость дорог, даже если он кяфир. Посол тоже в ранге гостя!

Слушая хвалу визиря, больше похожую на назидание, Султан Селим все же не прерывал его, задумавшись о своем. Содержание письма стало ясно ему с первых же строк. Кипя гневом, он ждал, когда откроют шкатулку. Как только в залу вошел Гарынджаглу, султан нетерпеливо обратился к нему:

— Надим, открой шкатулку!

Гарынджаглу повиновался. Подойдя на обусловленное приличиями расстояние, он опустился на колени, открыл шкатулку, и руки, никогда не дрожавшие, когда надим

держал ятаган, теперь тряслись мелкой дрожью, вынимая из шкатулки платок, пару альчиков и юбку. Все, затаив дыхание, ждали... Султан Селим более не мог сдерживаться... Поднялся с трона. Мгновенно вскочили и все присутствовавшие в зале, но султан, взяв себя в руки, вновь опустился на трон. Приближенные и челядь не осмелились опуститься на свои места.

Сдерживая свой гнев, Селим обратился к визирю:

— Визирь, и тебе, и придворным известно, что я всегда прислушивался к твоим советам. Я также думал, что любыми средствами нужно избежать войны. Я старался, как мог, отдалить эту беду и от нас, и от того бедолаги, что окружен хвастунами и пустомелями. На все его оскорбительные послания я отвечал более, чем мягко, высказывал диктуемые разумом соображения, призывал и его на путь разума. Но он не понял. «Когда приходит гнев, разум уходит», — говоришь ты. Но не забывай, что наступает такой момент, когда чаша терпения переполняется. Это послание было последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Тугру пишет не Шах Исмаил, а сын зла Мухаммед Устад-жлу, но это неважно. Разграбив Диярбекир, уничтожив всего триста мамлюков Дели Долага, он так возгордился, что смеет писать: «Если не выйдешь на поле боя со мной, надень эту юбку, повяжи этот платок, или играй в альчики». Так вот, Устад-жлу Мухаммед ждет ответа. Мы должны дать достойный ответ, визирь! Пиши, что принимаем вызов. Сегодня же отдай послам письмо и отправь их! Но чтобы ни один волосок не упал с их го-лов. Я — не Устаджу.

Собравшиеся не издали ни звука. Визирю тоже нечего было сказать. Султан поднялся и, ни с кем не прощаясь, удалился в свою тайную резиденцию. Его проводили низко склоненные головы.

Следом за Султаном Селимом в тайную резиденцию направился Гарынджаглу, чтобы узнать, нет ли у него каких-либо распоряжений. Султан, не обращая внимания на своего любимого и преданно служащего ему в каждом деле надима, задумчиво прошел в комнату, лег на тахту, на которой были разложены золотистый тюфяк и подлокотники. Облокотившись на обтянутые голаби тирмой[59] подлокотники, погрузился в размышления. Он вспомнил о своем друге, за несколько дней до прибытия послов вернувшемся из Тебриза. Этот человек, настоящее имя которого было Аргун-бек, был одним из самых доверенных друзей Селима.

Под именем Гаджи Саяха он бродил по свету, снаряжал несколько караванов, сам вел все торговые операции. На границах Ирана и Турции, в Руме, Трабзоне, Ширванском шахстве он был известен как самый богатый и самый знаменитый купец и путешественник, любитель дальних странствий. Он был принят при дворах многих восточных правителей, в том числе и в Тебризе, во дворце молодого шаха. Гаджи Саях прославился богатыми пожертвованиями, удивительными дарами, привезенными из дальних стран. Все это делало его незаменимым источником информации для султана. Из своих путешествий Аргун-беку Гаджи Саях привозил Селиму ценнейшие сведения. Рассказывал о настроениях в странах, правители которых были его врагами, о боеспособности армий, о том, что видел и слышал, о силе этих государств.

В этом последнем путешествии Аргун-беку случилось присутствовать на пиршестве в честь победы, заданном шахом в тебризском дворце. Обладая прекрасной памятью и незаурядным талантом рассказчика, Аргун-бек так живо передал услышанное на пиршестве, так искусно изобразил окружающую обстановку, что султан будто сам побывал во дворце у шаха, словно своими глазами увидел все происходившее там. И

теперь, облокотившись на подлокотники, он оживлял перед своим мысленным взором это пиршество, рассказанное ему Аргун-беком. Вот полуписьменные военачальники, опрокидывая кубок за кубком, похваляются друг перед другом тем, как они обрушивали удары на врага:

— Как только пришла весть: «Идут!» — мы вскочили на коней. Все перемешалось — и всадники, и пешие кази, кто выпускал стрелы, кто рубил мечом, вращал шестопером...

— ...Знаешь, какой он военачальник?! Перед ним падишахи трясутся... Устаджлу Мухаммед, когда выходит на поле, похож на взбесившегося верблюда... Вот враг вышел навстречу... Смотри, говорит, с кем вышел на поединок... Барабан забил, заиграла труба, бой разгорелся...

— Немало я натерпелся от купцов...

— Настоящий храбрец по ране узнается, сказал я, расстегнул ворот, посмотрел...

— Клянусь, мой шестопер так прошелся по гриве его коня, как будто молния сверкнула, никто не увидел. Из-под конских копыт искры взметнулись...

— Да... правильно говоришь, Устаджу не из тех, кто повязывает платок. Он под женскую юбку не будет прятаться. На поле боя, среди мужчин, он — настоящий мужчина...

— Надо мне показать ему, где раки зимуют...

— Если сказал — не отступится. Не видел, во что он превратил Диярбекир? Нашему падишаху ведь дал слово...

— У него с седла свисали окровавленные головы... Так он и прискакал, предстал перед ним, кинул эти головы к ногам Прибежища мира[60]... И мечи их протянул шаху на обеих руках...

— Для своего коня нарезал стальные гвозди, серебряные под-ковы...

— Силен... Силен...

Когда в памяти всплыло имя Устаджу, и в особенности словами дыбом: они посмели послать ему эту шкатулку! Султан встали дыбом: они посмели послать ему эту шкатулку! Султан гневно закусил губу. Горячее воображение рисовало ему и другие вещи, о которых говорил Аргун-бек... «Мне надо побольше узнать об этом Исмаиле. Я должен его понять... Один только этот диалог стоит многоного», — подумал он. Султан Селим вспомнил другой эпизод, рассказанный Аргун-беком. Якобы опьяненный вкусом победы, Леле Гусейн-бек, усевшись справа от государя, говорил:

— Ты знаешь, мой государь, победа — сладкая штука. А слава и того сладче. Я не знаю на свете большего счастья, чем то, когда тебя узнают на улицах или площадях, почтительно шепчут: «Это военачальник такой-то». Чтобы при одном лишь взгляде на тебя в глазах загоралась любовь, на лицах расцветала солнечная улыбка. Но ни ты, ни я, твой преданный друг, не можем оценить эту славу. Я — потому, что слава пришла ко мне слишком поздно. Я так долго ждал ее, что истомился в мечтах и ожидании. Так устал ждать, что теперь смотрю на славу, как на бес-смыслицу. А ты... А тебе, мой падишах, тебе слава досталась слишком рано. Правда, и ты провел нелегкую жизнь. С детства

познал и горе, и боль, и арестантом был, и беженцем. Но детская память коротка, и ты быстро забыл об этом. Все вытеснила очень рано пришедшая к тебе слава несокрушимого государя. Ведь когда это произошло, тебе было всего лишь четырнадцать лет! По-этому, конечно, ты считаешь славу легко достижимой, чем-то само собой разумеющимся. Хотя ты этого и не говоришь, но это так, мой государь!

А падишах, пощелкивая пальцем по краю кубка, улыбнулся и ответил:

— Но корзину я не забыл... Вот ты говоришь, что детская память коротка, а сердце и память семилетнего ребенка запомнили и навсегда сохранили тесноту корзины...

По лицам и падишаха, и Леле Гусейн-бека прошла легкая тень.

В этот момент один из пьяных военачальников, опустившись перед государем на колени, фамильярно сказал:

— Святыня мира, я предлагаю поднять кубки за племя Устаджлу, взрастившее такого, как Мухаммед!

Эти слова, рассказывал Аргун-бек, ужалили падишаха, словно змея. Стала ли причиной этого давняя история с корзиной, или другой его разговор несколько дней назад, — никто, ни военачальники, ни Аргун-бек, бывший свидетелем происшествия, так и не поняли.

Хмель у падишаха сразу же прошел, он привстал на тахте, украшенной драгоценными камнями, положил руки на колени, гневно оглядел пьяных сотрапезников и сказал — нет, не сказал, закричал:

— Довольно!... До каких же пор мне объяснять вам!... Как вы не можете понять, что Устаджлу, Шамлу, Текелу, те или другие — для меня одинаковы. Один народ с одной верой! — Я создаю государство, объединяя под одним знаменем людей разных понятий, убеждений, сект. А во главе их стоят мои братья по вере — мои единомышленники. Вы же насильно раздираете народ на племена. В домики играете! Я из такого-то племени, я из этой местности, ты из той местности... Тот — из третьей... Если что и погубит наш народ, так это местничество, разобщенность между племенами! До тех пор, пока это разобщение не прекратится, пока вопрос: «Откуда ты?» не исчезнет с наших уст, мы даже во сне не можем увидеть свой народ единым! Довольно! Запомните раз и навсегда, что там, где нет единения, нет и победы. Только единство... только единство!... Скажите матерям, чтобы они воспитывали детей, как воинов, мучеников, учили их жертвовать собой во имя единения. Родины! Пусть они с детства не считают пространство по ту сторону колыбели чужбиной. Пусть матери говорят детям: «Если ты будешь убит в спину, изменишь Родине, да не пойдет тебе впрок мое молоко!» Иначе ведь нет Родины!

Султан Селим и сейчас будто слышал эти слова, дословно переданные ему Аргун-беком:

— Э, нет, — подумал он, — если этому щенку не дать по носу, не остановить, то аппетит у него возрастет непомерно, он далеко пойдет. Ишь, как хороорится, гоголем ходит после нескольких-то побед!

По словам Аргун-бека, конец победного пиршества был весьма странным. Один из самых воинственных молодых суфииев выступил вперед и смело спросил у падишаха:

— А шиизм? Разве он не делит надвое единый народ? Тебя не пугает, государь, не приводит в ужас такое разделение народа, имеющего один язык, возделывающего одну землю? Ведь то, что половина будет суннитами, а половина — шиитами, приведет в будущем к страшной вражде друг с другом, мой хаган?!

Изумленно оглядев храброго молодого человека, шах ответил:

— Напротив, я объединяю народ. Хотя и силой меча, но все таки обращаю суннитов в шиитов и объединяю.

— Силой меча народ не объединить, о великий! Разделенный силой поэзии народ могла бы снова объединить только поэзия. А твои стихи, нефесы, распространяющие шиизм, разобщают. Ты писал эти стихи для того, чтобы собрать народ под своим знаменем, а не для того, чтобы объединить его!

Продолжая свой рассказ, Аргун-бек сказал Селиму:

— Удивительно, что падишах не разгневался, а терпеливо, словно учитель ученику, повторил: «Ты ошибаешься. Я объединяю земли родины. И в будущем, когда все будут поклоняться одной вере, остальное забудется, плохое уйдет, и будущие поэты смогут уже сочинять стихи об объединенной под одним знаменем родине.

Но молодой суфий упрямо покачал головой:

— Нет, не забудется. Это разобщение — историческое, оно станет причиной многих бед. Бойся, что тебя станут проклинать тогда, мой хаган!»

Несколько горячих юношей кинулись к молодому суфию-дервишу. Давно уже все, даже самые пьяные, пропретившись, гадали, что же будет с дервишем, осмелившимся на столь резкий диалог с Искендершаном[61]; ждали, что сейчас вызовут палача. Здесь Аргун-бек счел необходимым добавить собственные соображения:

— Откровенно говоря, мой султан, мне тоже было жаль этого бесстрашного юношу... Но, когда бросились к дервишу, государь поднял руку. Все остановились, ожидая его распоряжений,
И шах громко сказал:

— Не трогайте его, он не враг! Он чист, и говорит то, что думает. Что у него на сердце, то и на языке. Я понимаю его, потому что он переживает за судьбу нашего народа, стремится к его благополучию. Как бы я хотел, чтобы все вы были такими!

И никто не осмелился возразить государю. А молодой дервиш поклонившись, вышел.

«Видимо, мне не дано понять смысла его противоречивых стихов и бесед, — думал Султан Селим. — И если я в чем-то разобрался, так только в одном: он, как и Гасан Длинный, бывший когда-то себя в грудь, хочет завоевать весь мир...»

25. ЦАРЬ ПОЭТОВ

Меджлис был интимным, приглашались лишь любители и ценители поэзии. До условленного часа оставалось еще достаточно времени. Шах Исмаил Хатаи, давно уже называемый близкими Искендершаном, сидел лицом к лицу с дворцовым мелик-уш-шуарой[62]. Только на поэтических собраниях, где не допускались церемонии, Хатаи чувствовал себя поэтом, забывал обо всех распрях, войнах, победах и поражениях; в эти часы он был самим собой — весь излучал и дышал поэзией. Но друзья и близкие знали за своим повелителем и другое — в нем словно уживались четыре человека: первый — непобедимый, ничего не боящийся, мужественно шагающий впереди своих войск, беспощадный к врагу военачальник; второй — хладнокровно отдающий приказы о снятии голов, алчный, падкий до трона и короны шах-завоеватель; третий — шейх, принесший в жертву своим убеждениям и меч, и лютню; четвертый — поэт Хатаи, автор изящных лирических газелей и такого шедевра, как поэма «Дехнаме». На поэтических собраниях, подобно сегодняшнему, у этого четырехликоого человека три других лика исчезали и оставался только один — лик поэта, оставались только сердце и достоинство поэта. И без того красивые, но, в зависимости от ситуации, источающие то гнев, то злобу, то месть, пугающие окружающих черты лица в эти часы смягчались, облагораживались. В эти часы, встречаясь с друзьями по сазу и перу, он не допускал никаких церемоний, отменял на время обычные отношения «шах-холоп». «К чему церемонии меж друзьями?» — любил повторять он известную арабскую поговорку. И тем самым создал на поэтических меджлисах атмосферу подлинной непринужденности. Сегодня — день двух поэтов, имен которых не знали многие. Правда, Хатаи читал их стихи в рукописях, но знаком с ними еще не был. Сегодняшний меджлис целиком посвящен этим двум выдающимся личностям — Мухаммеду Физули и Мискину Абдалу.

В соседней комнате уставлялись дорогими яствами скатерти. Вскоре туда вместе с другими приглашенными придет, несмотря на то, что он — кази, большой любитель поэзии Мовлана Ахунд Ахмед Ардебили. Тот самый Мовлана Ахунд Ахмед Ардебили, который двадцать шестого числа месяца зилхиджа девятьсот девятнадцатого года хиджри[63], в среду, освятил брак между молодым государем и Таджлы-беим — дочерью бека Бекдили-Шамлу из очень знатного рода, и после этого обряда любимая Таджлы-беим в одном из походов, в селе Шахабад, подарила ему сына-наследника, названного им Тахмасибом. Теперь Таджлы-беим была государыней провинции Хорасан — и любимая женщина, и пахнущий молоком младенец, наследник Тахмасиб, были от него далеко. При мысли о том, что вскоре придет Мовлана и принесет весть о сыне, в нем проснулось теплое отцовское чувство, забродило по жилам, украсило легким румянцем нежно-белую кожу молодого лица. Он облокотился о мутаку, увенчанную тирмой с грушевидным рисунком, и вскоре забыл о собеседнике и о предстоящем собрании. С обтянутого полосатой тирмой табурета шах взял белую, как грудь любимой, самарканскую бумагу, вынул перо из красочно разрисованного пенала и начал писать:

Ты — пери, чьи глаза пьянят, а губы сердцем моим играют.

Ты — Кааба, святыня. Алтарь мой — брови твои.

Словно день, лицо твое всходит, а волосы ночь застилают.

Ничего не прошу у аллаха я, кроме твоей любви!

Словно зернышко, манит родинка, а косы силки сплетают,
Почему не приветишь, о пери, ты птицу моей души?

Твой порог — приют мира. Ты стройна, как дерево рая.
Лиши святой водой твоих уст огонь свой смогу потушить.

О отшельник! Не отрицай — верь этим словам Хатаи,
Воспевающим красоту пери и силу его любви...

Ему казалось, что Мовлана, услышав последнее двустишие с именем автора, улыбнется, проведет белой тонкой, никогда не знавшей работы рукой по мягкой бороде, а потом усмехнется в усы и скажет:

— Не буду отрицать, не буду, о поэт!

Мелик-уш-шуара неторопливо поднялся, снял с разрисованной полки из палисандра приготовленную на сегодня рукопись «Бенгю баде» — «Гашиш и вино», переписанную лучшим шахским каллиграфом, скрепленную серебряными застежками. Снова, в который раз, начал ее перелистывать... Мелик-уш-шуара был высок ростом, худ и молчалив. Его желтоватое лицо казалось болезненным из-за постоянно носимых белого подризника и белой абы. Самым примечательным на его лице были глаза: спокойные, как озеро, блестящие, как волны под солнцем, глубокие и печальные, они светились из-под кустистых седых бровей, окруженные совершенно белыми ресницами... Ему вспомнился сейчас разговор со своим учеником и зятем. Разговор этот состоялся в Кербеле. В прошлом году, когда он заговорил с Мухаммедом о переселении в столицу, во дворец Шаха Хатаи, старый мелик-уш-шуара сказал:

— Сынок, этот шах не похож на других. Он и властен, он и мудр. Подумай сам, он покоряет страны, но не забывает и о главном, что питает дух — придает блеск искусству, поэзии. Ты только послушай, что он говорит о слове, о сазе — душе нашего народа:

Сегодня не тронул рукою я саз мой любимый,
Но хлынул мелодий поток к небесам. Ч
етыре начала нам необходимы:
Наука, священное слово, мелодия, саз!

Он тогда промолчал, но мудрый старец ясно прочитал в глазах собеседника: «Ну и что? Все это — лицемерие. И поэзия, и искусство, и саз — средства, необходимые ему для порабощения стран и народов, и для упрочения своей власти, не так ли?» И старец не оставил без ответа этот безмолвный вопрос.

— Ну и пусть! И при этом не забудь воздать ему должное: впервые после арабской оккупации наш азербайджанский язык проник во дворцы, стал языком политиков. Межгосударственна переписка теперь ведется на нашем языке. Шах сам подает пример: слагает стихи на родном языке своего народа, согревает стихи собственным дыханием. А ведь до сих пор считалось, что только персидский язык — язык поэзии, вспомни, ведь ты сам говорил, что на нашем языке «Стихи слагать трудно». Дорогу во дворец проложили даже ашыги, а ведь они — народная память об озанах. Шах проявляет особую заботу о тех, кто хочет получить образование, стремится овладеть искусством. Он располагает прекрасной библиотекой, собрал в своем дворце каллиграфов, рисовальщиков, переплетчиков. Всем им определил жалованье, поручает переписку ценнейших диванов и научных трудов. Когда при тебе будут хулить его, то не забудь и о творимых им добрых делах!

Тогда этот разговор ни к чему не привел. А вот теперь зять посвятил свое новое произведение Шаху Исмаилу, завоевавшему особое положение среди государей века. Мелик-уш-шуара задумчиво разглядывал разрисованные полки. Хотя у шаха была отдельная библиотека, но здесь, под рукой он держал самые редкие экземпляры, которые могли понадобиться ему в любую минуту. Вот труд Мухаммеда Закария ар-Рази, повествующий о медицине, философии, астрономии, литературе и музыке; вот недавно переписанные произведения «Элми-Эхкам» и «Зидж», рассказывающие о звездах... Как широк круг интересов шаха, как велика его тяга к знаниям! Когда мелик-уш-шуара вернулся с рукописью, шах уже закончил писать и играл в шахматы с беззвучно вошедшими в комнату тайным служителем. Эта шахматная доска, привезенная ему в подарок купцом Гаджи Салманом из Индии, была изготовлена из знаменитого индийского карагача и перламутра. Одни клетки были из дерева, другие — из перламутра. Фигурки, высотой с палец, были изготовлены из слоновой кости: пешки — в виде усеченных куполов, конь — всадника, королем служила усыпанная драгоценными камнями корона. Белыми играл сам государь.

Тихими, бесшумными шагами мелик-уш-шуара подошел к игрокам, остановился между ними, стал наблюдать.

Игра окончилась. Хотя шах одержал победу, он, как и всегда, не был целиком сосредоточен на игре: мысленно он продолжал начатую беседу. Так было и на этот раз. Без всякой видимой связи он возобновил прерванную беседу:

— Значит, сегодня мы читаем «Бенгю баде» вашего зятя?!

— С вашего разрешения, мой государь!

Ни с того ни с сего он вдруг высказал мысль, волновавшую, видимо, его давно:

— Надо привлечь во дворец поэта Мухаммеда Физули, господин мелик-уш-шуара.

— Он не придет, святыня мира!

— Почему?

— Потому что он — на службе у более великого шаха, счастливый государь!

— У кого? — в голосе шаха нарастал гнев, это поняли и мелик-уш-шуара, и тайный служитель.

Но мелик-уш-шуара ответил так же спокойно:

— У Гусейна ибн-Алиюл-муртазы! У твоего великого предка, мой государь! Мухаммед Физули пишет на своем родном языке в Кербеле, среди арабов. Как говорится, «растит веру внутри веры!»

Служитель вздохнул свободно — голос государя стал, как и прежде, спокойным и мягким:

— Хвалю его! Поэт — недремлющее око, мыслящий мозг, несмолкаемый язык своих соотечественников. Разумеется, так и должно быть. Уму непостижимо, что сделали с этим несчастным народом арабы. Ребенок идет в школу, и первые произносимые им слова — арабские: «Бисмиллах рахман рахим, хювель-фаттаху алии». Что тут можно понять? Бедный ребенок! Разве нельзя, чтобы он своим крохотным язычком произнес на родном наречии: «С именем великого, милостивого, милосердного бога начинаю...» Вот и все. Такое и богу будет угодно, и ребенку ясно. Или другой пример. Многие народы ни слова не понимающие по-арабски, пять раз на дню совершают намаз. Один на один стоят они в укромном месте со своим создателем, говорят творцу о своих горестях, просят, веря в его величие: «Гул хювель-аллаху эхед». Разве нельзя, не ломая арабского языка при произнесении этих слов, просто сказать на своем родном языке «Бог един»? Клянусь, бог охотнее примет такую молитву. Ведь совершающий намаз будет понимать то, что он говорит богу, а не твердит, как попугай, заученные слова.

Поэт Хатаи уже давно обдумывал эту мысль, целиком завладевшую его душой, но не высказывал пока с полной откровенностью: для народа, обращенного в рабство, сохранение родного языка имеет неоценимое значение. Арабские завоеватели прекрасно понимали это и старались сразу же, в корне, задушить язык порабощенного ими народа. Пятикратная молитва несчастного пастуха, в которой он не понимает ни слова — по-арабски! Первое слово пятилетнего ребенка в моллахане — по-арабски! Верно говорят, если хочешь уничтожить народ — сначала отбери у него язык. Это стало лозунгом всех завоевателей, всех тех, кто приобрел господство над другими народами...

О наболевшем он говорил иносказательно, а мелик-уш-шуара и тайный служитель стояли и слушали, не зная, что ответить.

— На это и направлены все мои старания: придать блеск нашему языку, этого я требую и от вас, и от других поэтов... Вот почему, является Мухаммед Физули вашим зятем или нет, его авторитет передо мной очень высок. Жаль, что он не покинет Кербелу, службу святому Гусейну и не придет сюда...

В этот момент вошел слуга-нубиец и доложил, что приглашенные уже в зале, ждут шаха.

Тайный служитель проговорил простодушно:

— Да буду я твоей жертвой, мой шах! А что, если бы ты издал указ перевести на наш язык и совершать на нем и намаз, и другие молитвы...

Шах расхохотался. Усмехнулся и мелик-уш-шуара. Даже у нубийца, застывшего в дверях как изваяние из черного гранита в ожидании шахских повелений, на мгновение ярко сверкнули белки глаз, мелькнули между толстыми губами блестящие, словно перламутр, зубы. Отсмеявшись, шах хлопнул правой рукой по спине своего любимого служителя и постоянного шахматного соперника, и сказал уже серьезно:

— Рано еще, мой дорогой! Мы наживем себе неисчислимое количество врагов. Весь арабский мир, все идеологи ислама, религиозные фанатики — все ополчатся против нас. Скажут: мы умаляем значение арабского языка. Скажут: переводить Коран — грех. Скажут: вы предаете язык Корана. В сущности, перевод нанесет вред интересам молл. Когда слова произносят по-арабски, среди неграмотных создается вера в существование в них некоей волшебной, таинственной силы. Известно, что все таинственное пробуждает в сознании человека священный трепет, пробуждает полную страха веру. Это-то им и нужно! Ты только подумай, сколько народов мира читают Коран на арабском, на этом же языке совершают намаз. От Андалузии до Хата, от берегов старого Эдила до юга Африки — чуть ли не весь мир...

Шах на мгновение смолк, и мелик-уш-шуара, воспользовавшись паузой, прочитал строки Фирдоуси, пришедшиеся по душе шаху:

Арабы, что ящериц грязных глотают

И пьют молоко верблюдиц,

Теперь о короне Каинов мечтают!

Что с миром сталося, люди!

— И наш народ это очень хорошо понял. Хоть и принял веру, но не забыл о ненависти. Сколько бытует в народе разных пословиц, баяты, выражающих отношение к арабской оккупации! Вот послушайте баяты:

Эй, отзовитесь — араб пришел,

Отдайте, что есть — араб пришел.

Даже самую малость не прячьте в щель,

Все заберет он — араб пришел!

Но шах его не слушал. В его воображении звучал другой голос, голос встреченного когда-то в караван-сарае благообразного дервиша. Он вспомнил вдруг слова старого дервиша: «Необходимо избавить людей от трех горестей нашего времени, государь! От голода, непрекращающихся войн и гнета местных правителей и амидов, продающих, вместе с прочим, и твои собственные трон и корону. Стоит им скрыться от твоего бдительного ока — они служат уже не тебе, а своим целям; добившись своего и получив в дар какую-либо область, они тотчас приступают к грабежу твоих подданных. Гнет дошел уже до того, что правитель пересчитывает зерна в колосьях, и в соответствии с этим требует у бедняка урожай. Почему у тебя не вызывает подозрений правитель, приносящий тебе дорогие дары? Почему ты не задумываешься, каким путем он получил их? Когда военачальники разоряются, они отправляются грабить то один, то другой край. Попирают законы народного гостеприимства. Заходят в чай-то дом, вкушают хлеб с его хозяином, а потом дочиста грабят приветившего их человека. Не забывай, что великий бог создал край для бедняков на том свете, а для богачей — на этом. Будь заступником всех несчастных, будь справедлив, будь праведен!»

Много слов сказал тогда дервиш. Даже и теперь, слушая его звучащий в памяти голос, шах поеживался от обилия предстоящих дел. Он заговорил, отвечая и тайному служителю, и своим сокровенным мыслям:

— Пока рано. Быть смелым не только у себя на родине, но и среди религиозных фанатиков, в пупке Аравии, как Мухаммед Физули, писать стихи, поэмы на своем языке! Вот это отвага! Он возводит наш язык в ранг языков, известных всему миру! Если таких, как он, будет больше, может быть, тогда...

Он снова умолк... Направился к двери. Черное изваяние — нубиец низко склонил голову. Шах прошел в зал, где был назначен поэтический меджлис. Позади него на подобающем расстоянии друг от друга следовали мелик-уш-шуара и тайный служитель.

* * *

Все любители и знатоки поэзии, музыки, науки и творцы искусства уже заполнили зал. Они садились, как правило, поближе к шаху. Трон в комнате не устанавливали; на таких собраниях Исмаил не любил отделять себя от поэтов, ашыгов — своих собратов по перу. Просто в зале, на почетном месте, разложили тюфячки, по обе стороны от них расположили подлокотники из тончайшей тирмы, бархатные подушки под спину — пюштю, называемые в народе «тюфяками свекрови» — обычно их подкладывали под спину, прислоняясь к стене, пожилые женщины. Вот таким — без трона и короны — бывал шах на поэтических и музыкальных собраниях. По числу участников собрания и в соответствии с их привычками против тюфячков ставили кальяны, наргиле, трубы. Подобно тому, как каждый заранее знал определенное ему место, надимы, невольницы, служанки тоже знали, кто и где будет сидеть. Рядом с курительными принадлежностями перед каждым тюфячком стояли низкие разрисованные скамеечки, а на них — самаркандинская бумага, ширазские перья, пеналы. Вино, сладости и фрукты подавались каждому на отдельном подносе — хонче. Для непьющих вместо вина подавались кардамонный и шафранный шербеты в красивых эмалевых кувшинах и граненых сосудах. Визири и векилы, ученые, поэты, каллиграфы, художники, музыканты и ашыги, которым предстояло услаждать слух на этом вечере, тихо переговаривались.

Когда в зал вошел Исмаил, а за ним, на подобающем расстоянии мелик-уш-шуара и тайный служитель, все тотчас поднялись и, прижав правые руки к груди, уважительно склонили головы.

Шах прошел к своему месту, сел. По его знаку опустились на свои тюфячки мелик-уш-шуара, надим и все собравшиеся. На минуту воцарилось молчание... Каждый устраивался поудобнее на своем тюфячке, облокачивался на подлокотники. Наконец, шах обратился к сидевшему справа от него мелик-уш-шуара:

— Устад, с чего начнем?

Поэтическое собрание вел обычно мелик-уш-шуара. И он ответил:

— Мой государь, помимо главной цели, ради которой мы все собрались, нас ждет сегодня и сюрприз — интересный гость, прибывший издалека, из самого Чухур Садда[64]. Северные области нашей родины будто провели водораздел между художниками: ширванская земля, где я родился, подарила миру поэтов, бакинская — прекрасных художников-ювелиров, округ Чуху Сада — Геокча — ашыгов, и каждая по-своему прекрасна!

В этот момент примостиившийся сбоку от шаха шут, не привлекавший до сих пор ничьего внимания, прервал мелик-уш-шуара со свойственной ему смелостью и болтливостью:

— Да, у каждого города должно быть свое лицо... Как говорят арабы, ремесленничество — в Басре, красноречие — в Куфе, удовольствия и наслаждение — в Багдаде, предательство в Рее, зависть — в Герате, распущенность — в Нишапуре, жадность — в Мерве, гордость — в Самарканде, храбрость — в Балхе, торговля — в Египте...

Все расхохотались.

— А Тебриз, в котором ты родился? — вопрос задал шах.

— Он рождает хороших шутов, дорогой!

Когда смех прекратился, Шах Исмаил обратился к мелик-уш-шуара:

— Слушаем тебя, устад!

— С вашего разрешения, эшрафи-эла[65], наш гость — один из самых искусных народных художников Мискин Абдал.

— Пусть пожалует...

Среди музыкантов поднялся высокий худой человек с трехструнным сазом в руке, весь облик его излучал сияние. На ашыге была надета чуха со свободными рукавами, рубашка с вышитым воротом, коричневые домотканые шаровары. Тонкие черные брови ашыга будто образовали дуги над широко расставленными карими глазами. В этих глазах, завораживая и вызывая изумление, таинственным светом мерцали золотисто-желтые точечки. Прижав правую руку к левой стороне груди, ашыг поклонился на три стороны.

Властным шахским оком оглядывал Исмаил фигуру Мискина Абдала, его светоносные глаза, получившие, казалось, свои искорки в подарок от желтого солнечного луча. Невольно понизив голос, он сказал сидящему рядом мелик-уш-шуаре:

— Если это — Мискин Абдал[66], то каковы же в тех местах величественные люди?

Губы мелик-уш-шуара легонько раздвинулись. Чтобы не вызвать подозрений, не смутить гостя — ашыга, впервые в жизни выступающего на шахском собрании, он ответил быстрым шепотом:

— Те, наверное, будут похожи на моего государя.

— И этот ничуть не хуже.

Разговор их не был замечен, лица обоих собеседников будто окутывала невидимая вуаль.

Мискин Абдал, еще раз почтительно поклонившись государю, встал на подобающем расстоянии. Лишь одно слово слетело с его уст:

— Позвольте...

— Позволено! — ответил самый старший из собравшихся кази.

Прижав к груди трехструнный саз, ашыг ударил мизрабом по струнам и мелкими плавными шажками пошел по кругу собрания:

Лишь на тебя надежда моя,

Ласковый друг, приди мне на помощь.

Вздохну — и эхо в горах застонет,

Заплачу — чужой рассмеется, родня отвернется моя.

Верхом на Дюльдюле[67], с мечом в руках

Вместилище всех наших мыслей и чаяний[68].

Но я — в опале, но я — в отчаянии,

Приди, мой глава, видишь, я в слезах!

И от тебя, приходящий на помощь

Великий аллах, моих слез не прячу.

Абдал — мое имя. И вот я плачу,
До самых небес дошли мои стоны!

Послышились возгласы собравшихся: «Саг ол! Молодец!» И голос ашыга, и искусство исполнения, и поэтичность пропетых на родном языке гошма, и строки, намекающие на великого предка государя, и мастерство игры на сазе, и танец, и учтивость, идущая от старых традиций деде-озанов, понравились всем сидящим в зале, пришли им по душе. Это были люди, умеющие ценить искусство, и поэтому они с большой теплотой, с истинным наслаждением слушали ашыга Мискина Абдала, так же, как неоднократно слушали они любимого ими Гурбани. А Мискин Абдал, как подлинный ашыг, влюбленный в красоту поэзии, весь отдался вдохновению. Со сменой мелодии менялись и стихи, он переходил от гошма к теджнису, от теджниса к герайлы, от герайлы к дивани. Наконец, он, соблюдая этикет, прочел по одной-две строфы каждого вида и смолк. Снова, приложив правую руку к груди, почтительно поклонился, благодаря всех за внимание. Затем ашыг вернулся на свое место.

Целиком погрузившийся в мир поэзии поэт-государь Хатаи жестом подозвал к себе главного писаря, что-то сказал ему. Тотчас же главный писарь прошел в соседнюю комнату и вернулся с каллиграфом, несущим небольшой табурет. Шах громко сказал:

— Пиши! Даруем ему — Мискину Абдалу свое покровительство и дарственную на село Сарыягуб, с правом наследования

Главный писарь написал черновик указа, а каллиграф здесь же переписал его на самарканской бумаге. На табурете были расставлены крошечные пиалы с голубой, красной, черной, лиловой красками, в отдельных маленьких сосудах находились жидкое золото и серебро. Привычными движениями каллиграф опускал камышовое перо в пиалы, водил им по бумаге. Не прошло и четверти часа, как указ был готов, и главный писарь, пятаясь, поднес его государю. Одним росчерком камышового пера Исмаил поставил свой вензель под указом. По знаку мелик-уш-шуара Мискин Абдал подошел к государю, опустился на колени. Но когда он наклонился, чтобы поцеловать землю (видно, его заранее обучили придворным манерам), поэт-падишах остановил его:

— Нет-нет, устад, не целуй землю! В сравнении с тем удовольствием, которое ты нам сегодня доставил, указ ничего не стоит. Возьми! Ты еще раз доказал всем нам, что язык нашей матери-родины — язык музыкальный, обладающий высокой поэтичностью, что на нем можно воспевать самые прекрасные чувства, высказывать самые глубокие мысли. Язык наш великолепно ложится на музыку! Слава тебе и великому создателю, вдохновившему тебя на это.

Радостно, с большим волнением слушал Мискин Абдал слова поэта-государя. Почтительно взяв указ, он поцеловал его, приложил к глазам и ко лбу и встал:

— Да будет долгой твоя жизнь, да стану я твоей жертвой! — сказал он. — За то, что ты делаешь для возвеличения родного языка, за твои благородные убеждения и помыслы вечно будут молиться за тебя наши родные края.

Пятаясь, Мискин Абдал вернулся на свое место. А шах задумчиво проговорил:

— Наш великий поэт задолго до нас утверждал в своих стихах:

Джамшида бокал протянула мне алая чаша тюльпана,

Когда я в цветник заглянул как-то раз утром рано.

И каждый цветок творца славил, и пел весь цветник:

Лови, о лови, ведь другого такого не будет, лови этот миг!

Ведь эти строки — лучшее подтверждение божественной поэтичности и музыкальности нашего языка! Мовлана Ахунд Ахмед заметил:

— Мой государь, у персов есть такая поговорка: настоящий язык — это арабский язык, язык поэзии — персидский, а чтобы по-туркски говорить — труд нужен!

Раньше шаха на это отозвался шут:

— Никто свой айран не назовет кислым!

— Верно! И потом, ведь поговорку сочинил какой-то перс, вот он и присвоил себе поэтичность. А наш багдадский поэт своими произведениями дает лучший ответ на этот вопрос. Сегодня мы прочитаем одно из них. Пожалуйте, устад, очередь за стихами!

Мелик-уш-шуара передал листок бумаги своему ученику, прославившемуся прекрасной дикцией и выразительным чтением стихов; молодой поэт взял свернутый в трубочку листок, развернул его. Он взглянул в сторону шаха, как бы спрашивая разрешения, — среди собравшихся воцарилось молчание, и молодой человек начал читать «Гашиш и вино», поэму Мухаммеда Физули, посвященную Шаху Исмаилу:

Пусть на века продлится его торжество.

Как Авраам, он устроил для всех пиршество,

Дал благодеяние нам, словно Джамшид.

Всяк — и богатый, и бедный, славит его.

Шах Исмаил, пусть аллах вечной властью тебя одарит!

Молодой человек читал, а все внимательно слушали. Время от времени, стараясь не шуметь, брали угощение с поставленной перед ними хончи, кто-то наливал себе из кувшинов и графинов вино, шербет, сладкие напитки, кто-то покуривал кальян...

Когда чтение окончилось, был уже поздний вечер. Но собравшиеся не были утомлены. Ученик мелик-уш-шуара прочитал последнюю строфиу — и меджлис потрясли возгласы: «Отлично! Прекрасно! Молодец! Дай бог ему здоровья! Слава ему!». Шах Исмаил был опьянен радостью.

— Ах, как не пожалеть, что такой поэт не является украшением нашей страны, ее столицы, моего дворца! Пусть за доставленное всем нам наслаждение ему пошлют в подарок сто ашрафи!

Мелик-уш-шуара осторожно проговорил:

— Не делай этого, мой хаган! Не посылайте. Он — служитель святого Гусейна, и наград просит только у своего создателя. Это — человек, довольствующийся малым. Вот послушайте, что он говорит:

Если осыплет богатством судьба — я не пляшу.

Если отнимет все у меня — я не грущу.

Пусть я ничтожен и гол, как последний бедняк,

Это лишь видимость; знаю, что, как Гарун, я богат.

— Жаль, что, когда мы покорили Ирак и вошли в Кербелу, Мухаммед Физули еще не был так известен нам. Иначе мы обязательно выделили бы его из всех остальных служителей святого, узнали бы о его нуждах...

В этот момент слуги принесли и поставили перед шахом изящное фарфоровое блюдо с очень любимыми им дынями, нарезанными на дольки. Эти дыни доставлялись шаху из Бухары, сохраняемые по дороге во льду в медных коробках. Перехватив недоуменный взгляд Ахунда Ахмеда, брошенный им на дыни, Исмаил предложил:

— Ахунд, пожалуйте!

— Ни за что, мой государь! «Не ешь ничего против сезона», завещали нам древние целители. Для каждого сезона есть свои блюда, свои фрукты и овощи. Нарушающий это правило человек может и заболеть!

Исмаил рассмеялся:

— Я могу воздержаться от любого плода, но не от дыни. Очень уж люблю я дыни, Ахунд! Причем я ем их в любой сезон, когда бы ни привезли, и пока что, наперекор той медицине, в которую мы верим, не видел от них никакого вреда.

— О чём говорить, мой государь! Ваш организм молод. К тому же вас охраняет и бережет ваш великий святой предок. А для меня даже знаменитый арбуз Бабашейх, и тот — в свой сезон.

...Музыканты, по знаку шаха, заиграли мугам Кябили. Молодой певец исполнял, в основном, газели Хатаи и Физули, а в теснифах обращался к широко распространенным в народе песням.

Когда перешли к ренгу[69] — дрогнули шторы на боковой двери, из-за них показалась изящная девушка, одетая в алый шелк с золотой бутой. Лицо ее прикрывала такого же цвета легкая вуаль: оно проступало за неуловимой тканью, как гряза. И лицо ее, и тугие косы, в которые были вплетены нити жемчуга, манили сквозь эту злость, притягивали каждый взор. Рукава платья спускались до самых ладоней, раскрашенных хной. В крошечных пальчиках, каждый из которых напоминал тающий во рту сладкий хлебец, девушка держала палочки бенгальских огней. В тот момент, когда она показалась из-за занавеса, слуги задули часть свечей, и зажатые между ее пальцами палочки ярко заискрились.

И так же мимолетен был танец, отмеренный, казалось, мигом горения бенгальских огней и бешеным ритмом ренга. Вокруг танцовщицы летали тысячи искр, звездочек, ярких светлячков. Зрешище было изумительным. Танцовщица так же незаметно исчезла за шторой, как и появилась.

Меджлис продолжался. Теперь говорил только что прибывший из Самарканда поэт-дервиш Саили. Он видел в Самарканде гробницы Хюсам ибн-Аббас-Шахзинде, Газизаде, Шадмулька, Амирзаде, Тоглутекин, мечети Хазрат Хызр, Бибиханым, Регистан и взахлеб рассказывал об их красоте:

— Святыня мира, мастера так искусно выложили из бирюзовых и белых эмалированных кирпичиков слова аллаха и пророка, что их изречения выглядят, как прекрасный бутон цветка. И самое удивительное — каждое их слово можно читать с любой стороны — и сверху вниз, и снизу вверх, и слева направо, и справа налево. Читай как угодно, одно и то же изречение перед твоими глазами!

— А Али?

— Нет, имени Алиюл-муртазы там нет.

— А вот мы возвели гробницы нашего отца и деда не хуже тех святынь. И имя Али велели так же написать, но уже в полном виде: «Аллах-Мухаммед-Али». И родной Ардебиль наш стал благоустраиваться, теперь не счесть там паломников.

А на меджлисе, с разрешения шаха, пел уже другой ашыг. Гошма перемежались герайлы, он пел собравшимся историю одной горестной любви, сочиненную известным этому кругу ашыгом Гурбани:

В сторону Барды душа моя отправилась,

Под названием Гянджа стоит там город, эй!

Вы мои любимые, хорошие, красавицы,

В золото одетые, не прячьте взоры, эй!

Вдруг, когда ашыг засился соловьем, запел о верности в любви словами: «Дам расписку, стану рабом твоим на сто лет», шах-поэт вздрогнул. Слетевшие с уст ашыга слова подействовали на воображение поэта, все в нем разом всколыхнулось. «Нет, ашыг, нет, мой дорогой! Ты не знаешь, что значит быть рабом! Видимо, на твоей родине не продаются и не покупаются, как рабы, девушки, молодухи, юноши с руками как сталь...» Поэт забыл уже и об ашыге, и о собравшихся, воображение подхватило его на свои крылья и понесло в Ирак:

...Солнце поднялось уже на высоту двух копий, когда они вошли в Самиру. Вместе со своими приближенными шах направился на невольничий рынок, о котором давно уже был наслышан. Говорили, будто большой двор и площадь для невольничего рынка велел построить сам Гарун-ар-Рашид. Постройка была так крепка, что и теперь, семь веков спустя, ни один камень не выкрошился, ни один кирпичик не упал. На площади, перед воротами невольничего рынка, высится сложенная из камня гигантская винтовая башня, вершину которой не увидишь с земли. Лестница в триста шестьдесят ступеней ведет к верхушке этого величественного минарета, причем, в отличие от обычных минаретов, винтовая лестница здесь расположена не внутри, а снаружи башни. Говорят, будто в дни особенно оживленной торговли, когда на рынке раскалялись страсти от всей этой купли-продажи, Гарун-ар-Рашид приходил сюда, поднимался на башню, верхушка которой упиралась в самое небо, и с этой головокружительной высоты разглядывал торговую площадь. Понравившихся ему красавиц, рабынь и невольниц, он отбирал для своей прекраснейшей жены, поэтессы Зубейды-хатун, а крепких, могучих юношей и молодых мужчин — для себя.

Шах взглянул на высокий, опоясанный спиралью лестницы минарет, и ему вдруг захотелось узнать, что ощущал, как чувствовал себя Гарун-ар-Рашид, когда поднимался на эту, казавшуюся недосягаемой, вершину. Он спешился, привычно, не обращая внимания на тех, кто склонялся перед ним в благоговейном поклоне, кто собирали землю из-под его ног и тер себе юю, как тутией, воспаленные глаза или больные участки тела, кто бросал ему под ноги лепестки роз, а потом, после того, как он ступал на эти лепестки, бережно укладывал их в маленькие белые мешочки, чтобы сохранить для любимых. Ни на кого не глядя, шах начал подниматься по широким каменным ступеням. Следом за ним двинулся один из наиболее близких ему тогда военачальников, молодой Рагим-бек. Он шел с каким-то особым, непонятным ему самому волнением. От этого ли, от высоты ли, но вскорости у шаха началось сильное сердцебиение. Дыхание стало прерывистым. Шах взглянул вниз — и люди, занятые торговлей на невольничем рынке, праздно прогуливающиеся у ворот или стоящие, задрав головы и с любопытством следящие за поднимающимися на башню-минарет, показались ему гигантскими суетящимися муравьями. Он покачнулся, и тут Рагим-бек почтительно и заботливо поддержал его. Сняв с пояса флягу, Рагим-бек протянул ее шаху со словами: «Мой государь, соблаговолите, может быть...» Хотя Исмаилу и не понравилась тогда витиеватость и нарочитая скромность, отнюдь не свойственная молодому военачальнику, зато пришлась по душе чуткость, с какой Рагим-бек поспешил помочь ему в этой необычной ситуации. Он выпил прохладной воды из фляги, обернутой в войлочный футляр, чтобы предохранить содержимое от нагревания, и вернул ее владельцу. Подумал: «Что делать дальше, спуститься или продолжать подъем?» Спустившись, он не только уронит свой авторитет в глазах тех, кто сейчас наблюдает за ним снизу, но и лишит себя возможности достичь вершины, а, значит, и не достигнет преодоленной Гаруном высоты, не ощутит владевших им чувств! Нет, только ввысь, только вверх! Именно оттуда он должен взглянуть на

невольничий рынок, выбрать, а затем купить и освободить раба, как он сделал это, когда родился Тахмасиб, и тем самым исполнить данный обет.

Во что бы то ни стало он должен вызвать восхищение всех этих заполнивших рынок и прилегающую к нему площадь мусульман, иудеев, несторианцев, ассирийцев и бог его знает, кого еще там, а также должен выполнить одно из велений предка Мухаммеда — об освобождении раба. То ли эти мысли, то ли вода, то ли короткий отдых укрепили его колени, разогнали отяжелившую их кровь. Сердцебиение утихло, он пришел в обычное состояние. Уже не спеша шах продолжал подниматься по ступеням. Добравшись до вершины, он увидел далеко внизу отряд своих всадников: окружив белого холеного жеребца, принадлежащего шаху, люди все, как один, воздели руки к небу. Отсюда не были видны улыбки на лицах его подданных, не были слышны радостные возгласы одобрения, но молодой шах почувствовал их. Затем он обратил свой взор на невольничий рынок.

Стоявшие на вершине минарета молодые люди на фоне голубого неба походили на изваяние пары черных орлов, резко очерченных заливающим мир солнцем.

Исмаил долго разглядывал рынок, но понял, что с такой высоты невозможно отличить невольницу-красавицу от уродины. Постояв, они пошли обратно.

Хотя спуск и намного легче подъема, однако винтовая лестница обладает неприятным свойством: легко кружится голова у спускающихся по ней. Но Исмаил и Рагим-бек быстро приспособились к лестнице: как при переходе через речку, они стали смотреть не вниз, на беспрестанно двигающуюся массу, а вдаль, на расположенную в отдалении мечеть со стройными, вонзающимися в небо минаретами, и на рассыпанные вокруг нее дома. Головокружение прошло.

Внизу несколько молодых людей окружили Рагим-бека и, глядя на него с неприкрытым завистью, стали расспрашивать:

— Что ты увидел оттуда, бек?

— Ну, как там?

— Ты был так близко к богу, помолился бы и за нас заодно! Сын позади себя голоса, но не обращая на них внимания, Исмаил шел к рынку. Позволив испросившим у него разрешения взобраться на башню, он вступил на рынок. Впереди государя-победителя торопился базарный смотритель, громко возвещая о нем и пробивая ему дорогу. Смотритель расталкивал в стороны непомерно увлекшихся торговыми рядами, прокладывал шаху путь к «прилавкам». На низких широких топчанах, установленных вдоль правой стены, группами стояли белые и черные невольницы. У одних на голове были простые накидки, у других — абы из прозрачной ткани, похожие на круглую чадру. У большинства предназначенных к продаже черных невольниц на талии были повязаны красные шелковые передники. Тела их блестели, как у вырезанных из ценного эбена и покрытых лаком идолов. Казалось, искусный мастер-ювелир до блеска отшлифовал наждачной бумагой черный агат. У негритянок были тонкие, но крепко сбитые тела, торчком стояли груди. Молодой государь и сопровождавшая его свита в изумлении смотрели на этих удивительных, воспламеняющих и ум, и тело черных красавиц. Шедшие позади шепотом, чтобы не услышал государь, перешучивались. Как белые, так и чернокожие девушки, в большинстве своем стояли, опустив глаза. Но попадались изредка и такие, что,

уставившись лучистым зазывающим взглядом на красивых мужчин-покупателей, кокетливо поигрывали плечами.

На шеях и ногах чернокожих рабов, стоявших на топчанах слева и прямо от образовавшегося прохода, была надеты тяжелые деревянные колодки. Ноги и руки их сковывали тонкие, но крепкие цепи. У статных рабов-нубийцев при каждом движении перекатывались под кожей мышцы. Государь, спустившись с башни-минарета, опустил на лицо вуаль и теперь проходя по рядам рынка, не мог спокойно смотреть на этих несчастных. Поэт читал по глазам и позам этих обездоленных, выставленных, как скот, на продажу людей весь испытываемый ими стыд, унижение, ощущал их тоску и гнев. Он выбрал десять рабов, страдавших, казалось, особенно тяжело. Следовавший за ним казначай, кланяясь государю при каждой покупке, расплачивался с неприятно скалившимися при получении денег арабскими купцами. Приложив лист тугра к спине шедшего рядом с ним помощника, битикчибashi тут же писал указы об освобождении. В одно мгновение салават[70] смотрителя, его громкие восхваления государю, отпускающему на волю купленных им рабов, разнеслись по всей площади. Давно уже завсегдатаи рынка оставили торговлю и во все глаза наблюдали за государем, явившимся, чтобы выполнить данный обет — купить и освободить рабов. С рук и ног освобожденных рабов снимались цепи, и десять счастливцев, все еще не веряющих в свою удачу, благодарно смотрели то на трепетавший в их руках указ об освобождении, то на молодого человека с вуалью на лице, даровавшего им свободу. Затем все десять рабов, как подкошенные, одновременно повалились к ногам своего освободителя. А смотритель громко провозглашал: «Шах Исмаил ибн-Шейх Султан Гейдар ибн-Шейх Джунейд... в честь появления на свет наследника престола принца Тахмасиба освобождает рабов. Помолимся во здоровье принца...»

Шах Исмаил всю жизнь будет помнить, до самой смерти не забудет он той тоски, что стояла в глазах красавиц и статных юношей, выстроенных в ряд для продажи. Для его поэтического сердца это было тяжелее, чем переживания какого-либо иного государя по поводу самого большого поражения. На мгновение он взглянул на только что вошедшего в дверь раба-нубийца: «С того дня он не покинул моего дворца, не ушел от меня. Девять освобожденных рабов ушли, а этот остался со мной, — подумал он. — Такой преданности я не видел ни от одного из моих приближенных, и даже не жду ее».

Шах все еще предавался воспоминаниям, изредка окидывая взглядом собравшихся: Рагим-бек по тайному, непонятному для других знаку раба-нубийца поднялся с места и, поклонившись государю, вышел в переднюю комнату. В это время служанки внесли и поставили перед каждым ароматное кюкю из челемира[71].

Рагим-бека ожидал церемониймейстер.

— Купец Гаджи Салман завтра, после утреннего намаза, поднимет свой караван. Он пойдет в сторону кяфиров — нечестивцев. Святыня мира велел чтобы Гаджи проводили к нему, когда бы он ни пришел.

— А где Гаджи?

— Как и велел святыня мира, в тайной шахской резиденции.

— Хорошо, я передам сейчас же.

Рагим-бек снова вернулся на собрание поэзии и музыки. Теперь все внимали молодому ашыгу. Мелко, по-птичьи семеня по тебризским, кашанским, ширазским коврам, он пел очень любимую государем гошму ашыга Гурбани. В свое время, услышав эту гошму из уст самого Гурбани, государь помог поэту, избавил его от горя: наказал Беджана и вернул Гурбани возлюбленную. Ашыг пел:

Тот, кто ведет меня в этом мире — сын шейха, шах мой!

Заклинаю тебя бесценной твоей головой,

Просьба есть у меня к тебе единственная:

Прочти это письмо, узнай о моем положении бедственном!

— Саг ол, отлично! — раздались со всех сторон возгласы. Рагим-бек, не осмеливаясь подойти к шаху в эту минуту, так и стоял у двери.

Ашыг, вдохновленный успехом, продолжал свои трели:

Кто откроет поэту истину? — Пир один!

Со связанными руками перешел я Худаферин,

Но тайны соперника так и не смог раскрыть.

Исчезла из жизни радость, ну, как мне быть?!

Гурбани говорит: когда весна настает,

В озерах утки и гуси любовный ведут хоровод.

Прими мою голову в жертву, о кожу лица вытри ноги.

Не имею другого имущества. Кто мне поможет?

— Прекрасное имущество!

— Да исполнит аллах желания всех руками моего султана, моего Шаха Исмаила!

Исмаил улыбнулся:

— Пусть сам аллах и исполнит.

Рагим-бек все-таки улучил момент, и вдоль стенки, за спинами сидящих пробрался к тому месту, где сидел государь. Опустился на колени и из-за плеча шаха тихонько зашептал ему на ухо:

— Купец Гаджи Салман рано утром отправляется на север, в Кяфиристан[72]. Если вы хотите его повидать, сахибыран[73], он в вашей тайной резиденции.

Шах, совершенно трезвый, будто не он только что пил вино, щедро подливаемое из эмалевых кувшинов, сразу же поднялся с места.

— Друзья! Пусть продолжается меджлис. Меня ждет важное дело. Через две четверти часа — я к вашим услугам.

Как только он встал, поднялись и все собравшиеся. В сопровождении Рагим-бека и преданного нубийца шах покинул зал.

Выходя в коридор, он, не поворачивая головы, сказал Рагим-беку:

— Передай главному визирю, Рагим: пусть он и главный писарь со всеми принадлежностями для письма придут в тайную резиденцию.

Едва шах вошел в потайную комнату и расположился на тюфячках и мутаках, явились и главный визирь, и визирь двора, и главный писарь, и каллиграф с письменными принадлежностями.

— Так куда ты, говоришь, направляешься, Гаджи?

— В страну мадьяров, мой государь! Я слышал о ней от турецких купцов, а уж они господствуют в большинстве нечестивых стран. Дойду туда, если аллах позволит!

— Прекрасно! Да будет странствие твое безоблачным... Ты доставишь наше послание государю тех мест. Чтобы, если и он захочет, установить между нами связь.

— Я готов, святыня мира!

Государь приказал битикчибashi — главному писарю:

— Пиши! Причем, пиши послание на нашем родном языке. Главный писарь тотчас протянул каллиграфу листок для письма, украшенный золотым орнаментом: тот и сам хорошо знал что нужно писать в начале официального обращения. Главный писарь начал записывать основной текст.

Сложив руки на груди, поклонился и попросил разрешения сказать слово главный визирь:

— Святыня мира, а, может, как прежде, отправим послание на персидском языке? Ведь в тех краях, среди кяфиров, не найдется никого, кто бы читал, понимал по-нашему!

Но в ушах шаха все еще звучали голоса. То были и стихи Физули, который, сидя в центре Аравии, писал свои произведения на родном языке; и газели Гурбани, со связанными руками перешедшего через мост Худаферин; и голос пришедшего издалека, из Чухур Садда Мискина Абдала. Он слышал сейчас и старого дервиша, говорившего ему когда-то

в рибате Гарачи: «Каждая самая простая фраза у нас подобна поэтической строке, так почему же ей не прославиться во всем мире?! Если в нашем языке есть мощь, дающая силу сердцам и рукам, лучшим сынам нашего народа, то почему в сердце страны, столице, не должны говорить на своем родном языке, не вести на нем все дела, включая и политические? Пришло время, о государь! Если ты сейчас этого не сделаешь, то кто же тогда сделает?! Сила — у тебя, и честь — тебе!»

Даже не взглянув на визиря, шах резко, голосом, полным решимости, сказал битикчибаши, который, задержав на мгновение стремительный бег пера, вопросительно смотрел на него, ожидая другого приказа:

— Нет! С этих пор все послания династии Сефевидов будут отправляться только на нашем языке! И во дворце все будут говорить и писать на этом языке! Кроме святой молитвы, установленной благословенным пророком, ни одно слово более не будет произноситься во дворце на арабском или персидском языках.

Все внимательно слушали государя. Голос его несколько-смягчился. Теперь он обращался к Рагим-беку:

— Рагим, ты отправишься в путешествие вместе с Гаджи. Лично предъявишь наше послание мадьярскому государю.

Рагим-бек почтительно склонил голову.

С удовольствием начал битикчибаши писать первое дипломатическое послание на азербайджанском языке...

26. ЭПИЛОГ

«Я очень старался. Возмужав, я приложил много усилий к тому, чтобы не было войны. Но не получилось. В моей написанной для Султана Селима газели я описал характеры окружающих меня людей, которые за моей спиной плетут интриги, а в лицо — льстиво улыбаются. Я знал, что вокруг меня никого нет, пустота. Мой дядька, Леле Гусейн-бек постарел. Мать и братья давно умерли, большинство приближенных, преданных мне воинов уже состарились, мечи выпали из когда-то могучих рук... В то время, как я к войне совершенно не был готов, те, кто окружали меня, старались стравить меня с соседями, особенно с Султаном Селимом, направляли ему от моего имени оскорбительные письма и «подарки».

А за день до той роковой Чалдыранской битвы, которую я считаю самой трагической за всю мою жизнь, я видел сон. Снилось мне, что я в горах преследую марала. Но, когда я почти догнал его, марал скрылся в какой-то пещере. Следом за ним сунулся в эту пещеру и я. В страхе остановился. В пещере сидит семиглавый дракон, и из каждой пасти, клянусь моим предком Мухаммедом, исторгается адское пламя. И всякий раз, как чудовище делает выдох — меня опаляет пламенем, а при вдохе затягивает внутрь, прямо в пасть, ей-богу.

Затянуло меня стотысячное войско Селима. Здорово затянуло! Не успел я проснуться и рассказать свой сон, приближенные тут же начали советовать: «Давайте встретим Селима

в пути, нападем на него внезапно, ночью». Но это было неприемлемо для моего достоинства, и я ответил: «Я не разбойник, грабящий караваны. Мужчина должен по-мужски встретить врага на поле боя, один на один». Его войско действительно намного превосходило мое по численности... Почему я не доверился мудрому пиру эренов, устами Ибрагима передавшему мне известие и о численности войска Селима, и о его вооружении. Не прислушался я, окружающие не дали прислушаться: это неправда, сказали они, не бывает такого войска; они втравили меня в такую войну, которая навсегда запятнала мое имя.

Вот это и было моей первой ошибкой. Мы встретились. Снова стали мне советовать: давайте помешаем установить орудия, нападем на врага, пока он еще не успел подготовиться к битве. И снова я не позволил. «Пусть подготовятся, — сказал. — Я вышел воевать в открытую». Я сам дал врагу возможность возвести железную крепость перед моими несчастными кази. Я не струсил, не схитрил, не применил уловок в битве. И вот это было моей второй ошибкой! Хатаи допускал непрерывные ошибки[74]... В той битве, длившейся три дня, я потерял таких храбрецов-кази, каждый из которых сравнялся мужеством с молодым львом...

Самый тяжелый мой грех — то, что я разрешил остаться в Чалдыране Бахрузе-ханым и матери моего наследника Тахмаса Мирзы Таджлы-ханым. Обе они сражались в мужском одеянии. Обеих их, оказывается, позвали битвы во имя славы Родины. Мою Бахрузу взяли в плен, и потом, несмотря на все мои просьбы, Селим так и не вернул ее. Отдал невольницей какому-то придворному поэту. Это было для меня хуже смерти. Моя Таджлы! А моя храбрая Таджлы освободилась, сняв с себя и отдав Месих-беку все свои драгоценности. Ровно три дня, помимо надимов, от меня не отступали три молодых человека. Один из них охранял меня справа, другой — слева, а третий — сзади. Позади меня сражался дервиш Ибрагим! Прекрасным своим голосом он пел то мои нефесы, то свои гошмы, вселял мужество в моих храбрых кази. Когда он, залитый кровью, упал к копытам моего коня, я счел, что обрушилась прикрывавшая меня гора; спина моя осталась открытой. Я не знал, кто это, скрыв лицо под вуалью, сражается справа и слева от меня, считал, что преданные воины. Только когда они упали, пронзенные стрелами, я узнал несчастных. Одной была искусная танцовщица, красавица Айтекин, причину огромной ненависти ко мне которой я так никогда и не узнал; другой была воинственная женщина, бакинка, жена Гази-бека — Султаным-ханым. И их тоже призвала на поле боя Родина. Перед телами этих двух женщин я преклонил колени. Потом я узнал, что даже мой враг Султан Селим велел похоронить их, как подобает хоронить героев. Я был бы счастлив, если бы пять моих дочерей — Ханыш, Перихан-ханым, Мехинбану Султаным, Фирангиз-ханым, Шах Зейнаб-ханым, мои сыновья Невваб Кымъяб, Тахмас Мирза, Сам Мирза, Бахрам Мирза обладали таким мужеством, как Айтекин и Бибиханым-Султаным, с такой же силой любили бы свой родной край, родной народ.

Вот уже четырнадцать лет минуло после Чалдыранской битвы. И ни разу никто с тех пор не увидел улыбки на моем лице, навсегда легла на него тень печали. Потому что это я, я сам, воодушевленный своими победами и завоеваниями, уверовав в свою непобедимость, выступил с меньшим по численности войском и допустил ошибки, обрекшие меня на вечные муки.

Я доживаю последние дни моей жизни, дорогие мои потомки! За свою короткую, отпущенную мне богом жизнь я сделал для вас все, что мог. Я старался силой меча объединить наш истерзанный на куски край — вот к чему были направлены все мои завоевания.

Горсть родной земли считал я дороже горсти золота, одно коротенькое слово на нашем языке — выше меры драгоценностей. Во имя вечной жизни обоих — Родины и родного языка — я сделал все, что смог. Не поминайте меня проклятьями! Умножьте то хорошее, что я начинал! Не повторяйте моих ошибок!.. Таково мое завещание. И еще я оставляю вам стихи. Если они доставят вам удовольствие, будет спокоен мой мятежный дух, я обрету в могиле покой. Три залога оставили нам мудрые предки, и я завещаю их вам: наш язык, нашу честь и нашу Родину — берегите же их как зеницу ока!»

КОНЕЦ

[1] Надим — дружок.

[2] Чихиртма — жаркое из любых компонентов, но с обязательным добавлением яиц.

[3] Пир — святое место.

[4] Ших — служитель.

[5] «Гырх гызлар» — сорок девушек.

[6] Дестемаз — молитвенный коврик.

[7] Агач — мера длины, равная 600-700 м.

[8] Куря — в переводе означает «бурная».

[9] «Гиблеи-алем» — звание иранских шахов.

[10] Афериин — возглас одобрения, похвала, в смысле «молодец».

[11] Амил — сборщик налогов.

[12] Яйма — тонко раскатанные шарики теста, слегка испеченные на медной треножнике.

[13] Шейх Сафиеддин — родоначальник династии Сефевидов.

[14] Езид — здесь узурпатор.

[15] Инишаллах (арабск.) — даст бог.

[16] Здесь игра слов: гамбар — как слуга, и гамбар — как камень.

[17] Ла илаха иллаллах (арабск.) — нет бога кроме Аллаха.

[18] Хазры — село в нынешнем Кусарском районе Азербайджана.

[19] Мовлана (арабск.) — уважительное обращение к духовным учителям

[20] Аруз — форма восточного стихосложения.

[21] Баяты, герайлы, гошма, нефес — стихотворные формы азербайджанской силлабической поэзии.

[22] Мютириб — танцовщик.

[23] Бута — национальный орнамент (бутон цветка).

[24] Фарсах — мера длины, равная приблизительно 6 км.

[25] Асхабукэлб — герой суры-легенды из Корана.

[26] Рум — сокращенное от Эрзерума; одна из провинций Турции.

[27] Эрен — мудрец.

[28] Джыз-быз — национальное кушанье из потрохов барана.

[29] Пити — национальное блюдо из баранины, готовящееся в глиняных горшочках.

[30] В то время всех иностранцев, в основном европейцев, независимо от того, были ли они венецианцами, англичанами и пр., называли фиранками (французами).

[31] Сарван — погонщик, ведущий караван.

[32] Гисасаул-анбия — книга о жизнеописаниях пророков.

[33] Сахиб-аз-заман (арабск.) — мессия, пришествие.

[34] Искендершан — здесь в иносказательном смысле, т.е. подобный Александру Македонскому.

[35] Ханагях — обитель дервишей.

[36] Кутаб — изделие из теста, в форме полумесяца, начиненное мясом.

[37] Г у ладж — мера длины, равная размаху рук.

[38] Пятеро под абой — имеются в виду пророк Мухаммед, Али, Фатьма, Гасан и Гусейн (зять, дочь и внуки Мухаммеда).

[39] Гёзеллеме, дуваггапма, гыфыл бенди — формы азербайджанской устной народной поэзии.

[40] Оба обращения — к первому имаму Али.

[41] Иносказательное наименование имама Али.

- [42] Гесселхан — место, где омывают покойников.
- [43] Взято из рукописи Гасана Румлу — историка сына Шаха Исмаила шаха Тахмасиба.
- [44] Зульфугар — обоюдоострый меч имама Али.
- [45] Бейт — двустишие.
- [46] Устад — мастер, учитель.
- [47] Имеется в виду кази Кордовы Абдул-Мютаррифи Абдуррахман ибн-Мухаммед ибн-Ахмед ибн-Убейдуллах эр-Руайни (Х—XI вв.).
- [48] Диван — собрание сочинений.
- [49] Игра слов: «Джахан» — мир.
- [50] «Саг ол» (азерб.). — «Спасибо, молодец».
- [51] Игра слов: «Хаят» — жизнь.
- [52] Игра слов: «Фена.» — тлен.
- [53] Узбекский правитель.
- [54] 30 ноября 1510 года по современному летоисчислению.
- [55] Один из титулов Шаха Исмаила.
- [56] Геба — верхняя одежда.
- [57] Тугра — свернутое в трубочку письмо.
- [58] Леффафа — бумага в месте скрепления печати, на которой пишется имя человека, к которому обращено письмо; при вскрытии письма леффафа разрывается.
- [59] Голаби тирма — тирма с бутой — род шерстяной ткани с восточным орнаментом.
- [60] Прибежище мира — одно из имен шаха.
- [61] Искендершан — обладающий славой Искандера, т.е. Александра Македонского; одно из имен Шаха Исмаила.

[62] Мелик-уш-шуара — царь поэтов.

[63] 1514/1515 год по современному летосчислению.

[64] Чухур Садда — встречающееся в восточных источниках того времени название Еревана.

[65] Эшрафи-эла — «Избранный из избранных» — одно из имен, даваемых Шаху Исмаилу.

[66] Мискин — жалкий, Абдал — несчастный скиталец...

[67] Дюльдюль — конь Али.

[68] Имеется в виду первый имам шиитов Али ибн-Абуталиб, считающийся предком Хатаи.

[69] Ренг — танец.

[70] Салават — здравие пророку и его семье.

[71] Челемир — горная киндза.

[72] Кяфиристан — страна нечестивцев.

[73] Сахибгыран — счастливый государь.

[74] Игра слов: хата — ошибка.